

ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ НА ТЕРРАСЕ

Белая Птица

Дачные истории на террасе. Классики о русской даче

Антон Павлович Чехов, Сергей Тимофеевич Аксаков, Иван Алексеевич Бунин, Александр Иванович Куприн, Константин Георгиевич Паустовский, Михаил Михайлович Пришвин

Аннотация
Дачные истории на террасе: классики о русской даче
Сергей Аксаков
Семейная хроника
Первый отрывок из «Семейной хроники». Степан Михайлович Багров
Третий отрывок из «Семейной хроники». Женитьба молодого Багрова
Александр Куприн
Олеся
Куст сирени
Сентиментальный роман
Михаил Пришвин
В краю непуганых птиц. Избранные рассказы

- Вопленица
- Колдуны

Антон Чехов

- На даче
- Дачники
- От нечего делать. Дачный роман
- Крыжовник
- Дачное удовольствие
- Дачные правила
- Дачница

Иван Бунин

- Антоновские яблоки
- На даче
- Осенью

Константин Паустовский

- Желтый свет
- Резиновая лодка
- Подарок
- Короткие рассказы о природе

Аннотация

Читателю предлагается окунуться в атмосферу русского лета, запечатленного классиками, проникнуться уединением, ностальгией, мечтательностью и простыми радостями, которые приносит с собой дачный сезон. Эта книга будет интересна всем любителям отечественной классики и тем, кто хочет просто расслабиться во время отпуска и выходных.

Дачные истории на террасе: классики о русской даче

© Паустовский К. Г., наследник, 2024
© Оформление. ООО «Издательство

* * *

Сергей Аксаков

Семейная хроника
Первый отрывок из «Семейной хроники». Степан Михайлович Багров

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

Тесно стало моему дедушке жить в Симбирской губернии, в родовой отчине своей, жалованной предкам его от царей московских; тесно стало ему не потому, чтоб в самом деле было тесно, чтоб недоставало лесу, пашни, лугов и других угодьев, — всего находилось в излишестве, — а потому, что отчина, вполне еще прадеду его принадлежавшая, сделалась разнопоместною. Событие совершилось очень просто: три поколения сряду в роду его было по одному сыну и по нескольку дочерей; некоторые из них выходили замуж, и в приданое им отдавали часть крестьян и часть земли. Части их были небольшие, но уже четверо чужих хозяев имели право на общее владение неразмежеванною землею, — и дедушке моему, нетерпеливому, вспыльчивому, прямому и ненавидящему домашние кляузы, сделалась такая жизнь несносною. С некоторого времени стал он часто слышать об Уфимском наместничестве,

о неизмеримом пространстве земель, угодьях, привольях, неописанном изобилии дичи и рыбы и всех плодов земных, о легком способе приобретать целые области за самые ничтожные деньги. Носились слухи, что стоило только позвать к себе в гости десяток ***родичей отчинников*** Картобынской или Кармалинской тюбы[1], дать им два-три жирных барана, которых они по-своему зарежут и приготовят, поставить ведро вина, да несколько ведер крепкого ставленого башкирского меду, да лагун корчажного крестьянского пива, так и дело в шляпе: неоспоримое доказательство, что башкирцы были не строгие магометане и в старину. Говорили, правда, что такое угощение продолжалось иногда неделю и две; да с башкирцами и нельзя вдруг толковать о деле, и надо всякий день спрашивать: «А что, знаком, добрый человек, давай говорить об мой дела»[2].

Если гости, евшие и пившие буквально день и ночь, еще не вполне довольны угощением, не вполне напелись своих монотонных песен,

---

[1] Сноски: 1

Тюба — волость.

[2] Сноски: 2

Русские обитатели Оренбургской губернии до сих пор, говоря с башкирцами, стараются точно так же ломать русскую речь, как и сами башкирцы.

наигрались на чебызгах[3], наплясались, стоя и приседая на одном месте в самых карикатурных положениях, то старший из родичей, пощелкавши языком, покачав головой и не смотря в лицо спрашивающему, с важностию скажет в ответ: «Пора не пришел — еще баран тащи». Барана, разумеется, притащат, вина, меду нальют, и вновь пьяные башкирцы поют, пляшут и спят, где ни попало… Но всему в мире есть конец; придет день, в который родич скажет, уже прямо смотря в глаза спрашивающему: «Ай, бачка, спасибо, больно спасибо! Ну что, какой твой нужда?» Тут, как водится, с природною русскому человеку ловкостию и плутовством, покупщик начнет уверять башкирца, что нужды у него никакой нет, а наслышался он, что башкирцы больно добрые люди, а потому и приехал в Уфимское наместничество и захотел с ними дружбу завести и проч. и проч.; потом речь дойдет нечаянно до необъятного количества башкирских земель,

[3] Сноски: 3

Чебызга — дудка, которую башкирец берет в рот, как кларнет, и, перебирая лады пальцами, играет на ней двойными тонами, так что вы слышите в одно и то же время каких-то два разных инструмента. Мне сказывали музыканты, что чебызга чудное явление в мире духовых инструментов.

до неблагонадежности припущенников[4], которые год-другой заплатят деньги, а там и платить перестанут, да и останутся даром жить на их землях, как настоящие хозяева, а там и согнать их не смеешь и надо с ними судиться; за такими речами (сбывшимися с поразительной точностью) последует обязательное предложение избавить добрых башкирцев от некоторой части обременяющих их земель… и за самую ничтожную сумму покупаются целые области и заключают договор судебным порядком, в котором, разумеется, нет и быть не может количества земли: ибо кто же ее мерил? Обыкновенно границы обозначаются урочищами, например вот так: «От устья речки Конлыелга до сухой березы на волчьей тропе, а от сухой березы прямо на общий сырт, а от общего сырта до лисьих нор, от лисьих нор до Солтамраткиной борти» и прочее. И в таких точных и неизменных межах и урочищах за-

[4] Сноски: 4

Припущенниками называются те, которые за известную ежегодную или единовременную плату, по заключенному договору на известное число лет, живут на башкирских землях. Почти ни одна деревня припущенников, по окончании договорного срока, не оставила земель башкирских; из этого завелись сотни дел, которые обыкновенно заканчиваются тем, что припущенники оставляются на местах своего жительства с нарезкой им пятнадцатидесятинной пропорции на каждую ревизскую душу по пятой ревизии… и вот как перешло огромное количество земель Оренбургской губернии в собственность татар, мещеряков, чуваш, мордвы и других казенных поселян.

ключалось иногда десять, двадцать и тридцать тысяч десятин земли! И за все это платилось каких-нибудь сто рублей (разумеется, целковыми) да на сто рублей подарками, не считая частных угощений. Полюбились дедушке моему такие рассказы; и хотя он был человек самой строгой справедливости и ему не нравилось надуванье добродушных башкирцев, но он рассудил, что не дело дурно, а способ его исполнения и что, поступя честно, можно купить обширную землю за сходную плату, что можно перевесть туда половину родовых своих крестьян и переехать самому с семейством, то есть достигнуть главной цели своего намерения; ибо с некоторого времени до того надоели ему беспрестанные ссоры с мелкопоместными своими родственниками за общее владение землей, что бросить свое родимое пепелище, гнездо своих дедов и прадедов, сделалось любимою его мыслию, единственным путем к спокойной жизни, которую он, человек уже немолодой, предпочитал всему.

Итак, накопивши несколько тысяч рублей, простившись с своей супругою, которую звал Аришей, когда был весел, и Ариной, когда бывал сердит, поцеловав и благословив четырех малолетных дочерей и особенно новорожденного

сына, единственную отрасль и надежду старинного дворянского своего дома, ибо дочерей считал он ни за что. «Что в них проку! Ведь они глядят не в дом, а из дому. Сегодня Багровы, а завтра Шлыгины, Малыгины, Поповы, Колпаковы. Одна моя надежда — Алексей…» — сказал на прощанье мой дедушка и отправился за Волгу, в Уфимское наместничество.

Но не сказать ли вам наперед, что за человек был мой дедушка.

Степан Михайлович Багров, так звали его, был не только среднего, а даже небольшого роста; но высокая грудь, необыкновенно широкие плечи, жилистые руки, каменное, мускулистое тело обличали в нем силача. В разгульной юности, в молодецких потехах, кучу военных товарищей, на него нацеплявшихся, стряхивал он, как брызги воды стряхивает с себя коренастый дуб после дождя, когда его покачнет ветер. Правильные черты лица, прекрасные большие темно-голубые глаза, легко загоравшиеся гневом, но тихие и кроткие в часы душевного спокойствия, густые брови, приятный рот — все это вместе придавало самое открытое и честное выражение его лицу; волосы у него были русые. Не было человека, кто бы ему не верил; его слово, его обещание было крепче

и святее всяких духовных и гражданских актов. Природный ум его был здрав и светел. Разумеется, при общем невежестве тогдашних помещиков и он не получил никакого образования, русскую грамоту знал плохо; но служа в полку, еще до офицерского чина выучился он первым правилам арифметики и выкладке на счетах, о чем любил говорить даже в старости. Вероятно, он служил не очень долго, ибо вышел в отставку каким-то полковым квартирмейстером. Впрочем, тогда дворяне долго служили в солдатском и унтер-офицерском званиях, если не проходили их в колыбели и не падали всем на голову из сержантов гвардии капитанами в армейские полки. О служебном поприще Степана Михайловича я мало знаю; слышал только, что он бывал часто употребляем для поимки волжских разбойников и что всегда оказывал благоразумную распорядительность и безумную храбрость в исполнении своих распоряжений, что разбойники знали его в лицо и боялись, как огня. Вышед в отставку, несколько лет жил он в своем наследственном селе Троицком, Багрово тож, и сделался отличным хозяином. Он не торчал день и ночь при крестьянских работах, не стоял часовым при ссыпке и отпуске хлеба; смотрел редко, да

метко, как говорят русские люди, и, уж прошу не прогневаться, если замечал что дурное, особенно обман, то уже не спускал никому. Дедушка, сообразно духу своего времени, рассуждал по-своему: наказать виноватого мужика тем, что отнять у него собственные дни, — значит вредить его благосостоянию, то есть своему собственному; наказать денежным взысканием — тоже; разлучить с семейством, отослать в другую вотчину, употребить в тяжелую работу — тоже, и еще хуже, ибо отлучка от семейства — несомненная порча; прибегнуть к полиции… боже помилуй, да это казалось таким срамом и стыдом, что вся деревня принялась бы выть по виноватом, как по мертвом, и наказанный счел бы себя опозоренным, погибшим. Да и надо сказать, что дедушка мой был строг только в пылу гнева; прошел гнев, прошла и вина. Этим пользовались: иногда виноватый успевал спрятаться, и гроза проходила мимо. Скоро крестьяне его пришли в такое положение, что было не на кого и не за что рассердиться.

Приведя в порядок свое хозяйство, дедушка мой женился на Арине Васильевне Неклюдовой, небогатой девице, также из старинного дворянского дома. При этом случае кстати объяснить,

что древность дворянского происхождения была коньком моего дедушки, и хотя у него было сто восемьдесят душ крестьян, но, производя свой род, бог знает по каким документам, от какого-то варяжского князя, он ставил свое семисотлетнее дворянство выше всякого богатства и чинов. Он не женился на одной весьма богатой и прекрасной невесте, которая ему очень нравилась, единственно потому, что прадедушка ее был не дворянин.

Итак, вот каков был Степан Михайлович; теперь возвратимся к прерванному рассказу.

Переправившись чрез Волгу под Симбирском, дедушка перебил поперек степную ее сторону, называемую луговою, переехал Черемшан, Кандурчу, чрез Красное поселение, слободу селившихся тогда отставных солдат, и приехал в Сергиевск, стоящий на горе при впадении реки Сургута в Большой Сок. Сергиевск — ныне заштатный город, давший свое имя находящимся в двенадцати верстах от него серным источникам, известным под названием Сергиевских серных вод. Чем дальше углублялся дедушка в Уфимское наместничество, тем привольнее, изобильнее становились места. Наконец, в Бугурусланском уезде, около Абдуловского казенного

винного завода, показались леса. В уездном городе Бугуруслане, расположенном по высокой горе, над рекою Большой Кинель, про которую долго певалась песня:

Кинель река
Не быстра, глубока,
Только тиниста, –

в Бугуруслане остановился Степан Михайлович, чтоб порасспросить и поразузнать поближе о продающихся землях. В этом уезде уже мало оставалось земель, принадлежавших башкирцам: все заселялись или казенными крестьянами, которым правительство успело раздать земли, описанные в казну за Акаевский бунт, прежде всеобщего прощения и возвращения земель отчинникам башкирцам, или были уже заселены их собственными припущенниками, или куплены разными помещиками. Из Бугуруслана дедушка делал поездки в Бугульминский, Бирский и Мензелинский уезды (из некоторых частей двух последних составлен ныне новый Белебеевский уезд); побывал он на прекрасных берегах Ика и Демы. Места очаровательные! И в старости Степан Михайлович с восторгом вспоминал о первом впечатлении, произведенном

на него изобильными, плодоносными окрестностями этих рек; но он не поддался обольщению и узнал покороче на месте, что покупка башкирских земель неминуемо поведет за собою бесконечные споры и тяжбы, ибо хозяева сами хорошенько не знали прав своих и числа настоящих отчинников. Дедушка мой, ненавидящий и боявшийся, как язвы, слова тяжба, решился купить землю, прежде купленную другим владельцем, справленную и отказанную за него судебным порядком, предполагая, что тут уже не может быть никакого спора. Казалось, что суждение его было справедливо, но на деле вышло совсем другое, и меньшой внук его, уже будучи сорока лет, покончил последний спор. С сожалением воротился с берегов Ика и Демы дедушка мой в Бугуруслан и в двадцати пяти верстах от него купил землю у помещицы Грязевой по речке Большой Бугуруслан, быстрой, глубокой и многоводной. На сорок верст протяжения, от города Бугуруслана до казенного селения Красный Яр, оба берега его были не заселены: что за угодье, что за приволье было тогда на этих берегах! Вода такая чистая, что даже в омутах, сажени в две глубиною, можно было видеть на дне брошенную

медную денежку! Местами росла густая урема[5] из березы, осины, рябины, калины, черемухи и чернотала, вся переплетенная зелеными гирляндами хмеля и обвешанная палевыми кистями его шишек; местами росла тучная высокая трава с бесчисленным множеством цветов, над которыми возносили верхи свои душистая кашка, татарское мыло (боярская спесь), скорлазубец (царские кудри) и кошечья трава (валериана). Бугуруслан течет по долине; по обеим сторонам его тянутся, то теснясь, то отступая, отлогие, а иногда и крутые горы; по скатам и отрогам их изобильно рос всякий черный лес; поднимешься на гору — там равнина, непочатая степь, чернозем в аршин глубиною. По реке и окружающим ее инде болотам все породы уток и куликов, гуси, бекасы, дупели и курахтаны вили свои гнезда и разнообразным криком и писком наполняли воздух; на горах же, сейчас превращавшихся в равнины, покрытые тучною травою, воздух оглашался другими особенными свистами и голосами; там водилась во множестве вся степная птица: дрофы, журавли, стрепета, кроншнепы и кречетки; по лесистым отрогам жила бездна

---

[5] Сноски: 5
Уремой называются лес и кусты, растущие около рек.

тетеревов; река кипела всеми породами рыб, которые могли сносить ее студеную воду: щуки, окуни, голавли, язи, даже кутема и лох изобильно водились в ней; всякого зверя и в степях и лесах было невероятное множество; словом сказать: это был — да и теперь есть — уголок обетованный. Дедушка купил около пяти тысяч десятин земли и заплатил так дорого, как никто тогда не плачивал, по полтине за десятину. Две тысячи пятьсот рублей в то время была великая сумма. Совершив купчую крепость и приняв землю во владение, то есть справив и отказав ее за собою, весело воротился он в Симбирскую губернию к ожидавшему его семейству и живо, горячо принялся за все приготовления к немедленному переселению крестьян: дело очень хлопотливое и трудное по довольно большому расстоянию, ибо от села Троицкого до новокупленной земли было около четырехсот верст. В ту же осень двадцать тягол отправились в Бугурусланский уезд, взяв с собою сохи, бороны и семянной ржи; на любых местах взодрали они девственную почву, обработали двадцать десятин озимого посеву, то есть переломали непареный залог и посеяли рожь под борону; потом подняли нови еще двадцать десятин для ярового сева, поставили несколько

изб и воротились на зиму домой. В конце зимы другие двадцать человек отправились туда же и с наступившею весною посеяли двадцать десятин ярового хлеба, загородили плетнями дворы и хлевы, сбили глиняные печи и опять воротились в Симбирскую губернию; но это не были крестьяне, назначаемые к переводу; те оставались дома и готовились к переходу на новые места: продавали лишний скот, хлеб, дворы, избы, всякую лишнюю рухлядь. Наконец, в половине июня, чтобы поспеть к Петрову дню, началу сенокоса, нагрузив телеги женами, детьми, стариками и старухами, прикрыв их согнутыми лубьями от дождя и солнца, нагромоздив необходимую домашнюю посуду, насажав дворовую птицу на верхи возов и привязав к ним коров, потянулись в путь бедные переселенцы, обливаясь горькими слезами, навсегда прощаясь с ***стариною***, с церковью, в которой крестились и венчались, и с могилами дедов и отцов. Переселение, тяжкое везде, особенно противно русскому человеку; но переселяться тогда в неизвестную басурманскую сторону, про которую, между хорошими, ходило много и недобрых слухов, где, по отдаленности церквей, надо было и умирать без исповеди и новорожденным младенцам

долго оставаться некрещеными, — казалось делом страшным!.. За крестьянами отправился и дедушка. Новоселившуюся деревню назвал Знаменским, дав обет, со временем, при благоприятных обстоятельствах построить церковь во имя Знамения Божия Матери, празднуемого 27 ноября, что и было исполнено уже его сыном. Но крестьяне, а за ними и все окружные соседи, назвали новую деревеньку Новым Багровом, по прозванию своего барина и в память Старому Багрову, из которого были переведены: даже и теперь одно последнее имя известно всем, а первое остается только в деловых актах: богатого села Знаменского с прекрасною каменною церковию и высоким господским домом не знает никто. Неусыпно и неослабно смотрел дедушка за крестьянскими и за господскими работами: вовремя убрался с сенокосом, вовремя сжал яровое и ржаное и вовремя свез в гумно. Урожай был неслыханный, баснословный. Крестьяне ободрились. К ноябрю месяцу у всех были построены избы, и даже поспел небольшой господский флигель. Разумеется, дело не обошлось без вспоможения соседей, которые, несмотря на дальнее расстояние, охотно приезжали на ***помочи*** к новому разумному и ласковому помещику, — попить,

поесть и с звонкими песнями дружно поработать. Зимой дедушка отправился в Симбирскую деревню и перевез свое семейство. На следующий год уже не так трудно было перевесть еще сорок душ и обзавести их хозяйством. Первым делом дедушки было в этот же год построить мельницу, ибо молоть хлеб надо было ездить верст за сорок. Итак, выбрав заранее место, где вода была не глубока, дно крепко, а берега высоки и также крепки, с обеих сторон реки подвели к ней плотину из хвороста и земли, как две руки, готовые схватиться, а для большей прочности оплели плотину плетнем из гибкой ивы: оставалось удержать быструю и сильную воду и заставить ее наполнить назначенное ей водоемище. С одной стороны, где берег казался пониже, заранее устроен был мельничный амбар на два мукомольные постава с толчеей. Все снасти были готовы и даже смазаны; на огромные водяные колеса через деревянные трубы ***кауза***[6] должна была броситься река, когда, прегражденная в своем природном русле, она наполнит широкий пруд и станет выше дна кауза. Когда все уже было готово и че-

[6] Сноски: 6

Каузом называется деревянный ящик, по которому вода бежит и падает на колеса; около Москвы зовут его дворец (дверец), а в иных местах скрыни.

тыре длинные дубовые сваи крепко вколочены в твердое, глинистое дно Бугуруслана, поперек будущего вешняка, дедушка сделал помочь на два дня; соседи были приглашены с лошадьми, телегами, лопатами, вилами и топорами. В первый день огромные кучи хвороста из нарубленного мелкого леса и кустов, копны соломы, навозу и свежего дерна были нагромождены по обеим сторонам Бугуруслана, до сих пор вольно, неприкосновенно стремившего свои воды. На другой день, на восходе солнца, около ста человек собрались ***занимать заимку***, то есть запрудить реку. На всех лицах было что-то заботливое и торжественное: все к чему-то готовились; вся деревня почти не спала эту ночь. Дружно в одно и то же мгновенье, с громким криком сдвинули в реку с обоих берегов кучи хвороста, сначала связанного пучками; много унесло быстрое течение воды, но много его, задержанного сваями, легло поперек речного дна; связанные копны соломы с каменьями полетели туда же, за ними следовал навоз и земля; опять настилка хвороста, и опять солома и навоз, и сверху всего толстые слои дерна. Когда все это, кое-как затопленное, стало выше поверхности воды, человек двадцать крестьян, дюжих и ловких, вскочили на верх за-

пруды и начали утаптывать и уминать ее ногами. Все это производилось с такою быстротою, с таким общим рвением, беспрерывным воплем, что всякий проезжий или прохожий испугался бы, услыхав его, если б не знал причины. Но пугаться было некому; одни дикие степи и темные леса на далекое пространство оглашались неистовыми криками сотни работников, к которым присоединялось множество голосов женских и еще больше ребячьих, ибо все принимало участие в таком важном событии, все суетилось, бегало и кричало. Не скоро сладили с упрямой рекой; долго она рвала и уносила хворост, солому, навоз и дерн; но наконец люди одолели, вода не могла пробиться более, остановилась, как бы задумалась, завертелась, пошла назад, наполнила берега своего русла, затопила, перешла их, стала разливаться по лугам, и к вечеру уже образовался пруд, или, лучше сказать, всплыло озеро без берегов, без зелени, трав и кустов, на них всегда растущих; кое-где торчали верхи затопленных погибших дерев. На другой день затолкла толчея, замолола мельница — и мелет и толчет до сих пор…

ОРЕНБУРГСКАЯ ГУБЕРНИЯ

Боже мой, как, я думаю, была хороша тогда эта дикая, девственная, роскошная природа!.. Нет, ты уже не та теперь, не та, какою даже и я зазнал тебя — свежею, цветущею, неизмятою отвсюду набежавшим разнородным народонаселением! Ты не та, но все еще прекрасна, так же обширна, плодоносна и бесконечно разнообразна, Оренбургская губерния!.. Дико звучат два эти последние слова! Бог знает, как и откуда зашел туда ***бург***!.. Но я зазнал тебя, благословенный край, еще Уфимским наместничеством!

Чудесный край, благословенный,
Хранилище земных богатств,
Не вечно будешь ты, забвенный,
Служить для пастырей и паств!
И люди набегут толпами,
Твое приволье полюбя,
И не узнаешь ты себя
Под их нечистыми руками!
Помнут луга, порубят лес,
Взмутят в водах лазурь небес!

И горы соляных кристаллов
По тузлукам твоим найдут
И руды дорогих металлов
Из недр глубоких извлекут!
И тук земли не истощенный
Всосут чужие семена,
Чужие снимут племена
Их плод, сторицей возвращенный!
И в глубь лесов и в даль степей
Разгонят дорогих зверей!

Так писал о тебе, лет тридцать тому назад, один из твоих уроженцев, и все это отчасти уже исполнилось или исполняется с тобою; но все еще прекрасен ты, чудесный край! Светлы и прозрачны, как глубокие, огромные чаши, стоят озера твои — Кандры и Каратабынь. Многоводны и многообильны разнообразными породами рыб твои реки, то быстротекущие по долинам и ущельям между отраслями Уральских гор, то светло и тихо незаметно катящиеся по ковылистым степям твоим, подобно яхонтам, нанизанным на нитку. Чудны эти степные реки, все из бесчисленных, глубоких водоемин, соединяющихся узкими и мелкими протоками, в которых толь-

ко и приметно течение воды. В твоих быстрых родниковых ручьях, прозрачных и холодных, как лед, даже в жары знойного лета, бегущих под тенью дерев и кустов, живут все породы форелей, изящных по вкусу и красивых по наружности, скоро пропадающих, когда человек начнет прикасаться нечистыми руками своими к девственным струям их светлых прохладных жилищ. Чудесной растительностью блистают твои тучные, черноземные, роскошные луга и поля, то белеющие весной молочным цветом вишенника, клубничника и дикого персика, то покрытые летом, как красным сукном, ягодами ароматной полевой клубники и мелкою вишнею, зреющею позднее и темнеющею к осени. Обильною жатвой награждается ленивый и невежественный труд пахаря, кое-как и кое-где всковырявшего жалкою сохою или неуклюжим сабаном твою плодоносную почву! Свежи, зелены и могучи стоят твои разнородные черные леса, и рои диких пчел шумно населяют нерукотворные борти твои, занося их душистым липовым медом. И уфимская куница, более всех уважаемая, не перевелась еще в лесистых верховьях рек Уфы и Белой! Мирны и тихи патриархальные первобытные обитатели и хозяева твои, коче-

вые башкирские племена! Много уменьшились, но еще велики, многочисленны конские табуны, и коровьи и овечьи стада их. Еще по-прежнему, после жестокой, буранной зимы отощалые, исхудалые, как зимние мухи, башкирцы с первым весенним теплом, с первым подножным кормом выгоняют на привольные места наполовину передохшие от голода табуны и стада свои, перетаскиваясь и сами за ними с женами и детьми... И вы никого не узнаете через две или три недели! Из лошадиных остовов явятся бодрые и неутомимые кони, и уже степной жеребец гордо и строго пасет косяк кобылиц своих, не подпуская к нему ни зверя, ни человека!.. Раздобрели тощие, зимние стада коров, полны питательной влагой вымя и сосцы их. Но что башкирцу до ароматного коровьего молока! Уже поспел живительный кумыс, закис в кобыльих ***турсуках***[7], и все, что может пить, от грудного младенца до дряхлого старика, пьет допьяна целительный, благодатный, богатырский напиток, и дивно исчезают все недуги голодной зимы и даже старости: полнотой одеваются осунувшиеся лица, румянцем здоровья покрываются бледные,

---

[7] Сноски: 7

Турсук — мешок из сырой кожи, снятый с лошадиной ноги.

впалые щеки. Но странный и грустный вид представляют покинутые селения! Наскачет иногда на них ничего подобного не видавший заезжий путешественник и поразится видом опустелой, как будто вымершей деревни! Дико и печально смотрят на него окна разбросанных юрт с белыми трубами, лишенные пузырчатых оконниц, как человеческие лица с выткнутыми глазами… Кое-где лает на привязи сторожевой голодный пес, которого изредка навещает и кормит хозяин, кое-где мяучит одичалая кошка, сама промышляющая себе пищу, — и никого больше, ни одной души человеческой.

Как живописны и разнообразны, каждая в своем роде, лесная, степная и гористая твоя полоса, особенно последняя, по скату Уральского хребта, всеми металлами богатая, золотоносная полоса! Какое пространство от границ Вятской и Пермской губернии, где по зимам не в редкость замерзание ртути, до Гурьева городка на границе Астраханской губернии, где растет мелкий виноград на открытом воздухе, чихирем которого прохлаждаются в летние жары, греются зимою и торгуют уральские казаки! Что за чудесное рыболовство по Уралу! Единственное и по вку-

су добываемой ***красной рыбы***[8] и по своему исполнению. Багреньем называется это рыболовство, и ждет оно горячей и верной кисти, чтоб возбудить общее внимание… Но виноват, заговорился я, говоря о моей прекрасной родине… Посмотрим лучше, как продолжает жить и действовать мой неутомимый дедушка.

НОВЫЕ МЕСТА

Ну, отдохнул Степан Михайлович и не раз от души перекрестился, когда перебрался на простор и приволье берегов Бугуруслана. Не только повеселел духом, но и поздоровел телом. Ни просьб, ни жалоб, ни ссор, ни шума! Ни Воейковых, ни Мошенских, ни Сущевых![9]

Ни лесных порубок, ни хлебных потрав, ни помятых лугов! Один полный господин не только над своей землей, но и над чужой. Паси стада, коси траву, руби дрова — никто и слова не скажет. Крестьяне тоже как раз привыкли к новому месту, и полюбилось им оно. Да и как не привык-

---

[8] Сноски: 8

Красной рыбой называются белуга, осетр, севрюга, шип, белорыбица и другие.

[9] Сноски: 9

Помещики, жившие с дедушкой в Старом Багрове и владевшие вместе с ним неразмежеванной землей.

нуть, как не полюбить! Из безводного и лесного села Троицкого, где было так мало лугов, что с трудом прокармливали по корове да по лошади на тягло, где с незапамятных времен пахали одни и те же загоны и несмотря на превосходную почву, конечно, повыпахали и поистощили землю, — переселились они на обширные плодоносные поля и луга, никогда не тронутые ни косой, ни сохой человека, на быструю, свежую и здоровую воду с множеством родников и ключей, на широкий, проточный и рыбный пруд и на мельницу у самого носа, тогда как прежде таскались они за двадцать пять верст, чтобы смолоть воз хлеба, да и то случалось несколько дней ждать очереди. Вы удивитесь, может быть, что я назвал Троицкое безводным? Обвините стариков, зачем они выбрали такое место? Но дело было не так вначале, и стариков винить не за что: Троицкое некогда сидело на прекрасной речке Майне, вытекавшей версты за три от селения из-под Моховых озер, да сверх того вдоль всего селения тянулось, хотя не широкое, но длинное, светлое и в середине глубокое озеро, дно которого состояло из белого песка; из этого озера даже бежал ручей, называвшийся ***Белый ключ***. Так было в старину, давно, правда, очень

давно. По преданию известно, что Моховые озера были некогда глубокими лесными круглыми провалами с прозрачною, холодною, как лед, водою и топкими берегами, что никто не смел близко подходить к ним ни в какое время, кроме зимы, что будто бы берега опускались и поглощали дерзкого нарушителя неприкосновенного царства водяных чертей. Но человек — заклятый и торжествующий изменитель лица природы! Старинному преданию, не подтверждаемому новыми событиями, перестали верить, и Моховые озера мало-помалу, от мочки коноплей у берегов и от пригона стад на водопой, позасорились, с краев обмелели и даже обсохли от вырубки кругом леса; потом заплыли толстою землянистою пеленой, которая поросла мохом и скрепилась жилообразными корнями болотных трав, покрылась кочками, кустами и даже сосновым лесом, уже довольно крупным; один провал затянуло совсем, а на другом остались два глубокие, огромные окна, к которым и теперь страшно подходить с непривычки, потому что земля, со всеми болотными травами, кочками, кустами и мелким лесом, опускается и поднимается под ногами, как зыбкая волна. От уменьшения, вероятно, Моховых озер речка Майна поникла

вверху и уже выходит из земли несколько верст ниже селения, а прозрачное, длинное и глубокое озеро превратилось в грязную вонючую лужу; песчаное дно, на сажень и более, затянуло тиной и всякой дрянью с крестьянских дворов; Белого ключа давно и следов нет, скоро не будет о нем и памяти.

Переселясь на новые места, дедушка мой принялся с свойственными ему неутомимостью и жаром за хлебопашество и скотоводство. Крестьяне, одушевленные его духом, так привыкли работать настоящим образом, что скоро обстроились и обзавелись, как старожилы, и в несколько лет гумна Нового Багрова занимали втрое больше места, чем самая деревня, а табун добрых лошадей и стадо коров, овец и свиней казались принадлежащими какому-нибудь большому и богатому селению.

С легкой руки Степана Михайловича переселение в Уфимский или Оренбургский край начало умножаться с каждым годом. Со всех сторон потянулись луговая мордва, черемисы, чуваши, татары и мещеряки; русских переселенцев, казенных крестьян разных ведомств и разнокалиберных помещиков также было немало. Явились и соседи у дедушки: шурин его Иван

Васильевич Неклюдов купил землю в двадцати верстах от Степана Михайловича, перевел крестьян, построил деревянную церковь, назвал свое село Неклюдовым и сам переехал в него с семейством, чему дедушка совсем не обрадовался: до всех родственников своей супруги, до всей неклюдовщины, как он называл их, Степан Михайлович был большой неохотник. Помещик Бахметев купил землю еще ближе, верстах в десяти от Багрова, на верховье речки Совруши, текущей параллельно с Бугурусланом на юго-запад; он также перевел крестьян и назвал деревню Бахметевкой. С другой стороны, верстах в двадцати по реке Насягай, или Мочагай, как и до сих пор называют ее туземцы, также завелось помещичье селение Полибино, впоследствии принадлежавшее С. А. Плещееву, а теперь принадлежащее Карамзиным. Насягай больше и лучше Бугуруслана: полноводнее, рыбнее, и птица на нем водилась и водится гораздо изобильнее. По дороге в Полибино, прямо на восток, верстах в восьми от Багрова, заселилась на небольшом ручье большая мордовская деревня Нойкино; верстах в двух от нее построилась мельница на речке Бокле, текущей почти параллельно с Бугурусланом на юг; недалеко от мельницы впадает Бокла в Насягай,

который диагоналом с северо-востока торопливо катит свои сильные и быстрые воды прямо на юго-запад. Верстах в семнадцати от Нового Багрова принимает он в себя наш Бугуруслан и, усиленный его водами, недалеко от города Бугуруслана соединяется с Большим Кинелем, теряя в нем знаменательное и звучное свое имя.

Наконец, появился мордовский выселок, под названием Кивацкого, уже только в двух верстах от дедушки, вниз по Бугуруслану; это была мордва, отделившаяся от селения Мордовский Бугуруслан, сидевшего на речке Малый Бугурусланчик верстах в девяти от Багрова. Степан Михайлович сначала поморщился от близкого соседства, напоминавшего ему старое Троицкое; но тут вышло совсем другое дело. Это были добрые, смирные люди, уважавшие дедушку не менее, как своего волостного начальника. В несколько лет Степан Михайлович умел снискать общую любовь и глубокое уважение во всем околотке. Он был истинным благодетелем дальних и близких, старых и новых своих соседей, особенно последних, по их незнанию местности, недостатку средств и по разным надобностям, всегда сопровождающим переселенцев, которые нередко пускаются на такое трудное дело, не при-

няв предварительных мер, не заготовя хлебных запасов и даже иногда не имея на что купить их. Полные амбары дедушки были открыты всем — бери, что угодно. «Сможешь — отдай при первом урожае; не сможешь — бог с тобой!» С такими словами раздавал дедушка щедрою рукою хлебные запасы на ***семены*** и ***емены***. К этому надо прибавить, что он был так разумен, так снисходителен к просьбам и нуждам, так неизменно верен каждому своему слову, что скоро сделался истинным оракулом вновь заселяющегося уголка обширного Оренбургского края. Мало того, что он помогал, он воспитывал нравственно своих соседей! Только правдою можно было получить от него все. Кто раз солгал, раз обманул, тот и не ходи к нему на господский двор: не только ничего не получит, да в иной час дай бог и ноги унести. Много семейных ссор примирил он, много тяжебных дел потушил в самом начале. Со всех сторон ехали и шли к нему за советом, судом и приговором — и свято исполнялись они! Я знал внуков, правнуков тогдашнего поколения, благодарной памяти которых в изустных рассказах передан был благодетельный и строгий образ Степана Михайловича, не забытого еще и теперь. Много слыхал я простых и вместе глу-

боких воспоминаний, сопровождаемых слезами и крестным знамением об упокоении души его. Не удивительно, что крестьяне любили горячо такого барина; но также любили его и дворовые люди, при нем служившие, часто переносившие страшные бури его неукротимой вспыльчивости. Впоследствии некоторые из молодых слуг его доживали свой век при внуке Степана Михайловича уже стариками; часто рассказывали они о строгом, вспыльчивом, справедливом и добром своем старом барине и никогда без слез о нем не вспоминали.

И этот добрый, благодетельный и даже снисходительный человек омрачался иногда такими вспышками гнева, которые искажали в нем образ человеческий и делали его способным на ту пору к жестоким, отвратительным поступкам. Я видел его таким в моем детстве, что случилось много лет позднее того времени, про которое я рассказываю, — и впечатление страха до сих пор живо в моей памяти! Как теперь гляжу на него: он прогневался на одну из дочерей своих, кажется за то, что она солгала и заперлась в обмане; двое людей водили его под руки; узнать было нельзя моего прежнего дедушку; он весь дрожал, лицо дергали судороги, свирепый огонь лился из его

глаз, помутившихся, потемневших от ярости! «Подайте мне ее сюда!» — вопил он задыхающимся голосом. (Это я помню живо: остальное мне часто рассказывали.) Бабушка кинулась было ему в ноги, прося помилования, но в одну минуту слетел с нее платок и волосник, и Степан Михайлович таскал за волосы свою тучную, уже старую Арину Васильевну. Между тем не только виноватая, но и все другие сестры и даже брат их с молодою женою и маленьким сыном убежали из дома и спрятались в рощу, окружавшую дом; даже там ночевали; только молодая невестка воротилась с сыном, боясь простудить его, и провела ночь в людской избе. Долго бушевал дедушка на просторе в опустелом доме. Наконец, уставши колотить Танайченка и Мазана, уставши таскать за косы Арину Васильевну, повалился он в изнеможении на постель и, наконец, впал в глубокий сон, продолжавшийся до раннего утра следующего дня. — Светел, ясен проснулся на заре Степан Михайлович, весело крикнул свою Аришу, которая сейчас прибежала из соседней комнаты с самым радостным лицом, как будто вчерашнего ничего не бывало. «Чаю! Где дети, Алексей, невестушка? Подайте Сережу», — говорил проснувшийся безумец, и все явились,

спокойные и веселые, кроме невестки с сыном. Это была женщина сама с сильным характером, и никакие просьбы не могли ее заставить так скоро броситься с ласкою к вчерашнему дикому зверю, да и маленький сын беспрестанно говорил: «Боюсь дедушки, не хочу к нему». Чувствуя себя в самом деле нехорошо, она сказалась больною и не пустила сына. Все пришли в ужас, ждали новой грозы. Но во вчерашнем диком звере сегодня уже проснулся человек. После чаю и шутливых разговоров свекор сам пришел к невестке, которая действительно была нездорова, похудела, переменилась в лице и лежала в постели. Старик присел к ней на кровать, обнял ее, поцеловал, назвал красавицей-невестынькой, обласкал внука и, наконец, ушел, сказавши, что ему «без невестыньки будет скучно». Через полчаса невестка, щегольски, по-городскому разодетая, в том самом платье, про которое свекор говорил, что оно особенно идет ей к лицу, держа сына за руку, вошла к дедушке. Дедушка встретил ее почти со слезами. «Вот и больная невестка себя не пожалела, встала, оделась и пришла развеселить старика», — сказал он с нежностью. Закусили губы и потупили глаза свекровь и золовки, все не любившие невестку,

которая почтительно и весело отвечала на ласки свекра, бросая гордые и торжествующие взгляды на своих недоброхоток… Но я не стану более говорить о темной стороне моего дедушки; лучше опишу вам один из его добрых, светлых дней, о которых я много наслышался.

ДОБРЫЙ ДЕНЬ СТЕПАНА МИХАЙЛОВИЧА

В исходе июня стояли сильные жары. После душной ночи потянул на рассвете восточный, свежий ветерок, всегда упадающий, когда обогреет солнце. На восходе его проснулся дедушка. Жарко было ему спать в небольшой горнице, хотя с поднятым на всю подставку подъемом старинной оконной рамы с мелким переплетом, но зато в пологу из домашней рединки. Предосторожность необходимая: без полога заели бы его злые комары и не дали уснуть. Роями носились и тыкались длинными жалами своими в тонкую преграду крылатые музыканты и всю ночь пели ему докучные серенады. Смешно сказать, а грех утаить, что я люблю дишкантовый писк и даже кусанье комаров: в них слышно мне знойное лето, роскошные бессонные ночи, берега Бугуруслана, обросшие зелеными кустами, из которых со всех сторон неслись соловьиные песни;

я помню замирание молодого сердца и сладкую, безотчетную грусть, за которую отдал бы теперь весь остаток угасающей жизни… Проснулся дедушка, обтер жаркою рукою горячий пот с крутого, высокого лба своего, высунул голову из-под полога и рассмеялся. Ванька Мазан и Никанорка Танайченок храпели врастяжку на полу, в карикатурно-живописных положениях. «Эк храпят, собачьи дети!» — сказал дедушка и опять улыбнулся. Степан Михайлович был загадочный человек: после такого сильного словесного приступа следовало бы ожидать толчка калиновым подожком (всегда у постели его стоявшим) в бок спящего или пинка ногой, даже приветствия стулом; но дедушка рассмеялся, просыпаясь, и на весь день попал в добрый стих, как говорится. Он встал без шума, раз-другой перекрестился, надел порыжелые, кожаные туфли на босые ноги и в одной рубахе из крестьянской оброчной лленой холстины (ткацкого тонкого полотна на рубашки бабушка ему не давала) вышел на крыльцо, где приятно обхватила его утренняя, влажная свежесть. Я сейчас сказал, что ткацкого холста на рубашки Арина Васильевна не давала Степану Михайловичу, и всякий читатель вправе заметить, что это не сообразно с характерами

обоих супругов. Но как же быть — прошу не прогневаться, так было на деле: женская натура торжествовала над мужскою, как и всегда! Не раз битая за толстое белье, бабушка продолжала подавать его и, наконец, приучила к нему старика. Дедушка употребил однажды самое действительное, последнее средство; он изрубил топором на пороге своей комнаты все белье, сшитое из оброчной лленой холстины, несмотря на вопли моей бабушки, которая умоляла, чтоб Степан Михайлович «бил ее, да своего добра не рубил…», но и это средство не помогло: опять явилось толстое белье — и старик покорился… Виноват, опровергая мнимое замечание читателя, я прервал рассказ про «добрый день моего дедушки». Никого не беспокоя, он сам достал войлочный потник, лежавший всегда в чулане, подостлал его под себя на верхней ступени крыльца и сел встречать солнышко по всегдашнему своему обычаю. — Перед восходом солнца бывает весело на сердце у человека как-то бессознательно; а дедушке, сверх того, весело было глядеть на свой господский двор, всеми нужными по хозяйству строениями тогда уже достаточно снабженный. Правда, двор был не обгорожен, и выпущенная с крестьянских дворов скотина, собираясь в об-

щее мирское стадо для выгона в поле, посещала его мимоходом, как это было и в настоящее утро и как всегда повторялось по вечерам. Несколько запачканных свиней потирались и почесывались о самое то крыльцо, на котором сидел дедушка, и, хрюкая, лакомились раковыми скорлупами и всякими столовыми объедками, которые без церемонии выкидывались у того же крыльца; заходили также и коровы и овцы; разумеется, от их посещений оставались неопрятные следы; но дедушка не находил в этом ничего неприятного, а, напротив, любовался, глядя на здоровый скот как на верный признак довольства и благосостояния своих крестьян. Скоро громкое хлопанье длинного пастушьего кнута угнало посетителей. Начала просыпаться дворня. Дюжий конюх Спиридон, которого до глубокой старости звали «Спирькой», выводил, одного за другим, двух рыже-пегих и третьего бурого жеребца, привязывал их к столбу, чистил и проминал на длинной коновязи, причем дедушка любовался их статями, заранее любовался и тою породою, которую надеялся повести от них, в чем и успел совершенно. Проснулась и старая ключница, спавшая на погребице, вышла из погреба, сходила на Бугуруслан умыться, повздыхала,

поохала (это была ее неизменная привычка), помолилась Богу, оборотясь к солнечному восходу, и принялась мыть, полоскать, чистить горшки и посуду. Весело кружились в небе, щебетали и пели ласточки и косаточки, звонко били перепела в полях, рассыпались в воздухе песни жаворонков, надседаясь хрипло кричали в кустах дергуны; подсвистыванье погонышей, токованье и блеянье дикого барашка неслись с ближнего болота, варакушки взапуски передразнивали соловьев; выкатывалось из-за горы яркое солнце!.. Задымились крестьянские избы, погнулись по ветру сизые столбы дыма, точно вереница речных судов выкинула свои флаги; потянулись мужички в поле… Захотелось дедушке умыться студеной водою и потом напиться чаю. Разбудил он безобразно спавших слуг своих. Повскакали они, как полоумные, в испуге, но веселый голос Степана Михайловича скоро ободрил их: «Мазан, умываться! Танайченок, будить Аксютку и барыню, чаю!» Не нужно было повторять приказаний: неуклюжий Мазан уже летел со всех ног с медным, светлым рукомойником на родник за водою, а проворный Танайченок разбудил некрасивую молодую девку Аксютку, которая, поправляя свалившийся набок платок, уже буди-

ла старую, дородную барыню Арину Васильевну. В несколько минут весь дом был на ногах, и все уже знали, что старый барин проснулся весел. Через четверть часа стоял у крыльца стол, накрытый белою браною скатерткой домашнего изделья, кипел самовар в виде огромного медного чайника, суетилась около него Аксютка, и здоровалась старая барыня, Арина Васильевна, с Степаном Михайловичем, не охая и не стоная, что было нужно в иное утро, а весело и громко спрашивала его о здоровье: «Как почивал и что во сне видел?» Ласково поздоровался дедушка с своей супругой и назвал ее Аришей; он никогда не целовал ее руки, а свою давал целовать в знак милости. Арина Васильевна расцвела и помолодела: куда девалась ее тучность и неуклюжесть! Сейчас принесла скамеечку и уселась возле дедушки на крыльце, чего никогда не смела делать, если он неласково встречал ее. «Напьемся-ка вместе чайку, Ариша! — заговорил Степан Михайлович, — покуда не жарко. Хотя спать было душно, а спал я крепко, так что и сны все заспал. Ну, а ты?» Такой вопрос был необыкновенная ласка, и бабушка поспешно отвечала, что которую ночь Степан Михайлович хорошо почивает, ту и она хорошо спит; но что Танюша всю ночь

металась. Танюша была меньшая дочь, и старик любил ее больше других дочерей, как это часто случается; он обеспокоился такими словами и не приказал будить Танюшу до тех пор, покуда сама не проснется. Татьяну Степановну разбудили вместе с Александрой и Елизаветой Степановнами, и она уже оделась; но об этом сказать не осмелились. Танюша проворно разделась, легла в постель, велела затворить ставни в своей горнице и хотя заснуть не могла, но пролежала в потемках часа два; дедушка остался доволен, что Танюша хорошо выспалась. Единственного сынка, которому было девять лет, никогда не будили рано. Старшие дочери явились немедленно; Степан Михайлович ласково дал им поцеловать руку и назвал одну Лизынькой, а другую Лексаней. Обе были очень не глупы, Александра же соединяла с хитрым умом отцовскую живость и вспыльчивость, но добрых свойств его не имела. Бабушка была женщина самая простая и находилась в полном распоряжении у своих дочерей; если иногда она осмеливалась хитрить с Степаном Михайловичем, то единственно по их наущению, что, по неуменью, редко проходило ей даром и что старик знал наизусть; он знал и то, что дочери готовы обмануть его при вся-

ком удобном случае, и только от скуки или для сохранения собственного покоя, разумеется будучи в хорошем расположении духа, позволял им думать, что они надувают его; при первой же вспышке все это высказывал им без пощады, в самых нецеремонных выражениях, а иногда и бивал, но дочери, как настоящие Евины внучки, не унывали: проходил час гнева, прояснялось лицо отца, и они сейчас принимались за свои хитрые планы и нередко успевали.

Накушавшись чаю и поговоря о всякой всячине с своей семьей, дедушка собрался в поле. Он уже давно сказал Мазану: «Лошадь!» — и старый бурый мерин, запряженный в длинные крестьянские дроги, или роспуски, чрезвычайно покойные, переплетенные частою веревочной решеткою с длинным лубком посередине, накрытым войлоком — уже стоял у крыльца. Конюх Спиридон сидел кучером в незатейливом костюме, то есть просто в одной рубахе, босиком, подпоясанный шерстяным тесемочным красным поясом, на котором висел ключ и медный гребень. В предыдущий раз Спиридон ездил в такую же экспедицию даже без шляпы, но дедушка побранил его за то, и на этот раз он приготовил себе что-то вроде шапки, сплетенной из широких

лык; дедушка посмеялся над его ***шлычкой*** и, надев ***полевой*** кафтан из небеленого домашнего холста да картуз и подостлав под себя про запас от дождя армяк, сел на дроги. Спиридон также подложил под себя сложенный втрое свой обыкновенный зипун из крестьянского белого сукна, но окрашенный в ярко-красный цвет марены, которой много родилось в полях. Этот красный цвет был в таком употреблении у стариков, что багровских дворовых соседи звали «маренниками»; я сам слыхал это прозвище лет пятнадцать после смерти дедушки. В поле Степан Михайлович был всем доволен. Он осмотрел отцветавшую рожь, которая, в человека вышиною, стояла, как стена; дул легкий ветерок, и сине-лиловые волны ходили по ней, то светлее, то темнее отражаясь на солнце. Любо было глядеть хозяину на такое поле! Дедушка объехал молодые овсы, полбы и все яровые хлеба; потом отправился в паровое поле и приказал возить себя взад и вперед по вспаренным десятинам. Это был его обыкновенный способ узнавать доброту пашни: всякая целизна, всякое нетронутое сохою местечко сейчас встряхивало качкие дроги, и если дедушка бывал не в духе, то на таком месте втыкал палочку или прутик, посылал за старостой, если его

не было с ним, и расправа производилась немедленно. В этот раз все шло благополучно; может быть, и попадались целизны, только Степан Михайлович их не замечал или не хотел заметить. Он заглянул также на места степных сенокосов и полюбовался густой высокой травой, которую чрез несколько дней надо было косить. Он побывал и на крестьянских полях, чтобы знать самому, у кого уродился хлеб хорошо и у кого плохо, даже пар крестьянский объехал и попробовал, все заметил и ничего не забыл. Проезжая чрез залежи и увидев поспевавшую клубнику, дедушка остановился и, с помощью Мазана, набрал большую кисть крупных, чудных ягод и повез домой своей Арише. Несмотря на жар, он проездил почти до полдён. Только завидели спускающиеся с горы дедушкины дроги — кушанье уже стояло на столе, и вся семья ожидала хозяина на крыльце. «Ну, Ариша, — весело сказал дедушка, — какие хлеба дает нам Бог! Велика милость Господня! А вот тебе и клубничка». Бабушка растаяла от радости. «Наполовину поспела, — продолжал он, — с завтрашнего дня посылать по ягоды». Говоря эти слова, он входил в переднюю; запах горячих щей несся ему навстречу из залы. «А, готово! — еще веселее сказал Степан Михайлович, — спасибо»,

и, не заходя в свою комнату, прямо прошел в залу и сел за стол. Надобно сказать, что у дедушки был обычай: когда он возвращался с поля, рано или поздно, — чтоб кушанье стояло на столе, и боже сохрани, если прозевают его возвращение и не успеют подать обеда. Бывали примеры, что от этого происходили печальные последствия. Но в этот блаженный день все шло как по маслу, все удавалось. Здоровенный дворовый парень Николка Рузан стал за дедушкой с целым сучком березы, чтобы обмахивать его от мух. Горячие щи, от которых русский человек не откажется в самые палящие жары, дедушка хлебал деревянной ложкой, потому что серебряная обжигала ему губы; за ними следовала ботвинья со льдом, с прозрачным балыком, желтой, как воск, соленой осетриной и с чищеными раками, и тому подобные легкие блюда. Все это запивалось домашней брагой и квасом, также со льдом. Обед был превеселый. Все говорили громко, шутили, смеялись; но бывали обеды, которые проходили в страшной тишине и безмолвном ожидании какой-нибудь вспышки. Все дворовые мальчишки и девчонки знали, что старый барин весело кушает, и все набились в залу за подачками; дедушка щедро оделял всех, потому что куша-

нья готовилось впятеро более, чем было нужно. После обеда он сейчас лег спать. Вымахали мух из полога, опустили его над дедушкой, подтыкали кругом края под перину; скоро сильный храп возвестил, что хозяин спит богатырским сном. Все разошлись по своим местам также отдыхать. Мазан и Танайченок, предварительно пообедав и наглотавшись объедков от барского стола, также растянулись на полу в передней, у самой двери в дедушкину горницу. Они спали и до обеда, но и теперь не замедлили заснуть, только духота и упёка от солнца, ярко светившего в окна, скоро их разбудила. От сна и от жара пересохло у них в горле, захотелось им прохладить горячие гортани господской бражкой с ледком, и вот на какую штуку пустились дерзкие лежебоки: в непритворенную дверь достали они дедушкин халат и колпак, лежавшие на стуле у самой двери. Танайченок надел на себя барское платье и сел на крыльцо, а Мазан побежал со жбаном на погреб, разбудил ключницу, которая, как и все в доме, спала мертвым сном, требовал поскорее проснувшемуся барину студеной браги, и, когда ключница изъявила сомнение, проснулся ли барин, — Мазан указал ей на фигуру Танайченка, сидящего на крыльце в халате и колпаке; наце-

дили браги, положили льду, проворно побежал Мазан с добычей. Жбан выпили по-братски, положили халат и колпак на старое место и целый час еще дожидались, пока проснется дедушка. Еще веселее утрешнего проснулся барин, и первое его слово было: «Студеной бражки». Перепугались лакеи: Танайченок побежал к ключнице, которая сейчас догадалась, что первый жбан выпили они сами; она отпустила пойла, но вслед за посланным сама подошла к крыльцу, на котором сидел уже в халате настоящий барин. С первых слов обман открылся, и дрожащие от страха Мазан и Танайченок повалились барину в ноги, и что ж, вы думаете, сделал дедушка?.. Расхохотался, послал за Аришей и за дочерьми и, громко смеясь, рассказал им всю проделку своих слуг. Отдохнули бедняги от страха, и даже один из них улыбнулся. Степан Михайлович заметил и чуть-чуть не рассердился; брови его уже начали было морщиться, но в его душе так много было тихого спокойствия от целого веселого дня, что лоб его разгладился и, грозно взглянув, он сказал: «Ну, Бог простит на этот раз; но если в другой…» Договаривать было не нужно.

Нельзя не подивиться, что у такого до безумия горячего и в горячности жестокого господина

люди могли решиться на такую наглую шалость. Но много раз я замечал в продолжение моей жизни, что у самых строгих господ прислуга пускалась на отчаянные проказы. С дедушкой же моим это был не единственный случай. Тот же самый Ванька Мазан, подметая однажды горницу Степана Михайловича и собираясь перестлать постель, соблазнился мягкой пуховой периной и такими же подушками, вздумал понежиться, полежать на барской кровати, лег, да и заснул. Дедушка сам нашел его, крепко спящего в этом положении, и — только рассмеялся! Правда, он отвесил ему добрый раз своим калиновым подожком, но это так, ради смеха, чтоб позабавиться испугом Мазана. Впрочем, с Степаном Михайловичем и не то случилось: во время его отсутствия выдали замуж четырнадцатилетнюю девочку, двоюродную его сестру, П. И. Багрову, круглую, но очень богатую сироту, жившую у него в доме и горячо им любимую, — за такого развратного и страшного человека, которого он терпеть не мог. Конечно, это дело устроили близкие родные его сестры с материнской стороны, но с согласия Арины Васильевны и при содействии ее дочерей. Об этом я расскажу после, теперь же возвратимся к доброму дню моего дедушки.

Он проснулся часу в пятом пополудни и, после студеной бражки, несмотря на палящий зной, скоро захотел накушаться чаю, веруя, что горячее питье уменьшает тягость жара. Он сходил только искупаться в прохладном Бугуруслане, протекавшем под окнами дома, и, воротясь, нашел всю свою семью, ожидающую его у того же чайного стола, поставленного в тени, с тем же кипящим чайником, самоваром и с тою же Аксюткою. Накушавшись досыта любимого потогонного напитка с густыми сливками и толстыми подрумянившимися пенками, дедушка предложил всем ехать для прогулки на мельницу. Разумеется, все с радостию согласились, и две тетки мои, Александра и Татьяна Степановны, взяли с собой удочки, потому что были охотницы до рыбной ловли. В одну минуту запрягли двое длинных дрог: на одних сел дедушка с бабушкой, посадив промеж себя единственного своего наследника, драгоценную отрасль древнего своего дворянского рода; на других дрогах поместились три тетки и парень Николашка Рузан, взятый для того, чтоб нарыть в плотине червяков и насаживать ими удочки у барышень. На мельнице бабушке принесли скамейку, и она уселась в тени мельничного амбара, неподалеку от кауза, около

которого удили ее меньшие дочери, а старшая, Елизавета Степановна, сколько из угождения к отцу, столько и по собственному расположению к хозяйству, пошла с Степаном Михайловичем осматривать мельницу и толчею. Малолетний сынок то смотрел, как удят рыбу сестры (самому ему удить на глубоких местах еще не позволяли), то играл около матери, которая не спускала с него глаз, боясь, чтоб ребенок не свалился как-нибудь в воду. Оба камня мололи: одним обдирали пшеницу для господского стола, а на другом мололи завозную рожь; толчея толкла просо. Дедушка был знаток всякого хозяйственного дела; он хорошо разумел мельничный устав и толковал своей умной и понятливой дочери все тонкости этого дела. Он мигом увидел все недостатки в снастях или ошибки в уставе жерновов: один из них приказал опустить на ползарубки, и мука пошла мельче, чем помолец был очень доволен; на другом поставе по слуху угадал, что одна цевка в шестерне начала подтираться; он приказал запереть воду, мельник Болтуненок соскочил вниз, осмотрел и ощупал шестерню и сказал: «Правда твоя, батюшка Степан Михайлович! Одна цевка маленько пообтерлась». — «То-то маленько, — без всякого неудовольствия возразил дедушка, —

кабы я не пришел, так шестерня-то бы ночью сломалась». — «Виноват, Степан Михайлович, не доглядел». — «Ну, Бог простит, давай новую шестерню, а у старой подтертую цевку переменить, да чтобы новая была не толще, не тоньше других — в этом вся штука». Сейчас принесли новую шестерню, заранее прилаженную и пробованную, вставили на место прежней, смазали, где надобно, дегтем, пустили воду не вдруг, а понемногу (тоже по приказанию дедушки) — и запел, замолол жернов без перебоя, без стука, а плавно и ровно. Потом пошел дедушка с своей дочерью на толчею, захватил из ступы горсть толченого проса, обдул его на ладони и сказал помольщику, знакомому мордвину: «Чего смотришь, сосед Васюха? Видишь, ни одного не отолченного зернышка нет. Ведь перепустишь, так пшена-то будет меньше». Васюха сам попробовал и сам увидел, что дедушка говорит правду; сказал спасибо, поклонился, то есть кивнул головой, и побежал запереть воду. Оттуда прошел дедушка с своей ученицей на птичный двор; там все нашел в отличном порядке; гусей, уток, индеек и кур было великое множество, и за всем смотрела одна пожилая баба с внучкой. В знак особенной милости дедушка дал обеим поцеловать ручку и приказал,

сверх месячины, выдавать птичнице ежемесячно по полпуду пшеничной муки на пироги. Весело воротился Степан Михайлович к Арине Васильевне, всем был он доволен: и дочь понятна, и мельница хорошо мелет, и птичница Татьяна Горожана хорошо смотрит за птицею[10].

Жар давно свалил, прохлада от воды умножала прохладу от наступающего вечера, длинная туча пыли шла по дороге и приближалась к деревне, слышалось в ней блеянье и мычанье стада, опускалось за крутую гору потухающее солнце. Стоя на плотине, любовался Степан Михайлович на широкий пруд, как зеркало, неподвижно лежавший в отлогих берегах своих; рыба играла и плескалась беспрестанно, но дедушка не был рыбаком. «Пора, Ариша, домой, староста, чай, ждет меня», — сказал он. Меньшие дочери, видя его в веселом расположении, стали просить позволения остаться поудить, говоря, что на солнечном закате рыба клюет лучше и что через полчаса они придут пешком. Дедушка согласился и уехал с бабушкой домой на своих дрогах, а Елизавета Степановна с маленьким братом села на другие дроги. Степан Михайлович не ошибся:

---

[10] Сноски: 10

Прозванье «Горожаны» она имела потому, что несколько времени смолоду жила в каком-то городе.

у крыльца ожидал его староста, да и не один, а с несколькими мужиками и бабами. Староста уже видел барина, знал, что он в веселом духе, и рассказал о том кое-кому из крестьян; некоторые, имевшие до дедушки надобности или просьбы, выходящие из числа обыкновенных, воспользовались благоприятным случаем, и все были удовлетворены: дедушка дал хлеба крестьянину, который не заплатил еще старого долга, хотя и мог это сделать; другому позволил женить сына, не дожидаясь зимнего времени, и не на той девке, которую назначил сам; позволил виноватой солдатке, которую приказал было выгнать из деревни, жить по-прежнему у отца, и проч. Этого мало; всем было поднесено по серебряной чарке, вмещавшей в себе более квасного стакана, домашнего крепкого вина. Коротко и ясно отдал дедушка хозяйственные приказания старосте и поспешил за ужин, несколько времени его уже ожидавший. Вечерний стол мало отличался от обеденного, и, вероятно, кушали за ним даже поплотнее, потому что было не так жарко. После ужина Степан Михайлович имел обыкновение еще с полчаса посидеть в одной рубахе и прохладиться на крыльце, отпустя семью свою на покой. В этот раз несколько долее обыкновенного он

шутил и смеялся с своей прислугой; заставлял Мазана и Танайченка бороться и драться на кулачки и так их поддразнивал, что они, не шутя, колотили друг друга и вцепились даже в волосы; но дедушка, досыта насмеявшись, повелительным словом и голосом заставил их опомниться и разойтись.

Летняя, короткая, чудная ночь обнимала всю природу. Еще не угас свет вечерней зари и не угаснет до начала соседней утренней зари! Час от часу темнела глубь небесного свода, час от часу ярче сверкали звезды, громче раздавались голоса и крики ночных птиц, как будто они приближались к человеку! Ближе шумела мельница и толкла толчея в ночном сыром тумане… Встал мой дедушка с своего крылечка, перекрестился раз-другой на звездное небо и лег почивать, несмотря на духоту в комнате, на жаркий пуховик и приказал опустить на себя полог.

Третий отрывок из «Семейной хроники». Женитьба молодого Багрова

Много пронеслось годов, много совершилось событий: был голод, повальные болезни, была пугачевщина. Шайки Емели распугали помещи-

ков Оренбургского края, и Степан Михайлович со своим семейством также бежал, сначала в Самару, а потом вниз по матушке по Волге, в Саратов и даже в Астрахань. Но все прошло, все успокоилось, все забылось. Одни подросли, другие возмужали, третьи постарели; разумеется, в числе третьих был Степан Михайлович. Видел это он и сам, да как-то не верил. Нередко говорил он: «Много уплыло по вешней воде», и говорил он это без огорчения, как будто речь шла о другом человеке, а не о нем… В самом деле, не тот уже был мой дедушка. Куда девались его богатырские силы, и проворство, и неутомимость? Дедушка дивился тому иногда, но продолжал жить по-прежнему, по-старинному: он так же столько же ел и пил, сколько и чего хотела душа, так же одевался, не справляясь с погодою, отчего начинал иногда прихварывать. Тускнели понемногу его ясные и зоркие взгляды, слабел громкий голос; реже он гневался, реже бывал весел и светел. Старших дочерей своих он пристроил: первая, Веригина, уже давно умерла, оставив трехлетнюю дочь; вторая, Коптяжева, овдовела и опять вышла замуж за Нагаткина; умная и гордая Елизавета какими-то судьбами попала за генерала Ерлыкина, который, между прочим, был стар, беден

и пил запоем; Александра нашла себе столбового русского дворянина, молодого и с состоянием, И. И. Коротаева, страстного любителя башкирцев и кочевой их жизни, — башкирца душой и телом; меньшая, Танюша, оставалась при родителях; сынок был уже двадцати семи лет, красавчик, кровь с молоком: «кофту да юбку, так больше бы походил на барышню, чем все сестры», — так говорил про него сам отец. Несмотря на горькие слезы и постоянное сокрушение Арины Васильевны, Степан Михайлович, как только сыну минуло шестнадцать лет, определил его в военную службу, в которой он служил года три, и по протекции Михайла Максимовича Куролесова находился почти год бессменным ординарцем при Суворове; но Суворов уехал из Оренбургского края, и какой-то немец-генерал (кажется, Трейблут) без всякой вины жестоко отколотил палками молодого человека, несмотря на его древнее дворянство. Бабушка чуть не умерла с печали, да и дедушке не понравилась эта шутка: он взял Алешу в отставку и определил в Верхний земский суд, где он усердно и долго служил и был впоследствии прокурором.

Не могу пройти молчанием замеченную мною странность: большая часть этих господ немцев

и вообще иностранцев, служивших тогда в русской службе, постоянно отличались жестокостью и большою охотою до палок. Немец-лютеранин, отколотивший беспощадно молодого Багрова, был в то же время строгим соблюдателем церковных русских обрядов. Вот как случилось это историческое событие в багровской семейной хронике. Под какой-то неважный праздник приказал немец-генерал служить всенощную в полковой церкви, что совершалось всегда в его присутствии и при собрании всех офицеров. Время было летнее, окошки отворены; вдруг залилась в воздухе русская песня по Дворянской улице города Уфы; генерал бросился к окошку: по улице шли трое молодых унтер-офицеров, один из них пел песню; генерал приказал их схватить и каждому дать по триста палок. Бедный мой отец, который не пел, а только вместе шел с другими унтерами, объявил, что он дворянин, но генерал, злобно улыбаясь, сказал ему: «Дворянин должен быть с большим благоговением к служба Господня», — и в своем присутствии, в соседней комнате с церковью, при торжественном пении божественных славословий, зверски приказал отсчитать триста ударов невинному юноше, запрещая ему даже кричать, чтоб «не возмущать

Господня служба». Замертво отвезли наказанного в лазарет. Там должны были разрезать на нем мундир, так распухло его нежное молодое тело; два месяца гнила у него спина и плечи. Каково было все это узнать матери, любившей единственного сынка до безумия! Дедушка жаловался кому-то, и еще до выхода из лазарета сын его, немедленно подавший просьбу об отставке, был уволен из военной службы для определения к статским делам с чином четырнадцатого класса. В настоящее время было забыто это происшествие, ему прошло уже восемь лет.

Алексей Степанович преспокойно служил и жил в Уфе, отстоявшей в двухстах сорока верстах от Багрова, и приезжал каждый год два раза на побывку к своим родителям. Ничего особенного с ним не происходило. Тихий, скромный, застенчивый, ко всем ласковый, цвел он, как маков цвет, и вдруг… помутился ясный ручеек жизни молодого деревенского дворянина.

В городе Уфе, где постоянно находилась воеводская канцелярия, постоянно жил товарищ наместника коллежский советник Николай Федорович Зубин, человек умный и честный, но слишком нежный и слабый. Он овдовел, и у него осталось трое детей: дочь Сонечка, двена-

дцати лет, и два малолетних сына. Отец любил свою Сонечку страстно, да и как было не любить такую красавицу и умницу, которая, несмотря на свой детский возраст, скоро сделалась ему подругой и помощницей по домашнему хозяйству. Года через полтора после смерти первой жены, горячо им любимой, выплакав сердечное горе, Николай Федорович успокоился и влюбился в дочь известного описателя Оренбургского края, тамошнего помещика П. А. Рычкова, и вскоре женился. Молодая жена, Александра Петровна, умная, гордая и красивая, овладела совершенно нежным сердцем вдовца и возненавидела его любимицу, свою молоденькую, но уже прекрасную падчерицу. Дело весьма обыкновенное. Страшное слово «мачеха», давно сделавшееся прилагательным именем для выражения жестокости, шло как нельзя лучше к Александре Петровне; но Сонечку нельзя было легко вырвать из сердца отца; девочка была неуступчивого нрава, с ней надо было бороться, и оттого злоба мачехи достигла крайних пределов; она поклялась, что дерзкая тринадцатилетняя девчонка, кумир отца и целого города, будет жить в девичьей, ходить в выбойчатом платье и выносить нечистоту из-под ее детей… Она буквально сдержала свою клятву:

через два или три года Сонечка жила в девичьей, одевалась, как черная служанка, мыла и чистила детскую, где поселились уже две новые сестрицы. Что же страстно любивший отец?.. Он не видел дочери по целым месяцам и, когда встречал одетую чуть не в рубище, — отворачивался, вздыхал, плакал потихоньку и спешил удалиться. Таковы бывают по большей части немолодые вдовцы, влюбленные в молодых своих жен. Я не знаю в точности всех путей и средств, которыми достигла Александра Петровна своего торжества, и потому не стану говорить о них; не стану также распространяться о том, каким жестокостям и мучениям подвергалась несчастная сирота, одаренная от природы чувствительною, сильною и непокорною душою; тут не были забыты самые унизительные наказания, даже побои за небывалые вины. Скажу только, что падчерица была близка к самоубийству: она спаслась от него чудом. Вот как это случилось: решившись прекратить невыносимую жизнь, бедная девушка захотела в последний раз помолиться в своей каморке на чердаке перед образом Смоленской Божией Матери, которым благословила ее умирающая мать. Она упала перед иконой и, проливая ручьи горьких слез, приникла лицом

к грязному полу. Страдания лишили ее чувств на несколько минут, и она как будто забылась; очнувшись, она встала и видит, что перед образом теплится свеча, которая была потушена ею накануне; страдалица вскрикнула от изумления и невольного страха, но скоро, признав в этом явлении чудо всемогущества Божьего, она ободрилась, почувствовала неизвестные ей до тех пор спокойствие и силу и твердо решилась страдать, терпеть и жить. С этого дня беспомощная сирота облеклась непроницаемою бронею терпенья к вящему раздражению своей мачехи. Она все исполняла, что ей приказывали; все переносила спокойно; никакие ругательства, никакие унизительные наказания не вырывали слез, не доводили ее до дурноты, до обморока, как это прежде бывало, и к обыкновенному названию «мерзкая девчонка» присоединился эпитет «отчаянная и мерзкая девчонка». Но исполнилась мера долготерпения Божьего, и грянул гром: великолепная Александра Петровна, в цвете лет, здоровья и красоты, родила еще сына и умерла в десятый день после родов. Она знала за сутки, что должна умереть, и поспешила примириться с своей совестью: вдруг ночью разбудили Сонечку и позвали к мачехе; Александра Пет-

ровна при свидетелях покаялась в своих винах перед падчерицей, просила у нее прощенья и заклинала именем Божиим не оставить ее детей; падчерица простила, обещала не оставить их и сдержала обещанье. Александра Петровна призналась также своему мужу, что все обвинения, взводимые на его дочь, были выдумка и клевета.

Боже мой, как смерть перевернула все вверх дном! Николая Федорыча разбил нервический паралич, после которого он жил еще несколько лет, но уже не вставал с постели. Загнанная, оборванная барышня, которую подлое лакейство, особенно приданые мачехи, обижали сколько душе угодно, втоптали в грязь, — вдруг сделалась полновластною госпожою в доме, потому что больной отец отдал ей в распоряжение все. Объяснение и примирение виновного отца с обиженной дочерью были умилительны и даже возмутительны для дочери и окружающих. Раскаянье долго терзало больного старика, долго лились у него слезы и день и ночь, и долго повторял он только одни слова: «Нет, Сонечка, ты не можешь меня простить!» Не осталось ни одного знакомого в городе, перед которым он не исповедовал бы торжественно вин своих перед дочерью, и Софья Николавна сделалась

предметом всеобщего уважения и удивления. Умудренная годами тяжких страданий, семнадцатилетняя девушка вдруг превратилась в совершенную женщину, мать, хозяйку и даже официальную даму, потому что по болезни отца принимала все власти, всех чиновников и городских жителей, вела с ними переговоры, писала письма, деловые бумаги и впоследствии сделалась настоящим правителем дел отцовской канцелярии. С самым напряженным вниманием и нежностью ухаживала Софья Николавна за больным отцом, присматривала попечительно за тремя братьями и двумя сестрами и даже позаботилась о воспитании старших; она нашла возможность приискать учителей для своих братьев от одной с ней матери, Сергея и Александра, из которых первому было двенадцать, а другому десять лет: она отыскала для них какого-то предоброго француза Вильме, заброшенного судьбою в Уфу, и какого-то полуученого малоросса В-ского, сосланного туда же за неудавшиеся плутни. Софья Николавна воспользовалась случаем, сама училась вместе с братьями[11] и чрез полтора

[11] Сноски: 11

Она училась так прилежно, что скоро могла понимать французские книги, разговоры и даже выучилась немного говорить по-французски.

года отправила их в Москву к А. Ф. Аничкову, с которым через двоюродного его брата, находившегося в Уфе, познакомилась она заочно и вела постоянную переписку. Аничков жил в Москве вместе с известным Н. И. Новиковым; оба приятеля до того пленились красноречивыми письмами неизвестной барышни с берегов реки Белой из Башкирии, что присылали ей все замечательные сочинения в русской литературе, какие тогда появлялись, что очень много способствовало ее образованию. Аничков был особенным ее почитателем и счел за счастье исполнить просьбу Софьи Николавны, то есть взять на свои руки обоих ее братьев и поместить их в университетский благородный пансион, что и сделал усердно и точно. Мальчики очень хорошо учились, но, по несчастию, ученье было прервано тем, что их потребовали в гвардию, куда они были записаны еще в колыбели.

Все, по-тогдашнему умные и образованные люди, попадавшие в Уфу, спешили познакомиться с Софьей Николавной, пленялись ею и никогда не забывали. Большая часть таких знакомств обратилась впоследствии в дружбу с ее семейством, которая прекращалась только смертью. Из числа их я назову только тех, которых знал сам: В. В.

Романовского, А. Ю. Авенариуса, П. И. Чичагова, Д. Б. Мертваго и В. И. Ичанского. Ученые и путешественники, посещавшие новый и чудный Уфимский край, также непременно знакомились с Софьей Николавной и оставляли письменные знаки удивления ее красоте и уму. Конечно, положение этой девушки в обществе и семействе было выгодно, служило ей, так сказать, картинным подножием, но зато и стояло на нем чудное создание. Особенно памятны мне стихи одного путешественника, графа Мантейфеля, который прислал их Софье Николавне при самом почтительном письме на французском языке, с приложением экземпляра огромного сочинения в пяти томах in quarto доктора Бухана, только что переведенного с английского на русский язык и бывшего тогда знаменитою новостью в медицине. Домашний лечебник Бухана был драгоценным подарком для Софьи Николавны: она могла пользоваться его указаниями и составлять лекарства для леченья своего больного отца. В стихах же граф Мантейфель называл уфимскую красавицу и Венерой и Минервой.

Несмотря на болезненное состояние, Николай Федорович не оставлял несколько лет своей должности. Всякий год раза два он давал вечера

с танцами; сам к дамам не выходил, а мужчин принимал лежа в кабинете, но молодая хозяйка принимала весь город. Несколько раз в год он непременно посылал свою Сонечку на балы к почетным лицам города. Софья Николавна, богато одетая, отлично по-тогдашнему танцующая, уступая усильным просьбам старика, приезжала на бал на самое короткое время. Протанцевав польский, менуэт и один контрданс или экоссез, она сейчас уезжала, мелькнув в обществе, как блестящий метеор. Все, что имело право влюбляться, было влюблено в Софью Николавну, но любовью самою почтительной и безнадежной, потому что строгость ее нравов доходила до крайних размеров.

И вот в какую необыкновенную девушку влюбился сынок Степана Михайловича! Он не мог вполне понимать и ценить ее, но одной наружности, одного живого и веселого ума ее достаточно было, чтобы свести с ума человека, — и молодой человек сошел с ума. С первого взгляда Софья Николавна, которую он увидел у обедни, обворожила, как говорили тогда, его мягкое сердце. Узнав, что красавица принимает всех чиновников, приезжающих к ее отцу, Алексей Степаныч (станем звать его полным именем),

как чиновник, служивший в Верхнем земском суде, стал постоянно являться с поздравлениями по праздничным и табельным дням в приемной товарища наместника; всегда видел Софью Николавну и таял час от часу более. Эти посещения, слишком точные, слишком продолжительные, хотя почти безмолвные, были скоро замечены всеми, и, вероятно, первая заметила их молодая хозяйка. Очарованные глаза, пылающие щеки, смущение, доходившее до самозабвения, всегда были красноречивыми объяснителями любви. Над искренней любовью обыкновенно все смеются, так положено испокон века, — и весь город смеялся над смиренным, застенчивым и стыдливым, как деревенская девушка, Алексеем Степанычем, который в ответ на все шутки и намеки конфузился и краснел как маков цвет. Софья Николавна, строгая и даже суровая ко всем светским любезникам, вопреки ожиданию всех, была снисходительна к своему безмолвному обожателю. Я не знаю, жалко ли ей стало молодого безответного человека, терпевшего за любовь к ней насмешки, поняла ли она, что это не минутное увлечение, не шутка для него, а вопрос целой жизни — не знаю, но суровая красавица не только благосклонно кланялась и смотрела

на Алексея Степаныча, но даже заговаривала с ним; робкие, несвязные ответы, прерывающийся от внутреннего волнения голос не казались ей ни смешными, ни противными. Впрочем, надо сказать, что Софья Николавна высоко себя держала перед бойкими и заносчивыми людьми, а со смиренными и скромными всегда была снисходительна и ласкова.

Так тянулось дело довольно долго. Вдруг дерзкая мысль озарила горящую голову Алексея Степаныча, мысль — жениться на Софье Николавне! Он сам сначала перепугался такого смелого и несбыточного желания. Куда ему до Софьи Николавны, первого лица в городе, первой умницы и красавицы в целом свете, по его мнению… и он совершенно отбросил такое намерение. Но малопомалу постоянная благосклонность и внимание, приветливые, как будто ободряющие взгляды Софьи Николавны (так ему казалось), а всего более любовь, овладевшая всем существом его, снова вызвали отброшенную мысль, и она скоро сроднилась, сжилась с его жизнью. Одна старая помещица, жившая по делу в Уфе, Алакаева, которая езжала в дом к Зубиным, дальняя родственница Алексея Степаныча, принимала в нем всегда особенное участие; он стал чаще наве-

щать ее, ласкаться к ней, как умел, и, наконец, открылся в своей любви к известной особе и в своем намерении искать ее руки. Любовь, как городская молва, была давно известна Алакаевой, но намерение жениться ее удивило. «Не пойдет, — сказала старуха, качая головой, — она преумная, прегордая, превоспитанная. Мало ли в нее влюблялись, но никто посвататься не осмелился. Ты, конечно, красавчик, старинного дворянского рода, имеешь небольшое состояние, а со временем будешь и богат — это все знают; но ты человек не ошлифованный, деревенский, ничему не ученый, и больно уж смирен в публике…» Обо всем этом догадывался и сам Алексей Степаныч, но любовь совершенно помутила его голову; и денно и ночно кто-то шептал ему в уши, что Софья Николавна за него пойдет. Хотя надежды молодого человека казались Алакаевой неосновательными, но она согласилась на его просьбу съездить к Софье Николавне и, не делая никаких намеков о его намерении, завести речь о нем как-нибудь стороною и заметить все, что она скажет. Алакаева поехала немедленно; Алексей Степаныч остался у ней в доме, ожидая ее возвращения; старуха проездила довольно долго; на влюбленного напал такой страх, такая тоска,

что он принялся плакать и, наконец, утомленный слезами, заснул, прислонясь головой к окошку. Старуха, воротясь, разбудила его и с веселым видом сказала: «Ну, Алексей Степаныч, в самом деле что-то есть. Я стала о тебе говорить и немножко на тебя нападать, а Софья Николавна заступилась за тебя не на шутку и наконец сказала, что ты должен быть человек очень добрый, скромный, тихий и почтительный к родителям, что таких людей благословляет Бог и что такие люди лучше бойких говорунов». Алексей Степаныч опьянел от радости и сам не помнил, что говорил тогда. Алакаева, дав ему успокоиться, с твердостью сказала: «Если это твое непременное желание, то вот тебе мой совет. Поезжай немедленно к отцу и матери, расскажи им все и проси у них согласия и благословения, пока добрые люди не помешали. Если ты получишь и то и другое, то я не отказываюсь хлопотать за тебя. Только не торопись; умасли наперед сестер, а мать противиться твоему желанию не станет. Разумеется, первое дело согласие твоего отца. Я его знаю, он больно крут, но разумен; поговори с ним, когда он будет весел». Алексей Степаныч удивился такому осторожному совету и таким околичностям и возразил, что родители его будут очень рады

и что «разве есть какой-нибудь порок в Софье Николавне?» — «Пребольшой, — отвечала умная старуха. — Она бедна, у нее ровно нет ничего, а ее дедушка был простой урядник в казачьем Уральском войске». На Алексея Степаныча нисколько не подействовали эти многозначительные слова, но предчувствие не обмануло старуху Алакаеву, и предостережение было слишком поздно. Через неделю Алексей Степаныч взял отпуск, раскланялся с Софьей Николавной, которая очень ласково пожелала ему счастливого пути, пожелала, чтобы он нашел родителей своих здоровыми и обрадовал их своим приездом, — и полный радостных надежд от таких приятных слов, молодой человек уехал в деревню, к отцу и матери. Старики обрадовались, но как-то не удивились несвоевременному приезду сына и посматривали на него вопросительно; а сестры (которые жили неподалеку и по уведомлению матери сейчас прискакали) целовали и миловали братца, но чему-то улыбались. Алексей Степаныч был особенно дружен с меньшой сестрой и открылся ей первой в своей страсти. Татьяна Степановна, несколько романическая девица, любившая брата больше, чем другие сестры, слушала его с участием и наконец так увлеклась, что открыла

ему весь секрет: семья знала уже об его любви и смотрела на нее неблагоприятно. Вот каким образом происходило дело: месяца за два до приезда Алексея Степаныча, Иван Петрович Каратаев ездил зачем-то в Уфу и привез своей жене эту городскую новость; Александра Степановна (я сказал о ее свойствах) вскипела негодованием и злобой; она была коновод в своей семье и вертела всеми, как хотела, разумеется, кроме отца; она обратила в шпионы одного из лакеев Алексея Степаныча, и он сообщал ей все подробности об образе жизни и о любви своего молодого барина; она нашла какую-то кумушку в Уфе, которая разнюхала, разузнала всю подноготную и написала ей длинную грамоту, с помощию отставного подъячего, составленную из городских вестей и сплетен дворни в доме Зубина, преимущественно со слов озлобленных приданых покойной мачехи. Не трудно догадаться, какими красками была расписана Софья Николавна.

Дело известное, что в старину (я разумею старину екатерининскую), а может быть, и теперь, сестры не любили или очень редко любили своих невесток, то есть жен своих братьев, отчего весьма красноречиво называются ***золовками***; еще более не любили, когда женился единственный

брат, потому что жена его делалась безраздельною, полною хозяйкою в доме. В человеческом существе скрыто много эгоизму; он действует часто без нашего ведома, и никто не изъят от него; честные и добрые люди, не признавая в себе эгоистических побуждений, искренне приписывают их иным, благовидным причинам: обманывают себя и других без умысла. В натурах недобрых, грубых и невежественных обнаруживаются признаки эгоизма ярче и бесцеремоннее. Так было и в семействе Степана Михайловича. Женитьба брата, на ком бы то ни было, непременно досадила бы всем. «Братец к нам переменится, не станет нас так любить и жаловать, как прежде, молодая жена ототрет родных, и дом родительский будет нам чужой», — это непременно сказали бы сестры Алексея Степаныча, хотя бы его невеста была — их поля ягода; но невестки Софьи Николавны хуже нельзя было придумать для них. Александра Степановна поспешила пригласить Елизавету Степановну в Багрово, чтобы сообщить матери и сестрам, разумеется с приличными украшениями, все полученные ею сведения о похождениях своего братца; все поверили ей безусловно, и вот какое мнение составилось о Софье Николавне. Во-первых, Зубиха (так называли

ее сестры и мать Алексея Степаныча в своих тайных заседаниях) — низкого рода; дедушка у ней был уральский казак, по прозванью Зуб, а мать (Вера Ивановна Кандалинцова) — из купеческого звания. Следовательно, низко было породниться с ней старинному дворянскому дому. Во-вторых, Зубиха — нищая: как умрет отец или отставят его от должности, то пойдет по миру, а потому и братцев и сестриц своих навяжет на шею мужу. В-третьих, Зубиха — гордячка, модница, городская прощелыга, привыкшая повелевать всем городом; следовательно, на них, на деревенских жителей, — даром что они старинные столбовые дворяне, — и плюнуть не захочет. Наконец, в-четвертых, Зубиха — колдунья, которая корнями приворачивает к себе всех мужчин, бегающих за ней высуня язык, и в том числе приворотила бедного братца их, потому что пронюхала об его будущем богатстве и об его смиренстве, захотела быть старинной дворянкой и нарохтится за него замуж. Александра Степановна, которая заправляла всем делом, с помощью бойкого и ядовитого языка своего всех смутила и доказала, как дважды два четыре, что такая невеста, как Софья Николавна, — совершенная беда для них; «что она, пожалуй, и Степана Ми-

хайловича приворотит, и тогда все они пропали; следовательно, надо употребить все усилия, чтобы Алексей Степаныч не женился на Софье Николавне». Очевидно, что всего нужнее было внушить Степану Михайловичу самые дурные мысли об Софье Николавне, но как это сделать? Действовать прямо они не решались, потому что совесть была не чиста. Кой грех отец заподозрит их в умысле, тогда уж не поверит и правде; он еще и прежде, когда старики приискали было невесту своему сыну, дал им почувствовать, что понимает их нежелание видеть брата женатым. Итак, устроили следующую машинацию: одну из родных племянниц Арины Васильевны, петую дуру, смертную вестовщицу и пьяницу, Флену Ивановну Лупеневскую, научили приехать как будто в гости в Багрово и между прочими россказнями рассказать про любовь Алексея Степаныча, разумеется, с самой невыгодной стороны для Софьи Николавны. Долго Александра Степановна учила с голосу Флену Ивановну, что говорить и как говорить. Наконец роль была, по возможности, вытвержена. Флена Ивановна явилась в Багрово к обеду, после которого и хозяева и гости заснули часа три и потом собрались к чаю. Старик был в духе и сам навел свою гостью на исполнение

роли. «Ну что, Флена-пушка! (так звал ее Степан Михайлович по причине толщины и малого роста) рассказывай, что слышала от приезжих из Уфы! (Ее сестра Катерина Ивановна Кальпинская с мужем недавно оттуда воротились.) Чай, вестей навезли с три короба, ну да ты прилжешь четвертый…» — «Ох, шутник ты наш, шутник, дядюшка любезный, — отвечала Флена Ивановна, — что мне лгать! Вестей-то навезли много». Тут она рассказала целую кучу разных былей и небылиц и нелепых сплетен, от которых я пощажу моих читателей. Дедушка притворился, что ничему не верит, даже справедливым известиям; он подтрунивал над рассказчицей, путал ее в словах, сбивал и так забавно дразнил, что вся семья валялась со смеху. Глупой бабе, выпившей со сна добрую чарку настойки для бодрости, за досаду стало, и она с некоторою горячностью сказала старику: «Да что это, дядюшка, ты все смеешься и ничему не веришь? Погоди, я приберегла тебе весточку на закуску; ты ей за неволю поверишь, да и смеяться не станешь». Семья переглянулась, а дедушка засмеялся. «Ну, вытряхивай, — весело сказал он, — поверить не поверю, а смеяться не стану: ты уж мне надоела». — «Ох, дядюшка, дядюшка, — начала Флена Ивановна, — ты вот

об братце-то нашем любезном, Алексее-то Степановиче, ничего не знаешь. Ведь он весь высох с тоски; приворотила его к себе нечистой силой уфимская ведьма, дочка набольшого тамошнего воеводы, что ли, наместника ли — не знаю. Говорят, такая красавица, всех заполонила, и старых и молодых, всех корнями обвела. Все за ней, прости господи, как кобели за сукой, так и бегают. А голубчик-то мой, братец-то Алексей Степаныч, так врюхался, что не ест, не пьет и не спит. Все и сидит у ней, глаз с нее не сводит, глядит да вздыхает, а по ночам все мимо ее дома ходит, с ружьем да с саблей, все караулит ее; она ж, Зубиха-то, говорят, его приголубливает; ведь он сам красавчик и столбовой дворянин, так и у ней губа-то не дура: хочет за него замуж выйти. Да и как не хотеть? Ведь она нищая, и отец ее из простых, сын казака уральского, Федьки Зуба; хоть сам и дослужился до чинов и при больших местах был, а ничего не нажил: все протранжирил на столы, да на пиры, да на дочкины наряды; старик еле жив, на ладан дышит, а детей-то куча: от двух жен — шесть человек. Все сядут на твою, дядюшка, шею, коли братец-то на ней женится; у ней приданого одни платья; на брюхе-то шелк, а в брюхе-то щелк. А уж Алексей Степаныч, го-

ворят, на себя не похож — узнать нельзя, точно в воду опущенный; уж и лакеи-то, глядя на него, плачут, а вам доложить не смеют. Поверь, дядюшка, все правда до единого слова: допроси своих лакеев, они не запрутся». Арина Васильевна принялась плакать, а дочки куксить глаза. Дедушка был немного озадачен, но скоро овладел собою и с равнодушной улыбкой отвечал: «Прилгано много, а может, есть и правда. Я сам слышал, что Зубина красавица и умница, вот в чем и все колдовство[12].

Что мудреного, если и у Алексея глаза разгорелись. Остальное все враки. Выйти замуж за Алексея — Зубина и не думает; она найдет себе получше и побойчее жениха. Он ей не пара. Ну, теперь кончено. Больше об этом не тарантить. Пойдемте пить чай на дворе». Разумеется, Флена Ивановна и все прочие более не смели и поминать об уфимских новостях. Вечером гостья уехала. После ужина, когда Арина Васильевна и дочери начали было безмолвно прощаться

---

[12] Сноски: 12

Дедушка вообще колдовству мало верил. Даже стрелял один раз (вынув тихонько дробь) в колдуна, который уверял, что ружье заговорено и не выстрелит; разумеется, ружье выстрелило и крепко напугало колдуна, который, однако, нашелся и торжественно объявил, что дедушка мой «сам знает», чему и поверили все, разумеется, кроме Степана Михайловича.

с Степаном Михайловичем, он остановил их следующими словами: «Ну, что, Ариша? Что у тебя на уме бродит? Дура Флена, конечно, много приврала, а мне сдается, что тут есть и правда. Письма Алексеевы как-то стали другие. Надо бы это дело как-нибудь поразведать. Да всего лучше позовем Алешу сюда: от него узнаем всю правду».

Тут Александра Степановна вызвалась в одну неделю спосылать нарочного в Уфу, чтобы разведать об этом деле через родственницу своего мужа, прибавя, что она женщина правдивая и ни за что не солжет; старик согласился не вызывать сына до получения новых известий. Александра Степановна сейчас ускакала домой в свою Каратаевку (всего в пятидесяти верстах от Багрова) и ровно через неделю воротилась к старикам; она привезла то самое письмо, которое еще прежде получила от своей кумушки и о котором я уже говорил. Письмо показали и прочли Степану Михайловичу, и хотя он плохо верил женским справкам и донесениям, но некоторые статьи и письма показались ему правдоподобными и произвели на него неприятное впечатление. Он решительно сказал, что если в самом деле Зубина думает выйти замуж за Алешу, то он

не позволит ему жениться на ней, потому что она не дворянского рода. «На этой же почте пишите к Алеше и зовите его домой». Через несколько дней, которые не были потеряны даром, потому что Арина Васильевна с дочерьми успела напеть в уши старику много неблагоприятного для любви Алексея Степаныча, вдруг, как снег на голову, явился он сам, что мы уже знаем.

Услыхав от сестры все, сейчас рассказанное мною, Алексей Степаныч крепко призадумался и оробел. Лишенный от природы твердой воли, воспитанный в слепом повиновении к семейству, а к отцу — в страхе, он не знал, что ему делать. Наконец решился поговорить с матерью. Арина Васильевна, любившая единственного сынка без памяти, но привыкшая думать, что он все еще малое дитя, и предубежденная, что это дитя полюбило опасную игрушку, встретила признание сына в сильном чувстве такими словами, какими встречают желание ребенка, просящего дать ему в руки раскаленное железо; когда же он, слыша такие речи, залился слезами, она утешала его, опять-таки, как ребенка, у которого отнимают любимую игрушку. Что ни говорил Алексей Степаныч, как ни старался опровергнуть клеветы на Софью Николавну —

мать его не слушала или слушала без всякого внимания. Прошло еще два дня; сердце молодого человека разрывалось; тоска по Софье Николавне и любовь к ней росли с каждым часом, но, вероятно, он не скоро бы осмелился говорить с отцом, если бы Степан Михайлович не предупредил его сам. В одно прекрасное утро, после ночи, проведенной почти без сна, Алексей Степаныч, несколько похудевший и побледневший, рано пришел к отцу, который сидел, по своему обыкновению, на своем крылечке. Старик был весел и ласково встретил сына; но, взглянув пристально ему в лицо, он понял, что происходило в душе молодого человека. Дав поцеловать ему свою руку, он с живостью, но без гнева сказал ему: «Послушай, Алексей! Я знаю, что лежит у тебя на сердце, и вижу, что дурь крепко забралась к тебе в голову. Рассказывай же мне всю подноготную без утайки, и чтоб все до одного слова была правда». Хотя Алексей Степаныч не привык откровенно говорить с отцом, которого больше боялся, чем любил, но любовь к Софье Николавне придала ему смелость. Он бросился сначала к отцу в ноги и потом рассказал ему со всеми подробностями, ничего не скрывая, свою сердечную повесть. Степан Михайлович слушал

терпеливо, внимательно: кто-то из домашних шел было к нему поздороваться, но он издали выразительно погрозил калиновым подожком своим, и никто, даже Аксинья с чаем, не смел подойти, пока он сам не позвал. Рассказ сына был беспорядочен, сбивчив, длинен и не убедителен, но тем не менее светлый ум Степана Михайловича понял ясно, в чем состояло дело. По несчастию, оно ему не понравилось и не могло понравиться. Он мало понимал романическую сторону любви, и мужская его гордость оскорблялась влюбленностью сына, которая казалась ему слабостью, унижением, дрянностью в мужчине; но в то же время он понял, что Софья Николавна тут ни в чем не виновата и что все дурное, слышанное им на ее счет, было чистою выдумкою злых людей и недоброжелательством собственной семьи. Подумав немного, вот что он сказал без всякого гнева, даже ласково, но с твердостью: «Послушай, Алексей! Ты именно в таких годах, когда красивая девица может приглянуться мужчине. В этом беды еще никакой нет; но я вижу, что ты чересчур врезался, а это уж не годится. Я Софью Николавну ни в чем не виню; я считаю, что она девица предостойная, — только тебе не пара и нам не с руки. Во-первых, она дворянка вчераш-

няя, а ты потомок самого древнего дворянского дома. Во-вторых, она горожанка, ученая, бойкая, привыкла после мачехи повелевать в доме и привыкла жить богато, даром что сама бедна; а мы люди деревенские, простые, и наше житье ты сам знаешь; да и себя ты должен понимать: ты парень смирный; но хуже всего то, что она больно умна. Взять жену умнее себя — беда: будет командирша над мужем; а притом, ты так ее любишь, что на первых порах непременно избалуешь. Ну, так вот тебе мое отцовское приказание: выкинь эту любовь из головы. Я же, признаться тебе, думаю, что Софья Николавна за тебя и не пойдет. Надо рубить дерево по себе. Мы поищем тебе какую-нибудь смирненькую, тихонькую, деревенскую родовую дворяночку, да и с состоянием. Выйдешь в отставку, да и заживешь припеваючи. Ведь мы, брат, не широки в перьях; только что сыты, а доходов больно мало; об куролесовском же наследстве, которое всем глаза разодрало, я и не думаю. Это дело неверное; Прасковья Ивановна сама человек не старый, может выйти замуж и народить ребят. Ну, так смотри же, Алеша! Чтоб все с тебя слетело, как с гуся вода, и чтоб помину не было о Софье Николавне…» Степан Михайлович протянул милостиво руку свое-

му сыну, которую тот поцеловал с привычною почтительностью. Старик велел подавать чай и звать к себе семью. Он был необыкновенно ласков и весел со всеми, но несчастный Алексей Степаныч впал в совершенное уныние. Никакой гнев отца не привел бы его в такое отчаяние. Гнев Степана Михайловича проходил скоро, и после него являлись и снисхождение и милость, а теперь он видел спокойную твердость и потерял всякую надежду. Алексей Степаныч вдруг так изменился в лице, что мать испугалась, взглянув на него, и стала приставать к нему с вопросами: что с ним сделалось? здоров ли он? Сестры также заметили перемену, но, будучи похитрее, ничего не сказали. Степан Михайлович все видел и все понимал. Покосившись на Арину Васильевну, он проворчал сквозь зубы: «Не приставай к нему». Алексея Степаныча оставили в покое, не обращая на него внимания, — и деревенский день покатился по своей обыкновенной колее.

Разговор с отцом глубоко поразил, сокрушил, можно сказать, сердце Алексея Степаныча. Он потерял сон, аппетит, сделался совершенно ко всему равнодушен и ослабел телом. Арина Васильевна принялась плакать, и даже сестры перетревожились. На другой день мать едва

могла добиться, чтобы он сказал несколько слов о том, что говорил с ним отец. На все допросы Алексей Степаныч отвечал: «Батюшке не угодно, я человек погибший, я не жилец на этом свете». И в самом деле, через неделю он лежал в совершенной слабости и в постоянном забытьи: жару наружного не было, а он бредил и день и ночь. Болезни его никто понять не мог, но это просто была нервная горячка. Семья перепугалась ужасно: докторов поблизости не было, и больного принялись дечить домашними средствами; но ему становилось час от часу хуже, и, наконец, он сделался так слаб, что каждый час ожидали его смерти. Арина Васильевна и сестры ревели и рвали на себе волосы. Степан Михайлович не плакал, не сидел беспрестанно над больным, но едва ли не больше всех страдал душою; он хорошо понимал причину болезни. «Но молодость свое взяла», и ровно через шесть недель Алексею Степанычу стало полегче. Он проснулся к жизни совершенным ребенком, и жизнь медленно вступала в права свои; он выздоравливал два месяца; казалось, он ничего прошедшего не помнил. Он радовался всякому явлению в природе и в домашнем быту, как новому, незнакомому явлению; наконец совершенно оправился, даже

поздоровел, пополнел и получил, уже более года потерянный, румянец во всю щеку; удил рыбу, ходил на охоту за перепелами, ел и пил аппетитно и был весел. Родители не нарадовались, не нагляделись на него и убедились, что болезнь выгнала из молодой головы и сердца все прежние мысли и чувства. Может быть, оно и в самом деле было бы так, если б его взяли в отставку, продержали с год в деревне, нашли хорошенькую невесту и женили; но старики беспечно обнадеялись настоящим положением сына: через полгода отправили его опять на службу в тот же Верхний земский суд, опять на житье в ту же Уфу — и судьба его решилась навсегда. Прежняя страсть загорелась с новою, несравненно большею силой. Как возвратилась любовь в сердце Алексея Степаныча, вдруг или постепенно, — ничего не знаю: знаю только, что он сначала ездил к Зубиным изредка, потом чаще и, наконец, так часто, как было возможно. Знаю, что покровительница его, Алакаева, продолжала ездить к Софье Николавне, тонкими расспросами выведывала ее расположение и привозила благоприятные отзывы, утверждавшие и в ней самой надежду, что гордая красавица благосклонно расположена к ее скромному родственнику. Через

несколько месяцев после отъезда Алексея Степаныча из деревни вдруг получили от него письмо, в котором он с несвойственной ему твердостью, хотя всегда с почтительной нежностью, объяснил своим родителям, что любит Софью Николавну больше своей жизни, что не может жить без нее, что надеется на ее согласие и просит родительского благословения и позволения посвататься. Старики вовсе не ожидали такого письма и были им поражены. Степан Михайлович сдвинул брови, но ни одним словом не выразил своих мыслей. Вся семья хранила глубокое молчание; он махнул рукой, и все оставили его одного. Долго сидел мой дедушка, чертя калиновым подожком какие-то узоры на полу своей комнаты. Степан Михайлович скоро смекнул, что дело плохо и что теперь уж никакая горячка не вылечит от любви его сына. По своей живой и благосклонной натуре он даже поколебался, не дать ли согласия, о чем можно было заключить из его слов, обращенных к Арине Васильевне. «Ну что, Ариша (говорил он ей на следующее утро, разумеется, наедине), как ты мекаешь? Ведь не позволим, так нам не видать Алексея как ушей своих: или умрет с тоски, или на войну уйдет, или пойдет в монахи — и род Багровых прекратится». Но Арина

Васильевна, уже настроенная дочерьми, как-то не испугалась за своего сынка и отвечала: «Твоя воля, Степан Михайлович; что тебе угодно, того и я желаю; да только какое же будет от них тебе уважение, если они поставят на своем после твоего родительского запрещенья?» Пошлая хитрость удалась: самолюбие старика расшевелилось, и он решился подержаться. Он продиктовал сыну письмо, в котором выразил удивление, что он принялся опять за прежнее, и повторил то, что говорил ему на словах. Короче, письмо содержало положительный отказ.

Прошло две-три недели — не было писем от Алексея Степаныча. Наконец в один осенний, ненастный день дедушка сидел в своей горнице, поперек постели, в любимом своем халате из тонкой армячины[13] сверх рубашки-косоворотки, в туфлях на босую ногу; подле него пряла на самопрялке козий пух Арина Васильевна и старательно выводила тонкие длинные нити, потому что затеяла выткать из них домашнее сукно на платье своему сыночку, так чтоб оно было ему и легко, и тепло, и покойно; у окош-

[13] Сноски: 13

Не знаю, как теперь, а в старые годы на оренбургской мене такую покупали армянину, которая своей тониной и чистотой равнялась с лучшими азиатскими тканями.

ка сидела Танюша и читала какую-то книжку; гостившая в Багрове Елизавета Степановна присела подле отца на кровати и рассказывала ему про свое трудное житье, про службу мужа, про свое скудное хозяйство и недостатки. Старик печально слушал, положа руки на колени и опустив на грудь свою, уже поседелую, голову. Вдруг дверь из лакейской отворилась: высокий, красивый молодой парень, Иван Малыш, в дорожной куртке, проворно вошел и подал письмо с почты, за которым ездил он в город за двадцать пять верст. Очевидно было, что письма ожидали с нетерпеньем, потому что все встрепенулись. «От Алеши?» — спросил торопливо и неспокойно старик. «От братца», — отвечала Танюша, подбежавшая к Малышу, проворно взявшая письмо и прочитавшая адрес. «Спасибо, что скоро съездил. Чарку водки Малышу. Ступай обедать и отдыхать». Ту ж минуту отворился высокий поставец, барышня вытащила длинный штоф узорного стекла, налила серебряную чарку и подала Малышу; тот перекрестился, выпил, крякнул, поклонился и ушел. «Ну, читай, Танюша», — сказал дедушка. Татьяна Степановна была его чтецом и писцом Она поместилась у окошка; бабушка оставила прялку, дедушка

встал с кровати, и все обсели кругом Татьяну Степановну, распечатавшую между тем письмо, но не смевшую предварительно заглянуть в него. После минутного молчания началось медленное и внятное чтение вполголоса. После обыкновенных тогда: «Милостивейший государь батюшка и милостивейшая государыня матушка» — Алексей Степаныч писал почти следующее: «На последнее мое просительное письмо я имел несчастие получить немилостивый ответ от вас, дражайшие родители. Не могу преступить воли вашей и покоряюсь ей; но не могу долго влачить бремя моей жизни без обожаемой мною Софьи Николавны, а потому в непродолжительном времени смертоносная пуля скоро просверлит голову несчастного вашего сына»[14].

Эффект был сильный: тетки мои захныкали, бабушка, ничего подобного не ожидавшая, побледнела, всплеснула руками и повалилась без памяти на пол, как сноп: в старину также бывали обмороки. Степан Михайлович не шевельнулся; только голова его покосилась на одну

[14] Сноски: 14

Письмо это я почти помню наизусть. Вероятно, оно и теперь существует в старых бумагах одного из моих братьев. Очевидно, что некоторые выражения письма заимствованы из тогдашних романов, до которых Алексей Степаныч был охотник.

сторону, как перед началом припадка гнева, и слегка затряслась… Она не переставала уже трястись до его смерти. Дочери, опомнившись, бросились помогать матери и скоро привели ее в чувство. Тогда, поднявши вой, как по мертвому, Арина Васильевна бросилась в ноги Степану Михайловичу. Дочери, следуя ее примеру, также заголосили. Арина Васильевна, несмотря на грозное положение головы моего дедушки, забыв и не понимая, что сама подстрекнула старика не согласиться на женитьбу сына, громко завопила: «Батюшка Степан Михайлович! Сжалься, не погуби родного своего детища, ведь он у нас один и есть; позволь жениться Алеше! Часу не проживу, если с ним что случится». Старик оставался неподвижно в прежнем положении. Наконец нетвердым голосом сказал: «Полно выть. Выпороть надо бы Алешу. Ну, да до завтра; утро вечера мудренее; а теперь уйдите и велите давать обедать». Обед у старика служил успокоительным средством в трудных обстоятельствах. Арина Васильевна заголосила было опять: «Помилуй, помилуй!» Но Степан Михайлович громко закричал: «Убирайтесь вон!» — и в голосе его послышался рев приближающейся бури. Все поспешно удалились. До обеда никто не смел

заглянуть в комнату Степана Михайловича. Что пролетело по душе его в эти минуты, какая борьба совершилась у железной воли с отцовскою любовью и разумностью, как уступил победу упорный дух?.. трудно себе представить; но когда раздался за дверью голос Мазана: «Кушанье готово», дедушка вышел спокоен, и ожидавшие его жена и дочери, каждая у своего стула, не заметили на слегка побледневшем лице его ни малейшего гнева; напротив, он был спокойнее, чем поутру, даже веселее, и кушал очень аппетитно. Скрепя сердце Арина Васильевна должна была подлаживаться к его речам и, не смея не только спрашивать, но даже и вздыхать, напрасно старалась разгадать мысли своего супруга; напрасно устремляла вопрошающие взгляды маленьких своих каштановых глазок, заплывших жиром, — темно-голубые, открытые и веселые глаза Степана Михайловича ничего не отвечали. После обеда он уснул, по обыкновению; проснувшись, сделался еще веселее, но о письме и о сыне ни полслова. Все, однако, видели, что на уме у старика ничего недоброго не было. Прощаясь с супругом после ужина, Арина Васильевна осмелилась спросить: «Не изволишь ли сказать мне чего-нибудь об Алеше?» Дедушка

улыбнулся и отвечал: «Я уже сказал тебе: утро вечера мудренее. Почивай с богом».

Утро в самом деле оказалось и мудро и благодатно. Дедушка встал в четыре часа. Мазан вздул ему огня. Первыми словами Степана Михайловича были: «Танайченок, ты сейчас едешь в Уфу с письмом к Алексею Степанычу: соберись в одну минуту; да чтобы никто не знал, куда и зачем едешь! В корень молодого Бурого, а на пристяжку Свистуна. Возьми овса две осьмины и каравай хлеба. Спроси у ключника Петра два рубля медных денег на дорогу. Как я напишу письмо, чтобы все было готово. Сказано — сделано». Эта поговорка исполнялась у дедушки без отговорок. Он отпер дубовую шкатулку, или шкаф, нечто вроде письменного бюро, достал бумаги, перо, чернильницу и написал, не без труда (потому что лет уже десять подписывал только свое имя), тяжелым старинным почерком: «Любезный сын наш Алексей! Мы с матерью твоей Ариной Васильевной позволяем тебе жениться на Софье Николавне Зубиной, если на то будет воля Божия, и посылаем тебе наше родительское благословение. Отец твой Степан Багров».

Через полчаса, еще задолго до свету, вытянул Танайченок длинную гору мимо господского гум-

на и ехал бойкой рысью по дороге в Уфу. В пять часов приказал Степан Михайлович подавать самовар той же Аксютке, которая из молодой и некрасивой девчонки сделалась уже очень немолодой и еще более некрасивой девкой; но будить никого не приказал. Несмотря на то, старую барыню разбудили и по секрету донесли, что уже давным-давно уехал куда-то Танайченок с письмом от барина на паре господских лошадей. Арина Васильевна не осмелилась вдруг прийти к своему супругу; она помешкала с час времени и явилась, когда уже старик напился чаю и весело балагурил с Аксиньей. «Ну зачем тебя разбудили? — приветливо сказал Степан Михайлыч, протягивая руку. — Ведь ты, чай, плохо спала?» — «Меня никто не будил, — отвечала Арина Васильевна, почтительно целуя руку старика, — я сама проснулась. Я спала ночь хорошо в надежде на твою милость к бедному нашему Алеше». Дедушка пристально посмотрел на нее, но ничего не увидел на привыкшем к притворству лице. «А коли так, то я тебя порадую: я послал нарочного гонца в Уфу и написал Алексею от обоих нас позволение жениться на Софье Николавне».

Арина Васильевна, — несмотря на то, что,

приведенная в ужас страшным намерением сына, искренне молила и просила своего крутого супруга позволить жениться Алексею Степанычу, — была не столько обрадована, сколько испугана решением Степана Михайловича, или, лучше сказать, она бы и обрадовалась, да не смела радоваться, потому что боялась своих дочерей; она уже знала, что думает о письме Лизавета Степановна, и угадывала, что скажет Александра Степановна. По всем этим причинам Арина Васильевна приняла решение своего супруга, которым он надеялся ее обрадовать, как-то холодновато и странно, что старик заметил. Лизавета Степановна не изъявила ни малейшего удовольствия, а только одну почтительную покорность воле отца; Танюша, верившая письму брата искренне, обрадовалась от всего сердца. Лизавета Степановна даже и в первую минуту не была встревожена намерением брата; она плакала и просила за него только потому, что мать и меньшая сестра плакали и просили, нельзя же было ей так ярко рознить с ними. Она выписала немедленно Александру Степановну, которая пришла в бешенство, узнав о решении дела, и сейчас прискакала; разумеется, она сочла письмо братца за пустую угрозу, за штуку Софьи

Николавны. С помощью Лизаветы Степановны она скоро уверила в этом мать и даже меньшую сестру Танюшу. Но дело было кончено: явно восставать против него не представлялось уже никакой возможности. Мыслей же Степана Михайлыча, будто Софья Николавна сама не пойдет за Алексея Степаныча, никто из семьи не разделял. Оставим Багрово и посмотрим, что делается в Уфе.

Я не беру на себя решить положительно, имел ли Алексей Степаныч твердое намерение застрелиться в случае отказа своих родителей, или, прочитав в каком-нибудь романе подобное происшествие, вздумал попробовать, не испугаются ли его родители такого страшного последствия своей непреклонности? Судя по дальнейшему развитию характера Алексея Степаныча, мне хорошо известному, я равно не могу признать его способным ни к тому, ни к другому поступку. Итак, я предполагаю только, что молодой человек не хитрил, не думал пугнуть своих стариков, напротив, искренне думал застрелиться, если ему не позволят жениться на Софье Николавне; но в то же время я думаю, что он никогда не имел бы духу привесть в исполнение такого отчаянного намерения, хотя

люди тихие и кроткие, слабодушные, как их называют, бывают иногда способны к отчаянным поступкам более, чем натуры живые и бешеные. Мысль о самоубийстве, без сомнения, была почерпнута из какого-нибудь романа: она совершенно противоречит характеру Алексея Степаныча, его взгляду на жизнь и сфере понятий, в которых он родился, воспитался и жил. Как бы то ни было, пустив в ход свою грамотку, Алексей Степаныч пришел в сильное волнение, занемог и получил лихорадку. Покровительница его Алакаева, знавшая все, — о последнем письме ничего не знала; она навещала его ежедневно и замечала, что, кроме лихорадки простой и лихорадки любовной, молодой человек еще чем-то необыкновенно встревожен. В один день сидела она у Алексея Степаныча, вязала чулок и разговаривала о всякой всячине, стараясь занять больного и отвлечь его мысли от безнадежной любви. Алексей Степаныч прилег на канапе, заложил руки за голову и смотрел в окошко. Вдруг он побледнел как полотно: по улице проехала телега парой и заворотила на двор; Алексей Степаныч узнал лошадей и Танайченка. Он вскочил на ноги и с криком: «От батюшки, из Багрова», — бросился в переднюю. Алакаева схватила его

за руки и с помощью сидевшего в лакейской человека не допустила его выбежать на крыльцо, потому что на дворе стояла мокрая и холодная осенняя погода. Между тем Танайченок проворно вбежал в комнату и подал письмо. Алексей Степаныч дрожащими руками распечатал, прочел коротенькое письмо, залился слезами и бросился на колени перед образом. Алакаева сначала не знала, что и подумать; но Алексей Степаныч подал ей родительскую грамотку, и она, прочитав ее, также с радостными слезами принялась обнимать обезумевшего от восторга молодого человека. Тут он признался ей, какое письмо послал к отцу и матери. Алакаева покачала головой. Призвали Танайченка, расспросили подробно об его отправке и увидели, что дело было решено собственно самим Степаном Михайлычем, без участия, без ведома своей семьи и, вероятно, против ее желания. Когда прошли первые минуты радостного волнения для Алексея Степаныча и совершенного изумления для Алакаевой, которая, перечитав снова письмо, все еще не верила глазам своим, потому что хорошо знала нрав Степана Михайлыча и хорошо понимала недоброжелательство семьи, — начали они совещаться, как приступить к делу. Когда

оно казалось далеким, невозможным со стороны семейства жениха, тогда они считали его благонадежным со стороны невесты; но тут вдруг напало на Алакаеву сомнение: припомнив и сообразив все благоприятные признаки, она почувствовала, что, может быть, слишком перетолковала их в пользу жениха. Как умная женщина, она поспешила охладить пылкие надежды молодого человека, благоразумно рассуждая, что, обольстившись ими, труднее ему будет перенесть внезапное разрушение радужных своих мечтаний; отказ вдруг представился ей очень возможным, и ее опасения навели страх на Алексея Степаныча. Впрочем, Алакаева нисколько не отступилась от своего обещания и на другой же день поехала с предложением к Софье Николавне. Она просто, ясно, без всякого преувеличенья, описала постоянную и горячую любовь Алексея Степаныча, давно известную всему городу (конечно, и Софье Николавне); с родственным участием говорила о прекрасном характере, доброте и редкой скромности жениха; справедливо и точно рассказала про его настоящее и будущее состояние; рассказала правду про все его семейство и не забыла прибавить, что вчера Алексей Степаныч получил чрез письмо полное согласие

и благословение родителей искать руки достойнейшей и всеми уважаемой Софьи Николавны; что сам он от волнения, ожидая ответа родителей, и несказанной любви занемог лихорадкой, но, не имея сил откладывать решение своей судьбы, просил ее, как родственницу и знакомую с Софьей Николавной даму, узнать: угодно ли, не противно ли будет ей, чтобы Алексей Степаныч сделал формальное предложение Николаю Федоровичу. Софья Николавна, давно привыкшая, как говорилось в старину, «сама обивать около себя росу», или к самобытности, как говорится теперь, — без смущения, без всяких церемоний и девичьих оговорок и жеманств, тогда неизбежных, отвечала Алакаевой следующее: «Благодарю Алексея Степаныча за честь, мне сделанную, а вас, почтеннейшая Мавра Павловна, за участие. Скажу вам откровенно: я давно заметила, что Алексей Степаныч ко мне неравнодушен, и давно ожидала, что он сделает мне предложение, не решая, впрочем, вопроса, пойду ли я за него или нет. Последняя поездка Алексея Степаныча к отцу и к матери, его внезапная, как сами вы сказывали, опасная продолжительная болезнь в деревне и перемена, когда он воротился, показали мне, что родители его не желают иметь меня

невесткой. Признаюсь, я этого не ожидала; скорее можно было опасаться несогласия со стороны моего отца. Потом я увидела, что Алексей Степаныч возвратился к прежним чувствам, и теперь догадываюсь, что он успел склонить отца и мать к согласию. Но рассудите сами, почтеннейшая Мавра Павловна, что теперь это дело принимает совсем другой вид: входить в семейство против его желания — риск слишком опасный. Конечно, отец мой не стал бы противиться моему выбору, но могу ли я решиться его обмануть? Узнав же, что его Сонечку какой-то деревенский помещик не вдруг удостоил чести войти в его семейство, — он ни за что не согласится и сочтет это унижением. Я не влюблена в Алексея Степаныча, я только уважаю его прекрасные свойства, его постоянную любовь и считаю, что он может составить счастие любимой женщины. Итак, позвольте мне подумать и притом, прежде чем я скажу об этом моему больному отцу, прежде чем встревожу его таким известием, я хочу сама говорить с Алексеем Степанычем: пусть он приедет к нам, когда выздоровеет».

Алакаева с точностью передала ответ жениху; ему показался он не предвещающим добра, но Алакаева, напротив, находила его весьма бла-

гоприятным и успокоила Алексея Степаныча.

Долго сидела Софья Николавна одна в гостиной, простившись очень дружески с Маврой Павловной, и думала крепкую думу. Омрачились ее живые и блестящие глаза, тяжелые мысли пробегали по душе и отражались, как в зеркале, на ее прекрасном лице. Все, что она сказала Алакаевой, была совершенная правда, и вопрос идти или нет за Алексея Степаныча — точно оставался не решенным. Наконец, предложение сватовства обратилось в действительность, и надо было решить этот великий, роковой вопрос для всякой девушки. Необыкновенно ясная голова Софьи Николавны, еще не омраченная страстностью ее натуры, тогда ничем глубоко не возмущаемой, все понимала и все видела в настоящем виде, в настоящем свете. Положение ее в будущем было безотрадно: отец лежал на смертном одре и, по словам лучшего доктора Зандена[15], не мог прожить более года; все состояние старика заключалось в двух подгородных деревушках Зубовке и Касимовке, всего сорок душ с небольшим количеством земли; наличных денег у Николая Федоровича было накоплено до десяти тысяч

[15] Сноски: 15

Федор Иванович Занден, доктор весьма ученый, бывший впоследствии штадт-физиком в Москве.

рублей, и он назначал их на приданое своей Сонечке. Выдать ее замуж было постоянным, горячим его желанием; но — бывают же такие чудеса: Софья Николавна не имела еще ни одного жениха, то есть не получила ни одного формального предложения. По смерти старика должны остаться шестеро сводных детей от двух браков; должны были учредиться две опеки, и последние трое детей от Александры Петровны поступали к родной бабушке, Е. Д. Рычковой, под опеку сына ее, В. П. Рычкова. Материнское имение их заключалось также в небольшой деревеньке душ в пятьдесят; братья Софьи Николавны от одной матери находились в Москве, в университетском благородном пансионе, и она оставалась совершенно одна, даже не было дальних сродников, у которых могла бы она жить. Одним словом, некуда было приклонить голову! Нужда, бедность, жизнь из милости в чужих людях, полная зависимость от чужих людей — тяжелы всякому; но для девушки, стоявшей в обществе так высоко, жившей в таком довольстве, гордой по природе, избалованной общим искательством и ласкательством, для девушки, которая испытала всю страшную тяжесть зависимости и потом всю прелесть власти, — такой переход должен был

казаться невыносимым. И вот молодой, честный, скромный, пригожий собою мужчина, старинного дворянского рода, единственный сын, у отца которого было сто восемьдесят душ, который должен был получить богатое наследство от тетки, который любит, боготворит ее, — предлагает ей руку и сердце: с первого взгляда тут нечего и колебаться. Но нравственное неравенство между ними было слишком велико. Никто в городе не мог подумать, чтоб Софья Николавна вышла за Алексея Степаныча. Она очень хорошо понимала справедливость общественного мнения и не могла не уважать его. Невеста — чудо красоты и ума, жених, правда, белый, розовый, нежный (что именно не нравилось Софье Николавне), но простенький, недальный, по мнению всех, деревенский дворянчик; невеста бойка, жива — жених робок и вял; невеста по-тогдашнему образованная, чуть не ученая девица, начитанная, понимавшая все высшие интересы — жених совершенный невежда, ничего не читавший, кроме двух-трех глупейших романов, вроде «Любовного вертограда» или «Аристея и Телазии» да «Русского песенника», жених, интересы которого не простирались далее ловли перепелов на дудки и соколиной охоты; невеста остроумна, ловка,

блистательна в светском обществе — жених не умеет сказать двух слов, неловок, застенчив, смешон, жалок, умеет только краснеть, кланяться и жаться в угол или к дверям, подалее от светских говорунов, которых просто боялся, хотя поистине многих из них был гораздо умнее; невеста с твердым, надменным, неуступчивым характером — жених слабый, смирный, безответный, которого всякий мог загонять. Ему ли поддержать, защитить жену в обществе и семействе?.. Такие противоположные мысли, взгляды и картины роились, мешались, теснились в воображении молодой девушки. Давно наступили сумерки, она все еще сидела одна в гостиной; наконец невыразимое смятение тоски, страшное сознание, что ум ничего придумать и решить не может, что для него становится все час от часу темнее — обратили ее душу к молитве. Она побежала в свою комнату молиться и просить света разума свыше, бросилась на колени перед образом Смоленской Божьей Матери, некогда чудным знамением озарившей и указавшей ей путь жизни; она молилась долго, плакала горючими слезами и мало-помалу почувствовала какое-то облегчение, какую-то силу, способность к решимости; хотя не знала еще, на что она решится,

это чувство было уже отрадно ей. Она сходила посмотреть на заснувшего больного своего отца, воротилась в свою комнату, легла и спокойно заснула. На другой день поутру Софья Николавна проснулась без всякого волнения; она подумала несколько минут, бросила взгляд на вчерашние свои колебания и смущения и спокойно осталась при своем намерении: поговорить сначала с женихом и потом уже решить дело окончательно, смотря по тому впечатлению, какое произведет на нее разговор с Алексеем Степанычем.

Алексей Степаныч, желая как можно скорее узнать решение судьбы своей, призвал доктора и умолял вылечить его поскорее. Доктор обещал и на этот раз сдержал обещание. Через неделю Алексей Степаныч, правду сказать, худой, бледный и слабый, сидел уже в гостиной у Софьи Николавны. Взглянув на тощую фигуру молодого человека, прежде цветущего румянцем здоровья, она почувствовала жалость и многое сказала не так резко, не так строго, как хотела. В сущности невеста сказала жениху все то же, что говорила Алакаевой, но прибавила, что она, во-первых, не расстанется с отцом, пока он жив, а во-вторых, что она не будет жить в деревне, а желает жить в губернском городе, именно

в Уфе, где имеет много знакомых, достойных и образованных людей, в обществе которых должна жить с мужем. В заключение она прибавила, что очень бы желала, чтоб ее муж служил и занимал в городе хотя не блестящее, но благородное и почетное место. На все такие предварительные условия и предъявления будущих прав жены Алексей Степаныч отвечал с подобострастием, что «все желания Софьи Николавны для него закон и что его счастие будет состоять в исполнении ее воли…», и этот ответ, недостойный мужчины, верный признак, что на любовь такого человека нельзя положиться, что он не может составить счастия женщины, — мог понравиться такой умной девушке. Поневоле должно признать, что в основании ее характера уже лежали семена властолюбия и что в настоящее время, освобожденные из-под тяжкого гнета жестокой мачехи, они дали сильные ростки, что без ведома самой Софьи Николавны — любовь к власти была тайною причиною ее решимости. Софья Николавна захотела сама прочесть письмо, в котором Алексей Степаныч получил позволение своих родителей искать ее руки. Письмо было в кармане у жениха, и он показал его. Софья Николавна прочла и убедилась, что ее догадки

о первоначальном несогласии родителей были совершенно справедливы. Молодой человек не умел притворяться и притом так был влюблен, что не мог противиться ласковому взгляду или слову обожаемой красавицы; когда Софья Николавна потребовала полной откровенности, он высказал ей всю подноготную без утайки, и, кажется, эта откровенность окончательно решила дело в его пользу. Мысль воспитать по-своему, образовать добродушного молодого человека, скромного, чистосердечного, неиспорченного светом — забралась в умную, но все-таки женскую голову Софьи Николавны. Ей представилась пленительная картина постепенного пробуждения и воспитания дикаря, у которого не было недостатка ни в уме, ни в чувствах, погруженных в непробудный сон, который будет еще более любить ее, если это возможно, в благодарность за свое образование. Эта мысль овладела пылким воображением Софьи Николавны, и она очень милостиво отпустила своего хворого обожателя; обещала поговорить с отцом и передать ответ через Алакаеву. Алексей Степаныч утопал в восторге, по-тогдашнему выражению. Вечером Софья Николавна опять прибегла к молитве; опять молилась долго, восторженно, напря-

женно; она заснула очень утомленная и ночью видела сон, который растолковала, как следует, в подтверждение своего решения. Ум человеческий все растолкует так, как ему хочется. Я забыл этот сон, но помню, что его можно было растолковать в противоположную сторону с гораздо большим основанием и гораздо меньшими натяжками. На следующее утро Софья Николавна немедленно сообщила своему почти умирающему отцу о предложении Алексея Степаныча. Хотя Николай Федорыч почти не знал жениха, но у старика как-то составилось понятие о нем как о человеке самом ничтожном. При всем пламенном желании пристроить Сонечку при своей жизни, этот жених (первый, надобно заметить) ему не нравился. Но Софья Николавна с обыкновенною пылкостью своего ума и убедительным красноречием доказала старику, что не должно пропускать такой партии. Она высказала ему все, что мы уже знаем, в пользу этого брака и, главное, что не только не разлучится с ним, но и останется жить в одном доме. Она так живо представила свое беспомощное, бесприютное состояние, когда Богу будет угодно оставить ее сиротой, что Николай Федорыч прослезился и сказал: «Друг мой, умница моя Сонечка! Делай, что тебе угодно:

я на все согласен. Представь же мне поскорей своего будущего жениха; я хочу познакомиться с ним поближе и также хочу непременно, чтоб его родители сделали нам письменное предложение».

Софья Николавна написала записку Алакаевой и просила передать Алексею Степанычу, что Николай Федорыч приглашает его к себе в таком-то часу.

Алексей Степаныч продолжал утопать в блаженстве, разделяя его только с покровительницей своей Маврой Павловной; но приглашение к Николаю Федорычу в назначенный час, приглашение, которого он никак не ожидал, считая старика слишком больным и слабым, очень его смутило. Николай Федорыч, за отсутствием наместника, первое лицо, первая власть в целом Уфимском крае, Николай Федорыч, к которому он и прежде приближался с благоговением, — теперь казался ему чем-то особенно страшным. Ну, если ему не понравилось намерение чиновника Верхнего земского суда тринадцатого класса жениться на его дочке? Если он сочтет дерзостью такое предложение да крикнет: «Как ты осмелился подумать о моей дочери? По тебе ли она невеста? Посадить его под караул, отдать

под суд…» Как ни дики кажутся такие мысли, но они действительно пришли тогда в голову молодому человеку, о чем он сам рассказывал впоследствии.

Собравшись с духом, ободряемый словами Алакаевой, Алексей Степаныч напялил мундир, или, вернее сказать, надел его на себя, как на вешалку, потому что очень похудел, и отправился к товарищу наместника. С треугольной шляпой под мышкой, придерживая дрожащей рукой непослушную шпагу, вошел он, едва переводя дух от робости, в кабинет больного старика, некогда умного, живого и бодрого, но теперь почти недвижимого, иссох-шего, как скелет, лежащего уже на смертной постели. Алексей Степаныч отвесил низкий поклон и стал у дверного косяка. Уже один этот прием заставил поморщиться больного хозяина. «Подойдите ко мне поближе, господин Багров, сядьте возле моей постели. Я слаб, не могу говорить громко». Алексей Степаныч со многими поклонами присел на кресло, стоявшее у самой кровати. «Вы ищете руки моей дочери», — продолжал старик… Жених вскочил с кресел, поклонился и сказал, что точно так, что он осмеливается искать этого счастия… Я мог бы передать весь разговор подробно, потому что

много раз слышал, как пересказывал его из слова в слово Алексей Степаныч; но в нем отчасти есть повторение того, что мы уже знаем, и я боюсь наскучить читателям. Сущность дела состояла в том, что Николай Федорыч расспросил молодого человека об его семействе, об его состоянии, об его намерениях относительно службы и места постоянного жительства; сказал ему, что Софья Николавна ничего не имеет, кроме приданого в десять тысяч рублей, двух семей людей и трех тысяч наличных денег для первоначального обзаведения; в заключение он прибавил, что хотя совершенно уверен, что Алексей Степаныч, как почтительный сын, без согласия отца и матери не сделал бы предложения, но что родители его могли передумать и что приличие требует, чтобы они сами написали об этом прямо к нему, и что до получения такого письма он не может дать решительного ответа. Алексей Степаныч привставал, кланялся, садился, во всем соглашался и обещал завтра же написать к отцу и к матери. Через полчаса старик сказал, что устал (это была совершенная правда), и отпустил молодого человека довольно сухо. По выходе его Софья Николавна в ту же минуту вошла в кабинет к отцу: он лежал с закрытыми глазами,

лицо его выражало утомление и вместе душевное страдание. Услыхав приближение дочери, он бросил на нее умоляющий взгляд, сжал руки на груди и воскликнул: «Сонечка, неужели ты пойдешь за него?» — Софья Николавна знала наперед, какое действие произведет это свидание, и приготовилась даже к худшему впечатлению. «Я предупреждала вас, батюшка, — сказала она тихо, кротко, но с твердостию, — что по совершенному незнанию светского обращения, по неловкости и робости, Алексей Степаныч с первого раза должен показаться вам дурачком, но я виделась с ним много раз, говорила долго, узнала его коротко и ручаюсь вам, что он никого не глупее, а многих гораздо умнее. Я прошу вас поговорить с ним еще раза два и уверена, что вы согласитесь со мною». Старик долго, пристально, проницательно посмотрел на свою дочь, как будто хотел прочесть что-то сокровенное в ее душе, глубоко вздохнул и согласился вызвать к себе на днях и поговорить побольше с молодым человеком.

Алексей Степаныч с первою почтою написал самое нежное, самое почтительное письмо к своим родителям. Он благодарил их за то, что они вновь даровали ему жизнь, и униженно просил,

чтобы они написали поскорее письмо к Николаю Федорычу Зубину и просили у него руки его дочери для своего сына, прибавляя, что это всегда так водится и что Николай Федорыч без их письма не дает решительного ответа. Исполнение просьбы столь обыкновенной затруднило стариков: они были не сочинители, в подобных оказиях не бывали и не умели приступить к делу; осрамиться же в глазах товарища наместника и будущего свата, верно ученого дельца и писаки, — крепко им не хотелось. Целую неделю сочиняли письмо; наконец кое-как написали и послали его к Алексею Степанычу. Письмо точно было написано неловко, без всяких вежливостей и любезностей, необходимых в подобных обстоятельствах.

Покуда Алексей Степаныч дожидался ответа из деревни, Николай Федорыч пригласил его к себе еще два раза. Второе посещение не поправило невыгодного впечатления, произведенного первым; но при третьем свидании присутствовала Софья Николавна, которая, как будто не зная, что жених сидит у отца, вошла к нему в кабинет, неожиданно воротясь из гостей ранее обыкновенного. Ее присутствие все переменило; она умела заставить говорить Алексея Степаныча,

знала, о чем он может говорить и в чем может выказаться с выгодной стороны его природный здравый смысл, чистота нравов, честность и мягкая доброта. Николай Федорыч, видимо, был доволен, обласкал молодого человека и пригласил его приезжать как можно чаще. Когда Алексей Степаныч ушел, старик обнял свою Сонечку со слезами и, осыпая ее ласковыми и нежными именами, назвал между прочим чародейкой, которая силою волшебства умеет вызывать из души человеческой прекрасные ее качества, так глубоко скрытые, что никто и не подозревал их существования. Софья Николавна была также очень довольна, потому что и сама не смела надеяться, чтоб Алексей Степаныч мог так хорошо поддержать ее доброе мнение и оправдать выгодные о нем отзывы.

Наконец письмо с формальным предложением стариков было получено, и Алексей Степаныч лично вручил его Николаю Федорычу. Увы! без волшебного присутствия и помощи Софьи Николавны жених опять по-прежнему не понравился будущему тестю, да и письмом остался он очень недоволен. На следующий день он имел продолжительный разговор с своею дочерью, в котором представил ей все невыгоды

иметь мужа ниже себя по уму, по образованию и характеру; он сказал, что мужнино семейство не полюбит ее, даже возненавидит, как грубое и злое невежество всегда ненавидит образованность; он предостерегал, чтобы она не полагалась на обещания жениха, которые обыкновенно редко исполняются и которых Алексей Степаныч не в силах будет исполнить, хотя бы и желал. На такие справедливые замечания и советы, почерпнутые прямо из жизни, Софья Николавна умела возражать с удивительной ловкостью и в то же время умела так убедительно и живо представить хорошую сторону замужества с человеком хотя небойким и необразованным, но добрым, честным, любящим и неглупым, что Николай Федорыч был увлечен ее пленительными надеждами и дал полное согласие. Софья Николавна с горячностью обняла отца, целовала его иссохшие руки, подала ему образ, стала на колени у кровати и, проливая ручьи горячих слез, приняла его благословение. «Батюшка! — воскликнула с увлечением восторженная девушка, — я надеюсь, с Божиею помощью, что чрез год вы не узнаете Алексея Степаныча. Чтение хороших книг, общество умных людей, беспрестанные разговоры со мною вознаградят

недостаток воспитания; застенчивость пройдет, и уменье держать себя в свете придет само собою». — «Дай Бог, — отвечал старик. — Пошли за священником, я хочу помолиться о твоем счастье вместе с тобою».

В тот же день вечером пригласили Алакаеву с женихом, старинных зубинских знакомых, Аничкова и Мисайловых, и дали Алексею Степанычу слово. Нет выражений для описания блаженства молодого человека! Софья Николавна до глубокой старости вспоминала об этих счастливых для него минутах. Алексей Степаныч бросился в ноги Николаю Федорычу, целовал его руки, плакал, рыдал, как дитя, едва не упал в обморок от избытка счастия, которое до последней минуты казалось ему недоступным. Невеста сама была глубоко тронута таким искренним выражением пламенной, безграничной любви.

Чрез два дня назначили официальную помолвку и пригласили весь город. Город был удивлен, потому что многие не верили слухам, будто Софья Николавна Зубина идет за Алексея Степаныча Багрова. Наконец все поверили и съехались; поздравляли, желали всякого благополучия и всех возможных благ. Жених был радостен и светел; он не замечал никаких двусмысленностей в по-

здравлениях, никаких насмешливых улыбок и взглядов; но Софья Николавна все видела, все заметила, все слышала и понимала, хотя, говоря с нею, были все осторожны и почтительны. Она знала наперед, как встретит общество ее поступок, но внутренно не могла не огорчаться выражением мнения этого общества, чего, конечно, никто не заметил. Она была весела, ласкова со всеми, особенно с женихом, и казалась совершенно счастливою и довольною своим выбором. Вскоре жениха с невестою пригласили в кабинет к Николаю Федорычу и обручили там при немногих свидетелях. Старик плакал во все время, когда священник читал молитвы. По окончании обряда приказал жениху с невестою поцеловаться, обнял их горячо и сильно, сколько мог, и, поглядев пристально в лицо Алексею Степанычу, сказал: «Люби ее и всегда так, как любишь теперь. Бог дает тебе такое сокровище…» Он не мог договорить. Обрученные жених и невеста вышли опять к гостям, в сопровождении присутствовавших при обручении. Все мужчины обнимали жениха и целовали руку у невесты; все дамы обнимали невесту, и у всех перецеловал ручки жених. Наконец, когда кончилась эта суматоха, обрученных посадили рядом на диван, упросили

вновь поцеловаться и с бокалами в руках осыпали их вторичными поздравлениями и добрыми желаниями. Между мужчинами хозяйничал С. И. Аничков, а между дамами — Алакаева. Алексей Степаныч сроду не пивал ничего, кроме воды, но его уговорили выпить бокал какого-то вина, которое сильно подействовало на его непривычный организм, расстроенный недавнею болезнию и постоянным волнением души. Он сделался необыкновенно жив, смеялся, плакал и много наговорил для потехи общества и для огорчения невесты. Гости развеселились. За одним бокалом последовал другой, за другим третий; подали богатую закуску; все плотно покушали, еще выпили и разъехались шумно и весело. У жениха закружилась и заболела голова, и Алакаева увезла его домой.

Николай Федорыч чувствовал себя очень плохо и хотел как можно скорей сыграть свадьбу; но как в то же время он желал, чтоб приданое было устроено богато и пышно, то принуждены были отложить свадьбу на несколько месяцев. Старинные материнские брильянты и жемчуги надобно было переделать и перенизать по новому фасону в Москве и оттуда же выписать серебро и некоторые наряды и подарки; остальные же

платья, занавес парадной кровати и даже богатый чернобурый салоп, мех которого давно уже был куплен за пятьсот рублей и которого теперь не купишь за пять тысяч, — все это было сшито в Казани; столового белья и голландских полотен было запасено много. Десять тысяч, назначенные на приданое, составляли тогда большую сумму, а как много дорогого было припасено заранее, то роспись приданого выходила так роскошна и великолепна, что, читая ее теперь, трудно поверить дешевизне восьмидесятых годов прошедшего столетия.

Первым делом, после обручения и помолвки, были рекомендательные письма ко всем родным жениха и невесты. Софья Николавна, владевшая, между прочим, особенным дарованием писать красноречиво, написала такое письмо к будущему свекру и свекрови, что Степан Михайлыч хотя был не сочинитель и не писака, но весьма оценил письмо будущей своей невестки. Выслушав его с большим вниманием, он взял его из рук Танюши и, с удовольствием заметив четкость руки невесты, сам прочел письмо два раза и сказал: «Ну, умница и, должно быть, горячая душа!» Вся семья злилась и молчала; одна Александра Степановна не вытерпела и, сверкая круглыми,

выкатившимися от бешенства зрачками, сказала: «Что и говорить, батюшка, книжница; мягко стелет, да каково-то будет спать!» Но старик грозно взглянул на нее и зловещим голосом сказал: «А почем ты знаешь? Ничего не видя, уж ты коришь! Смотри! Держи язык за зубами и других у меня не мути». После таких слов все пришипились и, разумеется, еще более возненавидели Софью Николавну. Степан Михайлыч под влиянием теплого и ласкового письма взял сам перо в руки и, вопреки всяким церемониям, написал следующее:

«Милая моя, дорогая и разумная, будущая невестушка.

Если ты нас, стариков, так заочно полюбила и уважаешь, то и мы тебя полюбили; а при свиданье, бог даст, и еще больше полюбим, и будешь ты нам как родная дочь, и будем мы радоваться счастию нашего сына Алексея».

Софья Николавна также по достоинству оценила простую речь старика; она уже прежде, по одним рассказам, полюбила его заочно. Родных у невесты не было, и писать ее жениху было не к кому. Но она захотела, чтоб Алексей Степаныч написал рекомендательное письмо к ее заочному другу и покровителю ее братьев,

А. Ф. Аничкову; разумеется, жених с радостью согласился исполнить ее желание. Софья Николавна не слишком надеялась на уменье Алексея Степаныча объясняться письменно и пожелала предварительно взглянуть на письмо. Боже мой, что прочла она в этом письме! Алексей Степаныч, много наслышавшись об Аничкове, вздумал написать витиевато, позаимствовался из какого-нибудь тогдашнего романа и написал две страницы таких фраз, от которых, при других обстоятельствах, Софья Николавна расхохоталась бы, но теперь… кровь бросилась ей в голову, и потом слезы хлынули из глаз. Успокоившись, она сначала не знала, как ей быть, как выйти из этого затруднительного положения? Впрочем, она думала недолго, написала черновое письмо от жениха к Аничкову и сказала Алексею Степанычу, что по непривычке к переписке с незнакомыми людьми он написал такое письмо, которое могло бы не понравиться Аничкову, и потому она написала черновое и просит его переписать и послать по адресу. Ей было совестно, и больно, и оскорбительно за своего жениха, голос ее слегка дрожал, и она едва владела собою; но жених чрезвычайно обрадовался такому предложению; выслушав письмо, восхищался им,

удивлялся сочинительнице и покрывал поцелуями ее руки. Тяжел был первый шаг к неуважению будущего своего супруга и к осуществлению мысли повелевать им по произволу…

Зная, что у стариков мало денег и что они поневоле скупы на них, Алексей Степаныч написал просительное письмо к своим родителям с самым умеренным требованием денег и для подкрепления своих слов упросил Алакаеву, чтобы она написала к Степану Михайлычу и удостоверила в справедливой просьбе сына и в необходимости издержек для предназначенной свадьбы; он просил всего восемьсот рублей, но Алакаева требовала тысячу пятьсот рублей. Старики отвечали сыну, что у них таких денег нет и что они посылают ему последние триста рублей; а пятьсот рублей, если они уж необходимы, предоставляли ему у кого-нибудь занять, но прибавляли, что пришлют ему четверку лошадей, кучера, форейтора, повара и всяких съестных припасов. На Алакаеву же старики рассердились за требование такой огромной суммы и не отвечали ей. Делать было нечего; Алексей Степаныч поблагодарил за милости своих родителей и занял пятьсот рублей; но как этих денег недостало, то Алакаева дала ему еще своих пятьсот рублей

тайно от его стариков.

Между тем свидания жениха с невестой становились чаще, продолжительнее, а разговоры откровеннее. Тут только увидела Софья Николавна, как много будет ей работы в будущем; тут только она вполне разглядела своего жениха! Она не ошиблась в том, что он имел от природы хороший ум, предоброе сердце и строгие правила честности и служебного бескорыстия, но зато во всем другом нашла она такую ограниченность понятий, такую мелочность интересов, такое отсутствие самолюбия и самостоятельности, что неробкая душа ее и твердость в исполнении дела, на которое она уже решилась, — не один раз сильно колебались; не один раз приходила она в отчаяние, снимала с руки обручальное кольцо, клала его перед образом Смоленския Божия Матери и долго молилась, обливаясь жаркими слезами, прося просветить ее слабый ум. Так поступала она, что мы уже знаем, во всех трудных обстоятельствах своей жизни. После молитвы Софья Николавна чувствовала себя как-то бодрее и спокойнее, принимала это чувство за указание свыше, надевала обручальное кольцо и выходила в гостиную к своему жениху спокойная и веселая. Больной ее отец чувствовал себя час от часу

хуже и слабее; дочь умела его уверить, что она с каждым днем открывает новые достоинства в своем женихе, что она совершенно довольна и надеется быть счастливою замужем. Тяжкий недуг уже омрачал ясность взгляда Николая Федорыча; он не только верил искренности своей дочери, но и сам убеждался, что его Сонечка будет счастлива, и часто говорил: «Слава Богу, теперь мне легко умереть».

Приближалось время свадьбы. Все приданое было готово. Жених также приготовился благодаря советам Алакаевой, которая совершенно взяла его в руки. Умная старуха сама не подозревала, до какой степени Алексей Степаныч не знал и не понимал приличий в общественной жизни. Без нее он наделал бы таких промахов, от которых невеста не один раз сгорела бы со стыда. Например, он хотел подарить ей в день именин такой материи на платье, какую можно было подарить только ее горничной; он думал ехать к венцу в какой-то старинной повозке на пазах, которая возбудила бы смех в целом городе, и пр. и пр. Оно в сущности ничего не значит, но видеть своего жениха посмешищем уфимского модного света было бы слишком тяжело для Софьи Николавны. Разумеется, все это бы-

ло поправлено Алакаевой, или, лучше сказать, самой невестой, потому что старуха обо всем советовалась с нею. Софья Николавна заранее объявила жениху, чтоб он и не думал дарить ее в именины, потому что она терпеть не может именинных подарков. Для свадьбы же приказала купить аглицкую новенькую карету, только что привезенную из Петербурга одним уфимским помещиком Мурзахановым, успевшим промотаться и проиграться в несколько месяцев. За карету было заплачено триста пятьдесят рублей ассигнациями. Софья Николавна отдала за нее свои деньги и прислала в подарок жениху от имени своего отца, запретив ему беспокоить своей благодарностью умирающего старика. Так улаживались и другие затруднения. Алексей Степаныч и Софья Николавна написали от себя и от имени Николая Федорыча письма к Степану Михайлычу и Арине Васильевне, убедительно прося их осчастливить своим приездом на свадьбу. Зажившиеся в деревне и одичавшие старики, разумеется, не поехали: город и городское общество представлялись им чем-то чуждым и страшным. Из дочерей также никто не хотел ехать, но Степану Михайлычу показалось это неловким, и он приказал отправиться на свадьбу

Елизавете и Александре Степановнам. Ерлыкин находился на службе в Оренбурге, а Иван Петрович Каратаев сопровождал свою супругу в Уфу. Прибытие этих незваных и неожиданных гостей наделало много огорчений Софье Николавне. Будущие ее золовки, от природы очень умные и хитрые, расположенные враждебно, держали себя с нею холодно, неприязненно и даже неучтиво. Хотя Софья Николавна слишком хорошо угадывала, какого расположения можно ей было ждать от сестер своего жениха, тем не менее она сочла за долг быть сначала с ними ласковою и даже предупредительною; но увидя наконец, что все ее старания напрасны и что чем лучше она была с ними, тем хуже они становились с нею, — она отдалилась и держала себя в границах светской холодной учтивости, которая не защитила ее, однако, от этих подлых намеков и обиняков, которых нельзя не понять, которыми нельзя не оскорбляться и которые понимать и которыми оскорбляться в то же время неловко, потому что сейчас скажут: «На воре шапка горит». Отвратительное оружие намеков и обиняков, выгнанное образованностью в обществе мещан, горничных и лакеев, было тогда оружием страшным и общеупотребительным

в домах деревенских помещиков, по большей части весьма близких с своей прислугой и нравами и образованием. Да еще правду ли я сказал, что оно выгнано? Не живет ли оно и теперь между нас, сокрытое под другими, более приличными, более искусственными формами? Разумеется, всему уфимскому обществу показались сестрицы жениха деревенскими чучелами. Что касается до Ивана Петровича, уже довольно обашкирившегося и всегда начинавшего с восьми часов утра тянуть желудочный травник, то он при первой рекомендации чмокнул три раза ручку у Софьи Николавны и с одушевлением истинного башкирца воскликнул: «Ну, какую кралечку подцепил брат Алексей!» Много переглотала Софья Николавна слез от злобных выходок будущих своих золовок и грубых шуток и любезностей будущего свояка. Всего прискорбнее было то, что Алексей Степаныч ничего не примечал и, казалось, был очень доволен обращением своих сестер с Софьей Николавной, и, конечно, это ее не только огорчало в настоящем, но и пугало в будущем. Ядовитые эти змеи, остановясь у брата в доме, с первой же минуты начали вливать свой яд в его простую душу и делали это так искусно, что Алексей Степаныч не подозревал их ухищ-

рений. Тысячи намеков на гордость его невесты, на ее нищенство, прикрывающееся золотом и парчою, на его подчиненность воле и прихотям Софьи Николавны беспрестанно раздавались в его ушах; много он не замечал, не понимал, но многое попадало прямо в цель, смущало его ум и бессознательно заставляло задумываться. Все эти уловки, а иногда и открытые нападения, прикрывались видом участия и родственной любви. «Что это, братец, как ты худ? — говорила Елизавета Степановна. — Ты совсем измучился, исполняя приказания Софьи Николавны. Вот теперь, ты только что воротился из Голубиной Слободки[16], устал, проголодался и, ничего не покушавши, скачешь опять на дежурство к невесте. Ведь мы тебе родные, ведь нам тебя жалко…» И притворные слезы или по крайней мере морганье глазами и утиранье их платком довершали вкрадчивую речь. «Нет, — бешено врывалась в разговор Александра Степановна, — не могу утерпеть. Я знаю, ты осердишься, братец, а может быть, и разлюбишь нас; так, видно, угодно Богу, но я скажу тебе всю правду: ты совсем переменился, ты нас стыдишься, ты нас совсем забыл; у тебя

[16] Сноски: 16
Отдаленная улица в Уфе.

только и на уме, как бы лизать ручки у Софьи Николавны да как бы не проштрафиться перед нею. Ведь ты сделался ее слугой, крепостным слугой! Каково нам видеть, что уж и эта старая ведьма Алакаева помыкает тобой, как холопом: поезжай туда, то-то привези, об этом-то справься… да приказывает еще все делать проворнее, да еще изволит выговоры давать; а нас и в грош не ставит, ни о чем с нами и посоветоваться не хочет…» Алексей Степаныч не находил слов для возражения и говорил только, что он сестриц своих любит и всегда будет любить и что ему пора ехать к Софье Николавне, после чего брал шляпу и поспешно уходил. «Да, беги, беги поскорее, — кричала ему вслед бешеная Александра Степановна, — а то прогневается да еще ручки не пожалует». Подобные явления повторялись не один раз и, конечно, производили свое впечатление. Софья Николавна не могла не заметить, что приезд сестриц Алексея Степаныча произвел в нем некоторую перемену. Он казался смущенным, не с такою точностью исполнял свои обещания и даже менее проводил с ней время. Софья Николавна очень хорошо понимала настоящую причину; к тому же Алакаева, с которою вошла она в короткие и дружеские

отношения и которая знала все, что делается на квартире у Алексея Степаныча, не оставляла ее снабжать подробными сведениями. Софья Николавна по своей пылкой и страстной природе не любила откладывать дела в долгий ящик. Она справедливо рассуждала, что не должно давать время и свободу укореняться вредному влиянию сестриц, что необходимо открыть глаза ее жениху и сделать решительное испытание его характеру и привязанности, и что если и то и другое окажется слишком слабым, то лучше разойтись перед венцом, нежели соединить судьбу свою с таким ничтожным существом, которое, по ее собственному выражению, «от солнышка не защита и от дождя не епанча». Рано утром она вызвала к себе жениха, затворилась с ним в гостиной, не приказала никого принимать и обратилась к испуганному и побледневшему Алексею Степанычу с следующими словами: «Послушайте, я хочу объясниться с вами откровенно, сказать вам все, что у меня лежит на сердце, и от вас требую того же. Сестрицы ваши меня терпеть не могут и употребили все старания, чтоб восстановить против меня ваших родителей. Я знаю все это от вас самих. Ваша любовь ко мне преодолела все препятствия: родители ваши дали вам свое

благословение, и я решилась за вас выйти, не побоявшись ненависти целой семьи. Я надеялась найти себе защиту в вашей ко мне любви и в моем старании доказать вашим родителям, что я не заслуживаю их неприязни. Я вижу теперь, что я ошиблась. Вы сами видели, как я приняла ваших сестриц, как я ласкалась, как я старалась угодить им. Они заставили меня удалиться своими грубостями, но я ни разу не сделала им ни малейшей невежливости. Что же из этого вышло? Прошла только одна неделя, как приехали ваши сестрицы, и вы уже много переменились ко мне: вы забываете или не смеете иногда исполнять того, что мне обещали, вы менее проводите со мной времени, вы смущены, встревожены, вы даже не так ласковы ко мне, как были прежде. Не оправдывайтесь, не запирайтесь, это было бы нечестно с вашей стороны. Я знаю, что вы меня не разлюбили; но вы боитесь показывать мне свою любовь, боитесь ваших сестер и потому смущаетесь и даже избегаете случаев оставаться со мной наедине. Это все совершенная правда, вы сами это знаете. Итак, скажите, какую надежду могу я иметь на твердость вашей любви? Да и что это за любовь, которая струсила и прячется оттого, что невеста ваша не нравится вашим

сестрицам, о чем вы давно знаете? Что же будет, если я не понравлюсь вашим родителям и если они косо на меня посмотрят? Да вы разлюбите меня в самом деле! Нет, Алексей Степаныч, благородные люди не так любят и не так поступают. Зная, что меня терпеть не могут ваши родные, вы должны были удвоить при них ваше внимание, нежность и уважение ко мне — тогда они не осмелились бы и рта разинуть; а вы допустили их говорить вам в глаза оскорбительные мне слова. Я все знаю, что они говорят вам. Я заключаю из всего этого, что любовь ваша пустое нежничанье, что на вас нельзя положиться и что нам лучше расстаться теперь, нежели быть несчастными на всю жизнь. Подумайте хорошенько о моих словах. Я даю вам два дня, чтобы их обдумать. Продолжайте ездить к нам, но два дня я не буду видеться с вами наедине и не стану поминать об этом разговоре; потом спрошу вас по совести, как честного человека: имеете ли вы довольно твердости, чтобы быть моим защитником против ваших родных и всех, кто вздумал бы оскорблять меня? Можете ли вы заставить ваших сестер не обижать меня и заочно, в вашем присутствии, ни одним словом, ни одним оскорбительным намеком. Хотя разрыв за неделю

до свадьбы для всякой благовоспитанной девушки большое несчастие, но лучше перенести его разом, нежели мучиться всю жизнь. Вы знаете, что я не влюблена в вас, но я начинала любить вас и, конечно, полюбила бы сильнее и постояннее, чем вы. Прощайте! Сегодня и завтра мы чужие». Алексей Степаныч, давно заливавшийся слезами и несколько раз порывавшийся что-то сказать, не успел разинуть рта, как невеста ушла и заперла за собою дверь. Как громом пораженный, Алексей Степаныч не вдруг пришел в себя. Наконец мысль потерять обожаемую Софью Николавну представилась ему с поразительною ясностью, ужаснула его и вызвала то мужество, ту энергию, к которой бывают способны на короткое время люди самого слабого, самого кроткого нрава. Он поспешно отправился домой, и когда его сестрицы, нисколько не сжалившись над огорченным и расстроенным видом братца, встретили его обычными злобными шуточками — Алексей Степаныч пришел в исступление и задал им такую выпалку, что они перепугались. Человек добрый, тихий и терпеливый бывает страшен в гневе. Алексей Степаныч сказал между прочим своим сестрам, что «если они осмелятся еще сказать при нем хотя одно оскорбительное

слово об его невесте или насчет его самого, то он в ту же минуту переедет на другую квартиру, не велит их пускать ни к себе, ни к невесте и обо всем напишет к батюшке». Этого было довольно. Александра Степановна твердо помнила слова отца: «Держи язык за зубами и других у меня не мути». Она очень хорошо знала, какая грозная туча взмыла бы от жалобы братца и каких страшных последствий могла она ожидать. Обе сестрицы кинулись на шею Алексея Степаныча, просили прощенья, плакали, крестились и божились, что вперед этого никогда не будет, что они сами и смерть как любят Софью Николавну и что только из жалости к его здоровью, для того, чтобы он меньше хлопотал, они позволяли себе такие глупые шутки. В тот же день поехали они к Софье Николавне, лебезили перед ней и ласкались самым униженным образом. Она очень хорошо поняла, что это значит, и — торжествовала. Положение несчастного жениха было поистине достойно сожаления. Его любовь, несколько успокоившаяся, приутихшая от частых свиданий и простого, ласкового обращения Софьи Николавны, от уверенности в близости свадьбы, несколько запуганная и как будто пристыженная насмешками сестер, — вспыхнула

с такою яростью, что в настоящую минуту он был способен на всякое самоотвержение, на всякий отчаянный поступок, пожалуй — на геройство. Все это ярко выражалось на его молодом и прекрасном лице, и с таким-то лицом несколько раз являлся он перед Софьей Николавной в продолжение этих бесконечных двух дней. Тяжело было ей смотреть на него, но она имела твердость выдержать назначенный искус. Она сама не ожидала того сердечного волнения и тоскливой жалости, которые испытала в это время. Она почувствовала, что уже любит этого смиренного, простого молодого человека, безгранично ей преданного, который не задумался бы прекратить свою жизнь, если б она решилась отказать ему!.. Наконец прошли и эти долгие два дня. На третий, рано поутру, Алексей Степаныч дожидался своей невесты в гостиной; тихо отворилась дверь, и явилась Софья Николавна прекраснее, очаровательнее, чем когда-нибудь, с легкою улыбкою и с выражением в глазах такого нежного чувства, что, взглянув на нее и увидя ласково протянутую руку, Алексей Степаныч от избытка сильного чувства обезумел, на мгновение потерял употребление языка… но вдруг, опомнившись, не принимая протянутой руки, он упал к ногам

своей невесты, и поток горячего сердечного красноречия, сопровождаемый слезами, полился из его груди. Софья Николавна не дала ему кончить, она подняла его, сказала ему, что она видит, чувствует и разделяет любовь его, верит всем его обещаниям и без страха вручает ему свою судьбу. Она приласкала его так, как никогда не ласкала, и сказала несколько таких нежных слов, каких никогда не говорила…

Только пять дней оставалось до свадьбы. Все приготовления были совершенно кончены, и жених и невеста, свободные от хлопот, почти не расставались. Уже пять месяцев Софья Николавна была невестой Алексея Степаныча, и во все это время, верная своему намерению перевоспитать своего жениха — невеста не теряла ни одной удобной минуты и старалась своими разговорами сообщать ему те нравственные понятия, которых у него недоставало, уяснять и развивать то, что он чувствовал и понимал темно, бессознательно, и уничтожать такие мысли, которые забрались ему в голову от окружающих его людей; она даже заставляла его читать книги и потом, разговаривая с ним о прочитанном, с большим искусством объясняла все смутно или превратно понятое, утверждая все шаткое

и применяя вымышленное к действительной жизни. Но едва ли во все эти пять хлопотливых месяцев успела Софья Николавна высказать так много нового, как в эти пять дней; по случаю же недавнего, сейчас мною рассказанного происшествия, поднявшего, изощрившего, так сказать, душу жениха, все было принято Алексеем Степанычем с особенным сочувствием. Каков вообще был успех этого курса нравственной педагогики — я решить на себя не беру. Трудно судить, до какой степени были справедливы мнения обоих особ, о которых я говорю; но они впоследствии согласно утверждали, ссылаясь на отзыв посторонних людей, что в Алексее Степаныче произошла великая перемена, что он точно переродился. Я охотно готов этому верить, но имею доказательство, что в знании светских приличий успехи Алексея Степаныча были не так велики. Я знаю, что он рассердил свою невесту накануне свадьбы и что ее вспыльчивость произвела сильное и болезненное впечатление на кроткую его душу. Вот как это происходило: у Софьи Николавны сидели две значительные уфимские дамы; вдруг входит лакей с каким-то бумажным свертком, подает Софье Николавне и докладывает, что Алексей Степаныч прислал это с кучером

и приказал, «чтобы вы поскорее сделали чепец для Александры Степановны». Не предупрежденная ни одним словом своего жениха, который только за полчаса с нею расстался, Софья Николавна вспыхнула от досады. Значительные дамы, будто бы подумавшие сначала, что этот сверток подарок от жениха, не хотели скрыть своих улыбок, и невеста, не совладев с собою, приказала отнести посылку назад и сказать Алексею Степанычу, «чтобы он обратился к чепечнице и что, верно, по ошибке принесли к ней эту работу». Дело происходило весьма просто: жених, воротясь домой, нашел свою сестру в большом затруднении, потому что мастерица, которая взялась сделать ей для свадьбы парадный чепчик, вдруг захворала и прислала назад весь материал. Алексей Степаныч, видевший своими глазами, как искусно его невеста делала головные уборы, вызвался пособить сестриному горю и приказал Никанорке отнесть к Софье Николавне вышеупомянутый сверток и покорнейше просить ее, чтобы она сделала чепчик для Александры Степановны. Никанорка не пошел сам за недосугом и послал кучера, а кучер вместо покорнейшей просьбы передал приказание. Алексей Степаныч поспешил к невесте для объ-

яснения и взял с собою опять тот же несчастный сверток. Софья Николавна, не простывшая еще от первой вспышки, увидя жениха, входящего с знакомым ей свертком бумаги, вспылила еще больше и наговорила много лишних, горячих и оскорбительных слов. Жених смутился, растерялся, оправдывался очень плохо, но сердечно огорчился. Софья Николавна отослала материал для чепчика к какой-то известной ей женщине и, раскаявшись в своей горячности, старалась ее поправить; но, к удивлению своему, Алексей Степаныч не мог забыть оскорбления, смешанного с каким-то страхом; он сделался очень печален, и напрасно старалась невеста успокоить и развеселить его.

Наступило 10 мая 1788 года, день, назначенный для свадьбы. Жених приехал к невесте поутру, и Софья Николавна, уже встревоженная накануне, к огорчению своему увидела, что вчерашнее грустное выражение не сошло с лица Алексея Степаныча. Она сама в свою очередь огорчилась и даже оскорбилась. Она привыкла думать, что Алексей Степаныч не будет помнить себя от радости в тот день, когда поведет ее к венцу, а он является невеселым и даже грустным! Она сказала это своему жениху и тем

смутила его еще больше. Разумеется, он старался уверить ее, что считает себя блаженнейшим из смертных и проч., но надутые и пошлые слова, произносимые и прежде много раз и выслушиваемые с удовольствием, теперь не проникнутые смыслом внутреннего одушевления, неприятно отозвались в слухе невесты. Через несколько времени они расстались с тем, чтобы увидеться уже в церкви, где в шесть часов вечера жених должен был ожидать невесту.

Страшное сомнение возникло в душе Софьи Николавны: будет ли счастлива она замужем? Много темных пророческих мыслей пробежало в ее пылком уме. Она обвиняла себя за горячность, за резкие выражения; сознавалась, что причина была ничтожна, что она должна была предвидеть множество подобных промахов своего жениха и принимать их спокойно. Они уже и случались не один раз, но тут несчастное стечение обстоятельств, присутствие посторонних дам, с которыми она была в неприязненных отношениях, укололо ее самолюбие и раздражило ее природную вспыльчивость. Она чувствовала, что испугала Алексея Степаныча, каялась в своей вине и в то же время сознавалась во глубине своей души, что способна провиниться опять. Тут

снова представилась ей вся трудность взятого на себя подвига: перевоспитание, пересоздание уже двадцатисемилетнего человека. Целая жизнь, долгая жизнь с мужем-неровней, которого она при всей любви не может вполне уважать, беспрестанное столкновение совсем различных понятий, противоположных свойств, наконец, частое непонимание друг друга… и сомнение в успехе, сомнение в собственных силах, в спокойной твердости, столько чуждой ее нраву, впервые представилось ей в своей поразительной истине и ужаснуло бедную девушку!.. Но что же делать? Неужели разорвать свадьбу пред самым венцом, поразить своего умирающего отца, привыкшего к успокоительной мысли, что его Сонечка будет счастлива за добрым человеком? Неужели потешить всех своих недоброжелателей, особенно значительных дам? Сделаться баснею, шуткою города и целого края, может быть, подвергнуться клеветам? Наконец, убить, в настоящем значении слова убить страстно любящего ее жениха? И все это из одного опасения, что у ней недостанет твердости к выполнению давно обдуманного плана, который начинал уже блистательно осуществляться? «Нет, не бывать тому! Бог поможет мне, Смоленская Божия Ма-

терь будет моей заступницей и подаст мне силы обуздать мой вспыльчивый нрав...» Так думала и так решила Софья Николавна. Слезы и молитва возвратили ей твердость.

Церковь Успения Божией Матери находилась очень близко от дома невесты и стояла тогда на пустыре. Задолго до шести часов она окружена была толпою любопытного народа. Высокий крылец зубинского дома, выходивший на улицу, обставился экипажами тех особ, которые были приглашены провожать невесту; остальное общество съезжалось прямо в церковь. Невесту одевали к венцу. Маленький брат, трехлетний Николенька, которого рождение стоило жизни его матери, обувал Софью Николавну по принятому обычаю, разумеется, с помощию горничных. В исходе шестого часа невеста была уже готова и, приняв благословение отца, вышла в гостиную. Богатый подвенечный наряд придавал еще более блеску ее красоте. Дорога от дома жениха в церковь лежала мимо окон гостиной, и Софья Николавна видела, как он проехал туда в английской мурзахановской карете на четверке славных доморощенных лошадей; она даже улыбнулась и ласково кивнула головой Алексею Степанычу, который, высунувшись из кареты, глядел в рас-

творенные окна дома. Проехали также сестры жениха, Алакаева и все мужчины, провожавшие его в церковь. Невеста не хотела, чтобы жених дожидался, и хотя ее останавливали, но она настояла, чтобы ехали немедленно. Софья Николавна спокойно и твердо вошла в церковь, ласково и весело подала руку своему жениху, но смутилась, увидев на его лице то же грустное выражение, и все заметили, что жених и невеста были невеселы под венцом. Церковь была ярко освещена и полна народа; архиерейские певчие не щадили своих голосов. Свадьба во всех отношениях была парадна и великолепна. По окончании обряда сестры, весь поезд с обеих сторон и также лучшая уфимская публика сопровождали молодых в дом к Николаю Федорычу. Там немедленно начались и продолжались танцы до богатого, но раннего ужина. Все гости, имевшие право входить к Николаю Федорычу в кабинет, перебывали у него и поздравили со вступлением в брак его дочери. На другой и следующие дни происходило все то, что обыкновенно при таких случаях бывает, то есть обед, бал, визиты, опять обед и опять бал: одним словом, все точно так, как водится и теперь, даже в столицах.

Грустная тень давно слетела с лица молодых.

Они были совершенно счастливы. Добрые люди не могли смотреть на них без удовольствия, и часто повторялись слова: «Какая прекрасная пара!» Через неделю молодые собирались ехать в Багрово, куда сестры Алексея Степаныча уехали через три дня после свадьбы. Софья Николавна написала с ними ласковое письмо к старикам.

Сестры Алексея Степаныча, после неожиданной вспышки братца, держали себя в последнее время осторожно: не позволяли при нем себе никаких намеков, ужимок и улыбок, а перед Софьей Николавной были даже искательны; но, разумеется, этим нисколько ее не обманули, зато братец поверил от души их искреннему расположению к невесте. На свадьбе и на праздниках после свадьбы, разумеется, они играли жалкие роли, а потому поспешили уехать. Воротясь домой, то есть к Степану Михайлычу, они решились действовать осторожно и не показывать перед стариком своей враждебности к Софье Николавне, но зато Арине Васильевне и двум своим сестрам расписали они такими красками свадьбу и все там происходившее, что поселили в них сильное предубеждение и неблагорасположение к невестке. Они не забыли рассказать об исступленном гневе и угрозах Алексея Степаныча

за их выходки против Софьи Николавны, и все уговорились держать себя с нею при Степане Михайлыче ласково и не говорить ему прямо ничего дурного насчет невестки, но в то же время не пропускать благоприятных случаев, незаметно для старика восстановлять его против ненавистной им Софьи Николавны. Поступать надобно было очень искусно. Не доверяя этого дела другим, взяли его на себя Елизавета и Александра Степановны. Дедушка подробно расспрашивал о свадьбе, о том, кого они видели, о состоянии здоровья старика Зубина и вообще обо всем, там происходившем. Они все хвалили; но в похвалах этих слышен был запах и вкус яда — и не удалось им провести Степана Михайлыча. Он обратился так, ради шутки, а может быть, и для соображения, к Ивану Петровичу Каратаеву и спросил его: «Ну, что, брат Иван, что ты мне скажешь о нашей невестушке? Их дело бабье, а ты мужчина и лучше можешь судить об этом». Иван Петрович, несмотря на миганье своей супруги, отвечал с увлечением: «Да вот что, батюшка, я вам скажу: что такой кралечки (без этого живописного слова он не умел похвалить красоту), какую подцепил брат Алексей, другой не отыщешь в целом свете. Что взглянет, то рублем подарит. А уж что за ум-

ница, так уж и говорить нечего. Одно доложу вам, батюшка: горда; пошутить нельзя; только вздумаешь подпустить турусы на колесах — так взглянет, что язык прикусишь». — «Вижу, брат, что она тебе врать не позволяла, — сказал старик с веселым лицом, рассмеялся и прибавил: — Ну это еще не большая беда». Степан Михайлыч по всем рассказам, по письмам Софьи Николавны и по ответу Ивана Петровича Каратаева составил в своем уме весьма благоприятное мнение об Софье Николавне.

Известие о скором приезде молодых произвело тревогу и суету в тихом, слишком простом доме деревенских помещиков. Надобно было почиститься, приодеться, принарядиться. Невестка, городская модница, привыкла жить по-барски, даром что бедна: осудит, осмеет — так думали и говорили все, кроме старика. Особых и свободных комнат в доме не было, надобно было вывести Танюшу из ее горницы, выходившей углом в сад на прозрачный Бугуруслан с его зелеными кустами и голосистыми соловьями. Танюше очень не хотелось перейти в предбанник, но другого места не было: все сестры жили в доме, а Каратаев и Ерлыкин спали на сеннике. За день до приезда молодых привезли кровать,

штофный занавес, гардины; приехал и человек, умеющий все это уставить и приладить. Танюшину комнату отделали в несколько часов. Степан Михайлович посмотрел, полюбовался, а женщины кусали от зависти губы. Наконец прискакал передовой с известием, что молодые остановились в мордовской деревне Нойкино, в восьми верстах от Багрова, где они переоденутся, и часа через два приедут. Все пришло в движение. Хотя старик еще с утра послал за священником, но как он еще не приезжал, то послали гонца верхом поторопить его. Между тем в Нойкине происходила также забавная суматоха. Молодые ехали на переменных по проселочной дороге, и потому надобно было посылать передового для заготовления лошадей от деревни до деревни. В Нойкине все знали Алексея Степаныча еще дитятей, а Степана Михайлыча считали отцом и благодетелем. Вся деревня от мала до велика, душ шестьсот мужеска и женска пола, сбежалась к той избе, где должны были остановиться молодые. Софья Николавна едва ли видала вблизи мордву, и потому одежда мордовок и необыкновенно рослых и здоровых девок, их вышитые красною шерстью белые рубахи, их черные шерстяные пояса, или хвосты, грудь и спина и головные уборы,

обвешанные серебряными деньгами и колокольчиками, очень ее заняли. Но когда она услыхала простые, грубые, но искренние восклицания всей толпы на изломанном несколько русском языке, то радостные приветствия, то похвалы и добрые пожелания, — она и смеялась и даже плакала. «Ай, ай, Алеша, какой жена тебе Бог давал. Ай, ай, хороша, — говорили старики и старухи, — а отца наша Степан Михайлыч то-то рада будет! Ну дай вам Бог, дай Бог!» Когда же молодая, переодевшись в пышное городское платье, вышла садиться в карету, то в народе поднялся такой гул восторга и радостных похвал, что даже лошади перепугались. Молодые, подарив десять рублей на вино всему миру, отправились в дорогу.

Позади городского гумна, стоящего на высокой горе, показался высокий экипаж. «Едут, едут!» — раздалось по всему дому, и вся дворня, а вскоре и все крестьяне сбежались на широкий господский двор, а молодежь и ребятишки побежали навстречу. Старики Багровы со всем семейством вышли на крыльцо: Арина Васильевна в шелковом шушуне и юбке, в шелковом тарнитуровом с золотыми травочками платке на голове, а Степан Михайлыч в каком-то стародавнем сюртуке, выбритый и с платком на шее, стояли на верхней

ступеньке крыльца; один держал образ Знамения Божьей Матери, а другая — каравай хлеба с серебряной солонкой. Золовки и два зятя стояли около них. Экипаж подкатил к крыльцу, молодые вышли, упали старикам в ноги, приняли их благословение и расцеловались с ними и со всеми их окружающими; едва кончила молодая эту церемонию и обратилась опять к свекру, как он схватил ее за руку, поглядел ей пристально в глаза, из которых катились слезы, сам заплакал, крепко обнял, поцеловал и сказал: «Слава Богу! Пойдем же благодарить его». Он взял невестку за руку, провел в залу сквозь тесную толпу, поставил возле себя — и священник, ожидавший их в полном облачении, возгласил: «Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков».



Александр Куприн

Олеся

I

Мой слуга, повар и спутник по охоте — полесовщик Ярмола вошел в комнату, согнувшись под вязанкой дров, сбросил ее с грохотом на пол и подышал на замерзшие пальцы.

— У, какой ветер, паныч, на дворе, — сказал он, садясь на корточки перед заслонкой. — Нужно хорошо в грубке протопить. Позвольте запалочку, паныч.

— Значит, завтра на зайцев не пойдем, а? Как ты думаешь, Ярмола?

— Нет… не можно… слышите, какая завируха. Заяц теперь лежит и — а ни мур-мур… Завтра и одного следа не увидите.

Судьба забросила меня на целых шесть месяцев в глухую деревушку Волынской губернии, на окраину Полесья, и охота была единственным моим занятием и удовольствием. Признаюсь, в то время, когда мне предложили ехать в деревню, я вовсе не думал так нестерпимо скучать. Я поехал даже с радостью. «Полесье… глушь… лоно природы… простые нравы… первобыт-

ные натуры, — думал я, сидя в вагоне, — совсем незнакомый мне народ, со странными обычаями, своеобразным языком… и уж, наверно, какое множество поэтических легенд, преданий и песен!» А я в то время (рассказывать, так все рассказывать) уж успел тиснуть в одной маленькой газетке рассказ с двумя убийствами и одним самоубийством и знал теоретически, что для писателей полезно наблюдать нравы.

Но… или перебродские крестьяне отличались какою-то особенной, упорной несообщительностью, или я не умел взяться за дело, — отношения мои с ними ограничивались только тем, что, увидев меня, они еще издали снимали шапки, а поравнявшись со мной, угрюмо произносили: «Гай буг», что должно было обозначать «Помогай бог». Когда же я пробовал с ними разговориться, то они глядели на меня с удивлением, отказывались понимать самые простые вопросы и все порывались целовать у меня руки — старый обычай, оставшийся от польского крепостничества.

Книжки, какие у меня были, я все очень скоро перечитал. От скуки — хотя это сначала казалось мне неприятным — я сделал попытку познакомиться с местной интеллигенцией в лице ксендза, жившего за пятнадцать верст, нахо-

дившегося при нем «пана органиста», местного урядника и конторщика соседнего имения из отставных унтер-офицеров, но ничего из этого не вышло.

Потом я пробовал заняться лечением перебродских жителей. В моем распоряжении были: касторовое масло, карболка, борная кислота, йод. Но тут, помимо моих скудных сведений, я наткнулся на полную невозможность ставить диагнозы, потому что признаки болезни у всех моих пациентов были всегда одни и те же: «в серéдине болит» и «ни есть, ни пить не можу».

Приходит, например, ко мне старая баба. Вытерев со смущенным видом нос указательным пальцем правой руки, она достает из-за пазухи пару яиц, причем на секунду я вижу ее коричневую кожу, и кладет их на стол. Затем она начинает ловить мои руки, чтобы запечатлеть на них поцелуй. Я прячу руки и убеждаю старуху: «Да полно, бабка… оставь… я не поп… мне это не полагается… Что у тебя болит?»

— В серéдине у меня болит, панычу, в самой что ни на есть середине, так что даже ни пить, ни есть не можу.

— Давно это у тебя сделалось?

— А я знаю? — отвечает она также вопросом. —

Так и печет и печет. Ни пить, ни есть не можу.

И сколько я ни бьюсь, более определенных признаков болезни не находится.

— Да вы ни беспокойтесь, — посоветовал мне однажды конторщик из унтеров, — сами вылечатся. Присохнет, как на собаке. Я, доложу вам, только одно лекарство употребляю — нашатырь. Приходит ко мне мужик. «Что тебе?» — «Я, говорит, больной»... Сейчас же ему под нос склянку нашатырного спирту. «Нюхай!» Нюхает... «Нюхай еще... сильнее!..» Нюхает... «Что, легче?» — «Як будто полегшало...» — «Ну, так и ступай с богом».

К тому же мне претило это целование рук (а иные так прямо падали в ноги и изо всех сил стремились облобызать мои сапоги). Здесь сказывалось вовсе не движение признательного сердца, а просто омерзительная привычка, привитая веками рабства и насилия. И я только удивлялся тому же самому конторщику из унтеров и уряднику, глядя, с какой невозмутимой важностью суют они в губы мужикам свои огромные красные лапы...

Мне оставалась только охота. Но в конце января наступила такая погода, что и охотиться стало невозможно. Каждый день дул страшный

ветер, а за ночь на снегу образовывался твердый, льдистый слой наста, по которому заяц пробегал, не оставляя следов. Сидя взаперти и прислушиваясь к вою ветра, я тосковал страшно. Понятно, я ухватился с жадностью за такое невинное развлечение, как обучение грамоте полесовщика Ярмолы.

Началось это, впрочем, довольно оригинально. Я однажды писал письмо и вдруг почувствовал, что кто-то стоит за моей спиной. Обернувшись, я увидел Ярмолу, подошедшего, как и всегда, беззвучно в своих мягких лаптях.

— Что тебе, Ярмола? — спросил я.

— Да вот дивлюсь, как вы пишете. Вот бы мне так… Нет, нет… не так, как вы, — смущенно заторопился он, видя, что я улыбаюсь… — Мне бы только мое фамилие…

— Зачем это тебе? — удивился я… (Надо заметить, что Ярмола считается самым бедным и самым ленивым мужиком во всем Переброде; жалованье и свой крестьянский заработок он пропивает; таких плохих волов, как у него, нет нигде в окрестности. По моему мнению, ему-то уж ни в каком случае не могло понадобиться знание грамоты.) Я еще раз спросил с сомнением: — Для чего же тебе надо уметь писать

фамилию?

— А видите, какое дело, паныч, — ответил Ярмола необыкновенно мягко, — ни одного грамотного нет у нас в деревне. Когда гумагу какую нужно подписать, или в волости дело, или что… никто не может… Староста печать только кладет, а сам не знает, что в ней напечатано… То хорошо было бы для всех, если бы кто умел расписаться.

Такая заботливость Ярмолы — заведомого браконьера, беспечного бродяги, с мнением которого никогда даже не подумал бы считаться сельский сход, — такая заботливость его об общественном интересе родного села почему-то растрогала меня. Я сам предложил давать ему уроки. И что же это была за тяжкая работа — все мои попытки выучить его сознательному чтению и письму! Ярмола, знавший в совершенстве каждую тропинку своего леса, чуть ли не каждое дерево, умевший ориентироваться днем и ночью в каком угодно месте, различавший по следам всех окрестных волков, зайцев и лисиц, — этот самый Ярмола никак не мог представить себе, почему, например, буквы «м» и «а» вместе составляют «ма». Обыкновенно над такой задачей он мучительно раздумывал минут десять, а то и больше, причем его смуглое худое лицо с впалыми черными

глазами, все ушедшее в жесткую черную бороду и большие усы, выражало крайнюю степень умственного напряжения.

— Ну скажи, Ярмола, — «ма». Просто только скажи — «ма», — приставал я к нему. — Не гляди на бумагу, гляди на меня, вот так. Ну, говори — «ма»...

Тогда Ярмола глубоко вздыхал, клал на стол указку и произносил грустно и решительно:

— Нет... не могу...

— Как же не можешь? Это же ведь так легко. Скажи просто-напросто — «ма», вот как я говорю.

— Нет... не могу, паныч... забыл...

Все методы, приемы и сравнения разбивались об эту чудовищную непонятливость. Но стремление Ярмолы к просвещению вовсе не ослабевало.

— Мне бы только мою фамилию! — застенчиво упрашивал он меня. — Больше ничего не нужно. Только фамилию: Ярмола Попружук — и больше ничего.

Отказавшись окончательно от мысли выучить его разумному чтению и письму, я стал учить его подписываться механически. К моему великому удивлению, этот способ оказался наиболее доступным Ярмоле, так что к концу второго месяца

мы уже почти осилили фамилию. Что же касается до имени, то его ввиду облегчения задачи мы решили совсем отбросить.

По вечерам, окончив топку печей, Ярмола с нетерпением дожидался, когда я позову его.

— Ну, Ярмола, давай учиться, — говорил я.

Он боком подходил к столу, облокачивался на него локтями, просовывал между своими черными, заскорузлыми, несгибающимися пальцами перо и спрашивал меня, подняв кверху брови:

— Писать?

— Пиши.

Ярмола довольно уверенно чертил первую букву — «П» (эта буква у нас носила название: «два стояка и сверху перекладина»); потом он смотрел на меня вопросительно.

— Что ж ты не пишешь? Забыл?

— Забыл… — досадливо качал головой Ярмола.

— Эх, какой ты! Ну, ставь колесо.

— А-а! Колесо, колесо!.. Знаю… — оживлялся Ярмола и старательно рисовал на бумаге вытянутую вверх фигуру, весьма похожую очертаниями на Каспийское море. Окончивши этот труд, он некоторое время молча любовался им, наклоняя голову то на левый, то на правый бок и щуря

глаза.

— Что же ты стал? Пиши дальше.

— Подождите немного, панычу… сейчас.

Минуты две он размышлял и потом робко спрашивал:

— Так же, как первая?

— Верно. Пиши.

Так мало-помалу мы добрались до последней буквы — «к» (твердый знак мы отвергли), которая была у нас известна как «палка, а посредине палки кривуля хвостом набок».

— А что вы думаете, панычу, — говорил иногда Ярмола, окончив свой труд и глядя на него с любовной гордостью, — если бы мне еще месяцев с пять или шесть поучиться, я бы совсем хорошо знал. Как вы скажете?

II

Ярмола сидел на корточках перед заслонкой, перемешивая в печке угольев, а я ходил взад и вперед по диагонали моей комнаты. Из всех двенадцати комнат огромного помещичьего дома я занимал только одну, бывшую диванную. Другие стояли запертыми на ключ, и в них неподвижно и торжественно плесневела старинная штофная мебель, диковинная бронза и портреты

XVIII столетия.

Ветер за стенами дома бесился, как старый озябший голый дьявол. В его реве слышались стоны, визг и дикий смех. Метель к вечеру расходилась еще сильнее. Снаружи кто-то яростно бросал в стекла окон горсти мелкого сухого снега. Недалекий лес роптал и гудел с непрерывной, затаенной, глухой угрозой…

Ветер забирался в пустые комнаты и в печные воющие трубы, и старый дом, весь расшатанный, дырявый, полуразвалившийся, вдруг оживлялся странными звуками, к которым я прислушивался с невольной тревогой. Вот точно вздохнуло что-то в белой зале, вздохнуло глубоко, прерывисто, печально. Вот заходили и заскрипели где-то далеко высохшие гнилые половицы под чьими-то тяжелыми и бесшумными шагами. Чудится мне затем, что рядом с моей комнатой, в коридоре, кто-то осторожно и настойчиво нажимает на дверную ручку и потом, внезапно разъярившись, мчится по всему дому, бешено потрясая всеми ставнями и дверьми, или, забравшись в трубу, скулит так жалобно, скучно и непрерывно, то поднимая все выше, все тоньше свой голос, до жалобного визга, то опуская его вниз, до звериного рычанья. Порою бог весть откуда врывался этот страшный гость

и в мою комнату, пробегал внезапным холодом у меня по спине и колебал пламя лампы, тускло светившей под зеленым бумажным, обгоревшим сверху абажуром.

На меня нашло странное, неопределенное беспокойство. Вот, думалось мне, сижу я глухой и ненастной зимней ночью в ветхом доме, среди деревни, затерявшейся в лесах и сугробах, в сотнях верст от городской жизни, от общества, от женского смеха, от человеческого разговора… И начинало мне представляться, что годы и десятки лет будет тянуться этот ненастный вечер, будет тянуться вплоть до моей смерти, и так же будет реветь за окнами ветер, так же тускло будет гореть лампа под убогим зеленым абажуром, так же тревожно буду ходить я взад и вперед по моей комнате, так же будет сидеть около печки молчаливый, сосредоточенный Ярмола — странное, чуждое мне существо, равнодушное ко всему на свете: и к тому, что у него дома в семье есть нечего, и к бушеванию ветра, и к моей неопределенной, разъедающей тоске.

Мне вдруг нестерпимо захотелось нарушить это томительное молчание каким-нибудь подобием человеческого голоса, и я спросил:

— Как ты думаешь, Ярмола, откуда это сегодня

такой ветер?

— Ветер? — отозвался Ярмола, лениво подымая голову. — А паныч разве не знает?

— Конечно, не знаю. Откуда же мне знать?

— И вправду не знаете? — оживился вдруг Ярмола. — Это я вам скажу, — продолжал он с таинственным оттенком в голосе, — это я вам скажу: чи ведьмака народилась, чи ведьмак веселье справляет.

— Ведьмака — это колдунья по-вашему?

— А так, так… колдунья.

Я с жадностью накинулся на Ярмолу. «Почем знать, — думал я, — может быть, сейчас же мне удастся выжать из него какую-нибудь интересную историю, связанную с волшебством, с зарытыми кладами, с вовкулаками?..»

— Ну, а у вас здесь, на Полесье, есть ведьмы? — спросил я.

— Не знаю… Может, есть, — ответил Ярмола с прежним равнодушием и опять нагнулся к печке. — Старые люди говорят, что были когда-то… Может, и неправда…

Я сразу разочаровался. Характерной чертой Ярмолы была упорная несловоохотливость, и я уж не надеялся добиться от него ничего больше об этом интересном предмете. Но, к мо-

ему удивлению, он вдруг заговорил с ленивой небрежностью и как будто бы обращаясь не ко мне, а к гудевшей печке:

— Была у нас лет пять тому назад такая ведьма… Только ее хлопцы с села прогнали!

— Куда же они ее прогнали?

— Куда!.. Известно, в лес… Куда же еще? И хату ее сломали, чтобы от того проклятого кубла и щепок не осталось… А саму ее вывели за вышницы и по шее.

— За что же так с ней обошлись?

— Вреда от нее много было, ссорилась со всеми, зелье под хаты подливала, закрутки вязала в жите… Один раз просила она у нашей молодицы злот (пятнадцать копеек). Та ей говорит: «Нет у меня злота, отстань». — «Ну, добре, говорит, будешь ты помнить, как мне злотого не дала…» И что же вы думаете, панычу: с тех самых пор стало у молодицы дитя болеть. Болело, болело, да и совсем умерло. Вот тогда хлопцы ведьмаку и прогнали, пусть ей очи повылазят…

— Ну, а где же теперь эта ведьмака? — продолжал я любопытствовать.

— Ведьмака? — медленно переспросил, по своему обыкновению, Ярмола. — А я знаю?

— Разве у нее не осталось в деревне какой-ни-

будь родни?

— Нет, не осталось. Да она чужая была, из кацапок чи из цыганок… Я еще маленьким хлопцем был, когда она пришла к нам на село. И девочка с ней была: дочка или внучка… Обеих прогнали…

— А теперь к ней разве никто не ходит: погадать там или зелья какого-нибудь попросить?

— Бабы бегают, — пренебрежительно уронил Ярмола.

— Ага! Значит, все-таки известно, где она живет?

— Я не знаю… Говорят люди, что где-то около Бисова Кута она живет… Знаете — болото, что за Ириновским шляхом. Так вот в этом болоте она и сидит, трясьця ее матери.

«Ведьма живет в каких-нибудь десяти верстах от моего дома… настоящая, живая, полесская ведьма!» Эта мысль сразу заинтересовала и взволновала меня.

— Послушай, Ярмола, — обратился я к полесовщику, — а как бы мне с ней познакомиться, с этой ведьмой?

— Тьфу! — сплюнул с негодованием Ярмола. — Вот еще добро нашли.

— Добро или недобро, а я к ней все равно пойду.

Как только немного потеплеет, сейчас же и отправлюсь. Ты меня, конечно, проводишь?

Ярмолу так поразили последние слова, что он даже вскочил с полу.

— Я?! — воскликнул он с негодованием. — А и ни за что! Пусть оно там бог ведает что, а я не пойду.

— Ну вот, глупости, пойдешь.

— Нет, панычу, не пойду… ни за что не пойду… Чтобы я?! — опять воскликнул он, охваченный новым наплывом возмущения. — Чтобы я пошел до ведьмачьего кубла? Да пусть меня Бог боронит. И вам не советую, паныч.

— Как хочешь… а я все-таки пойду. Мне очень любопытно на нее посмотреть.

— Ничего там нет любопытного, — пробурчал Ярмола, с сердцем захлопывая печную дверку.

Час спустя, когда он, уже убрав самовар и напившись в темных сенях чаю, собирался идти домой, я спросил:

— Как зовут эту ведьму?

— Мануйлиха, — ответил Ярмола с грубой мрачностью.

Он хотя и не высказывал никогда своих чувств, но, кажется, сильно ко мне привязался; привязался за нашу общую страсть к охоте, за мое простое

обращение, за помощь, которую я изредка оказывал его вечно голодающей семье, а главным образом за то, что я один на всем свете не корил его пьянством, чего Ярмола терпеть не мог. Поэтому моя решимость познакомиться с ведьмой привела его в отвратительное настроение духа, которое он выразил только усиленным сопением да еще тем, что, выйдя на крыльцо, из всей силы ударил ногой в бок свою собаку — Рябчика. Рябчик отчаянно завизжал и отскочил в сторону, но тотчас же побежал вслед за Ярмолой, не переставая скулить.

III

Дня через три потеплело. Однажды утром, очень рано, Ярмола вошел в мою комнату и заявил небрежно:

— Нужно ружья почистить, паныч.

— А что? — спросил я, потягиваясь под одеялом.

— Заяц ночью сильно походил: следов много. Может, пойдем на пановку?

Я видел, что Ярмоле не терпится скорее пойти в лес, но он скрывает это страстное желание охотника под напускным равнодушием. Действительно, в передней уже стояла его одностволка,

от которой не ушел еще ни один бекас, несмотря на то что вблизи дула она была украшена несколькими оловянными заплатами, положенными в тех местах, где ржавчина и пороховые газы проели железо.

Едва войдя в лес, мы тотчас же напали на заячий след: две лапки рядом и две позади, одна за другой. Заяц вышел на дорогу, прошел по ней сажен двести и сделал с дороги огромный прыжок в сосновый молодняк.

— Ну, теперь будем обходить его, — сказал Ярмола. — Как дал столба, так тут сейчас и ляжет. Вы, паныч, идите… — он задумался, соображая по каким-то ему одному известным приметам, куда меня направить. — …Вы идите до старой корчмы. А я его обойду от Замлына. Как только собака его выгонит, я буду гукать вам.

И он тотчас же скрылся, точно нырнул в густую чащу мелкого кустарника. Я прислушался. Ни один звук не выдал его браконьерской походки, ни одна веточка не треснула под его ногами, обутыми в лыковые постолы.

Я неторопливо дошел до старой корчмы — нежилой, развалившейся хаты, и стал на опушке хвойного леса, под высокой сосной с прямым голым стволом. Было так тихо, как только бывает

в лесу зимою в безветренный день. Нависшие на ветвях пышные комья снега давили их книзу, придавая им чудесный, праздничный и холодный вид. По временам срывалась с вершины тоненькая веточка, и чрезвычайно ясно слышалось, как она, падая, с легким треском задевала за другие ветви. Снег розовел на солнце и синел в тени. Мной овладело тихое очарование этого торжественного, холодного безмолвия, и мне казалось, что я чувствую, как время медленно и бесшумно проходит мимо меня…

Вдруг далеко, в самой чаще, раздался лай Рябчика — характерный лай собаки, идущей за зверем: тоненький, заливчатый и нервный, почти переходящий в визг. Тотчас же услышал я и голос Ярмолы, кричавшего с ожесточением вслед собаке: «У — бый! У — бый!», первый слог — протяжным резким фальцетом, а второй — отрывистой басовой нотой (я только много времени спустя дознался, что этот охотничий полесский крик происходит от глагола «убивать»).

Мне казалось, судя по направлению лая, что собака гонит влево от меня, и я торопливо побежал через полянку, чтобы перехватить зверя. Но не успел я сделать и двадцати шагов, как огромный серый заяц выскочил из-за пня и, как будто не то-

ропясь, заложив назад длинные уши, высокими, редкими прыжками перебежал через дорогу и скрылся в молодняке. Следом за ним стремительно вылетел Рябчик. Увидев меня, он слабо махнул хвостом, торопливо куснул несколько раз зубами снег и опять погнал зайца.

Ярмола вдруг так же бесшумно вынырнул из чащи.

— Что же вы, паныч, не стали ему на дороге? — крикнул он и укоризненно зачмокал языком.

— Да ведь далеко было… больше двухсот шагов.

Видя мое смущение, Ярмола смягчился.

— Ну, ничего… он от нас не уйдет. Идите на Ириновский шлях, — он сейчас туда выйдет.

Я пошел по направлению Ириновского шляха и уже через минуты две услыхал, что собака опять гонит где-то недалеко от меня. Охваченный охотничьим волнением, я побежал, держа ружье наперевес, сквозь густой кустарник, ломая ветви и не обращая внимания на их жестокие удары. Я бежал так довольно долго и уже стал задыхаться, как вдруг лай собаки прекратился. Я пошел тише. Мне казалось, что если я буду идти все прямо, то непременно встречусь с Ярмолой на Ириновском шляху. Но вскоре я убедился, что во время моего

бега, огибая кусты и пни и совсем не думая о дороге, я заблудился. Тогда я начал кричать Ярмоле. Он не откликался.

Между тем машинально я шел все дальше, лес редел понемногу, почва опускалась и становилась кочковатой. След, оттиснутый на снегу моей ногой, быстро темнел и наливался водой. Несколько раз я уже проваливался по колена. Мне приходилось перепрыгивать с кочки на кочку; в покрывавшем их густом буром мху ноги тонули, точно в мягком ковре.

Кустарник скоро совсем окончился. Передо мной было большое круглое болото, занесенное снегом, из-под белой пелены которого торчали редкие кочки. На противоположном конце болота, между деревьями, выглядывали белые стены какой-то хаты. «Вероятно, здесь живет ириновский лесник, — подумал я. — Надо зайти и расспросить у него дорогу».

Но дойти до хаты было не так-то легко. Каждую минуту я увязал в трясине. Сапоги мои набрали воды и при каждом шаге громко хлюпали; становилось невмочь тянуть их за собою.

Наконец я перебрался через это болото, взобрался на маленький пригорок и теперь мог хорошо рассмотреть хату. Это даже была не хата,

а именно сказочная избушка на курьих ножках. Она не касалась полом земли, а была построена на сваях, вероятно, ввиду половодья, затопляющего весною весь Ириновский лес. Но одна сторона ее от времени осела, и это придавало избушке хромой и печальный вид. В окнах недоставало нескольких стекол; их заменили какие-то грязные ветошки, выпиравшиеся горбом наружу.

Я нажал на клямку и отворил дверь. В хате было очень темно, а у меня, после того как я долго глядел на снег, ходили перед глазами фиолетовые круги; поэтому я долго не мог разобрать, есть ли кто-нибудь в хате.

— Эй, добрые люди, кто из вас дома? — спросил я громко.

Около печки что-то завозилось. Я подошел поближе и увидал старуху, сидевшую на полу. Перед ней лежала огромная куча куриных перьев. Старуха брала отдельно каждое перо, сдирала с него бородку и клала пух в корзинку, а стержни бросала прямо на землю.

«Да ведь это — Мануйлиха, ириновская ведьма», — мелькнуло у меня в голове, едва я только повнимательнее вгляделся в старуху. Все черты бабы-яги, как ее изображает народный эпос,

были налицо: худые щеки, втянутые внутрь, переходили внизу в острый, длинный дряблый подбородок, почти соприкасавшийся с висящим вниз носом; провалившийся беззубый рот беспрестанно двигался, точно пережевывая что-то; выцветшие, когда-то голубые глаза, холодные, круглые, выпуклые, с очень короткими красными веками, глядели, точно глаза невиданной зловещей птицы.

— Здравствуй, бабка! — сказал я как можно приветливее. — Тебя уж не Мануйлихой ли зовут?

В ответ что-то заклокотало и захрипело в груди у старухи; потом из ее беззубого, шамкающего рта вырвались странные звуки, то похожие на задыхающееся карканье старой вороны, то вдруг переходившие в сиплую обрывающуюся фистулу:

— Прежде, может, и Мануйлихой звали добрые люди… А теперь зовут зовуткой, а величают уткой. Тебе что надо-то? — спросила она недружелюбно и не прекращая своего однообразного занятия.

— Да вот, бабушка, заблудился я. Может, у тебя молоко найдется?

— Нет молока, — сердито отрезала старуха. —

Много вас по лесу ходит… Всех не напоишь, не накормишь…

— Ну, бабушка, неласковая же ты до гостей.

— И верно, батюшка: совсем неласковая. Разносолов для вас не держим. Устал — посиди, никто тебя из хаты не гонит. Знаешь, как в пословице говорится: «Приходите к нам на завалинке посидеть, у нашего праздника звона послушать, а обедать к вам мы и сами догадаемся». Так-то вот…

Эти обороты речи сразу убедили меня, что старуха действительно пришлая в этом крае; здесь не любят и не понимают хлесткой, уснащенной редкими словцами речи, которой так охотно щеголяет краснобай-северянин. Между тем старуха, продолжая механически свою работу, все еще бормотала что-то себе под нос, но все тише и невнятнее. Я разбирал только отдельные слова, не имевшие между собой никакой связи: «Вот тебе и бабушка Мануйлиха… А кто такой — неведомо… Лета-то мои не маленькие… Ногами егозит, стрекочит, сокочит — чистая сорока…»

Я некоторое время молча прислушивался, и внезапная мысль, что передо мною сумасшедшая женщина, вызвала у меня ощущение брезгливого страха.

Однако я успел осмотреться вокруг себя. Бóльшую часть избы занимала огромная облупившаяся печка. Образов в переднем углу не было. По стенам, вместо обычных охотников с зелеными усами и фиолетовыми собаками и портретов никому не ведомых генералов, висели пучки засушенных трав, связки сморщенных корешков и кухонная посуда. Ни совы, ни черного кота я не заметил, но зато с печки два рябых солидных скворца глядели на меня с удивленным и недоверчивым видом.

— Бабушка, а воды-то у вас, по крайней мере, можно напиться? — спросил я, возвышая голос.

— А вон в кадке, — кивнула головой старуха.

Вода отзывала болотной ржавчиной. Поблагодарив старуху (на что она не обратила ни малейшего внимания), я спросил ее, как мне выйти на шлях.

Она вдруг подняла голову, поглядела на меня пристально своими холодными, птичьими глазами и забормотала торопливо:

— Иди, иди… Иди, молодец, своей дорогой. Нечего тут тебе делать. Хорош гость в гостинку… Ступай, батюшка, ступай…

Мне действительно ничего больше не оставалось, как уйти. Но вдруг мне пришло в голову

попытать последнее средство, чтобы хоть немного смягчить суровую старуху. Я вынул из кармана новый серебряный четвертак и протянул его Мануйлихе. Я не ошибся: при виде денег старуха зашевелилась, глаза ее раскрылись еще больше, и она потянулась за монетой своими скрюченными, узловатыми, дрожащими пальцами.

— Э, нет, бабка Мануйлиха, даром не дам, — поддразнил я ее, пряча монету. — Ну-ка, погадай мне.

Коричневое сморщенное лицо колдуньи собралось в недовольную гримасу. Она, по-видимому, колебалась и нерешительно глядела на мой кулак, где были зажаты деньги. Но жадность взяла верх.

— Ну, ну, пойдем, что ли, пойдем, — прошамкала она, с трудом подымаясь с полу. — Никому я не ворожу теперь, касатик. Забыла… Стара стала, глаза не видят. Только для тебя разве.

Держась за стену, сотрясаясь на каждом шагу сгорбленным телом, она подошла к столу, достала колоду бурых, распухших от времени карт, стасовала их и придвинула ко мне.

— Сыми-ка… Левой ручкой сыми… От сердца…

Поплевав на пальцы, она начала раскладывать кабалу. Карты падали на стол с таким звуком,

как будто бы они были сваляны из теста, и укладывались в правильную восьмиконечную звезду. Когда последняя карта легла рубашкой вверх на короля, Мануйлиха протянула ко мне руку.

— Позолоти, барин хороший… Счастлив будешь, богат будешь… — запела она попрошайническим, чисто цыганским тоном.

Я сунул ей приготовленную монету. Старуха проворно, по-обезьяньи спрятала ее за щеку.

— Большой интерес тебе выходит через дальнюю дорогу, — начала она привычной скороговоркой. — Встреча с бубновой дамой и какой-то приятный разговор в важном доме. Вскорости получишь неожиданное известие от трефового короля. Падают тебе какие-то хлопоты, а потом опять падают какие-то небольшие деньги. Будешь в большой компании, пьян будешь… Не так чтобы очень сильно, а все-таки выходит тебе выпивка. Жизнь твоя будет долгая. Если в шестьдесят лет не умрешь, то…

Вдруг она остановилась, подняла голову, точно к чему-то прислушиваясь. Я тоже насторожился. Чей-то женский голос, свежий, звонкий и сильный, пел, приближаясь к хате. Я тоже узнал слова грациозной малорусской песенки:

Ой чи цвит, чи не цвит

Калиноньку ломит.
Ой чи сон, чи не сон
Головоньку клонит.

— Ну иди, иди теперь, соколик, — тревожно засуетилась старуха, отстраняя меня рукой от стола. — Нечего тебе по чужим хатам околачиваться. Иди, куда шел…

Она даже ухватила меня за рукав моей куртки и тянула к двери. Лицо ее выражало какое-то звериное беспокойство.

Голос, певший песню, вдруг оборвался совсем близко около хаты, громко звякнула железная клямка, и в просвете быстро распахнувшейся двери показалась рослая смеющаяся девушка. Обеими руками она бережно поддерживала полосатый передник, из которого выглядывали три крошечные головки с красными шейками и черными блестящими глазенками.

— Смотри, бабушка, зяблики опять за мной увязались, — воскликнула она, громко смеясь, — посмотри, какие смешные… Голодные совсем. А у меня, как нарочно, хлеба с собой не было.

Но, увидев меня, она вдруг замолчала и вспыхнула густым румянцем. Ее топкие черные брови недовольно сдвинулись, а глаза с вопросом обра-

тились на старуху.

— Вот барин зашел… Пытает дорогу, — пояснила старуха. — Ну, батюшка, — с решительным видом обернулась она ко мне, — будет тебе прохлаждаться. Напился водицы, поговорил, да пора и честь знать. Мы тебе не компания…

— Послушай, красавица, — сказал я девушке. — Покажи мне, пожалуйста, дорогу на Ириновский шлях, а то из вашего болота во веки веков не выберешься.

Должно быть, на нее подействовал мягкий, просительный тон, который я придал этим словам. Она бережно посадила на печку, рядом со скворцами, своих зябликов, бросила на лавку скинутую уже короткую свитку и молча вышла из хаты.

Я последовал за ней.

— Это у тебя все ручные птицы? — спросил я, догоняя девушку.

— Ручные, — ответила она отрывисто и даже не взглянув на меня. — Ну вот, глядите, — сказала она, останавливаясь у плетня. — Видите тропочку, вон, вон, между соснами-то? Видите?

— Вижу…

— Идите по ней все прямо. Как дойдете до дубовой колоды, повернете налево. Так прямо, все

лесом, лесом и идите. Тут сейчас вам и будет Ириновский шлях.

В то время когда она вытянутой правой рукой показывала мне направление дороги, я невольно залюбовался ею. В ней не было ничего похожего на местных «дивчат», лица которых под уродливыми повязками, прикрывающими сверху лоб, а снизу рот и подбородок, носят такое однообразное, испуганное выражение. Моя незнакомка, высокая брюнетка лет около двадцати — двадцати пяти, держалась легко и стройно. Просторная белая рубаха свободно и красиво обвивала ее молодую, здоровую грудь. Оригинальную красоту ее лица, раз его увидев, нельзя было позабыть, но трудно было, даже привыкнув к нему, его описать. Прелесть его заключалась в этих больших, блестящих, темных глазах, которым тонкие, надломленные посредине брови придавали неуловимый оттенок лукавства, властности и наивности; в смугло-розовом тоне кожи, в своевольном изгибе губ, из которых нижняя, несколько более полная, выдавалась вперед с решительным и капризным видом.

— Неужели вы не боитесь жить одни в такой глуши? — спросил я, остановившись у забора.

Она равнодушно пожала плечами.

— Чего же нам бояться? Волки сюда не заходят.

— Да разве волки одни… Снегом вас занести может, пожар может случиться… И мало ли что еще. Вы здесь одни, вам и помочь никто не успеет.

— И слава богу! — махнула она пренебрежительно рукой. — Как бы нас с бабкой вовсе в покое оставили, так лучше бы было, а то…

— А то что?

— Много будете знать, скоро состаритесь, — отрезала она. — Да вы сами-то кто будете? — спросила она тревожно.

Я догадался, что, вероятно, и старуха и эта красавица боятся каких-нибудь утеснений со стороны «предержащих», и поспешил ее успокоить:

— О! Ты, пожалуйста, не тревожься. Я не урядник, не писарь, не акцизный, словом — я никакое начальство.

— Нет, вы правду говорите?

— Даю тебе честное слово. Ей-богу, я самый посторонний человек. Просто приехал сюда погостить на несколько месяцев, а там и уеду. Если хочешь, я даже никому не скажу, что был здесь и видел вас. Ты мне веришь?

Лицо девушки немного прояснилось.

— Ну, значит, коль не врете, так правду говорите. А вы как: раньше об нас слышали или сами

зашли?

— Да я и сам не знаю, как тебе сказать… Слышать-то я слышал, положим, и даже хотел когда-нибудь забрести к вам, а сегодня зашел случайно — заблудился… Ну, а теперь скажи, чего вы людей боитесь? Что они вам злого делают?

Она поглядела на меня с испытующим недоверием. Но совесть у меня была чиста, и я, не сморгнув, выдержал этот пристальный взгляд. Тогда она заговорила с возрастающим волнением:

— Плохо нам от них приходится… Простые люди еще ничего, а вот начальство… Приедет урядник — тащит, приедет становой — тащит. Да еще прежде, чем взять-то, над бабкой надругается: ты, говорят, ведьма, чертовка, каторжница… Эх! Да что и говорить!

— А тебя не трогают? — сорвался у меня неосторожный вопрос.

Она с надменной самоуверенностью повела головой снизу вверх, и в ее сузившихся глазах мелькнуло злое торжество…

— Не трогают… Один раз сунулся ко мне землемер какой-то… Поласкаться ему, видишь, захотелось… Так, должно быть, и до сих пор не забыл, как я его приласкала.

В этих насмешливых, но своеобразно гордых

словах прозвучало столько грубой независимости, что я невольно подумал: «Однако недаром ты выросла среди полесского бора, — с тобой и впрямь опасно шутить».

— А мы разве трогаем кого-нибудь! — продолжала она, проникаясь ко мне все большим доверием. — Нам и людей не надо. Раз в год только схожу я в местечко купить мыла да соли… Да вот еще бабушке чаю, — чай она у меня любит. А то хоть бы и вовсе никого не видеть.

— Ну, я вижу, вы с бабушкой людей не жалуете… А мне можно когда-нибудь зайти на минуточку?

Она засмеялась, и — как странно, как неожиданно изменилось ее красивое лицо! Прежней суровости в нем и следа не осталось: оно вдруг сделалось светлым, застенчивым, детским.

— Да что у нас вам делать? Мы с бабкой скучные… Что ж, заходите, пожалуй, коли вы и впрямь добрый человек. Только вот что… вы уж если когда к нам забредете, так без ружья лучше…

— Ты боишься?

— Чего мне бояться? Ничего я не боюсь. — И в ее голосе опять послышалась уверенность в своей силе. — А только не люблю я этого. Зачем бить пташек или вот зайцев тоже? Никому они

худого не делают, а жить им хочется так же, как и нам с вами. Я их люблю: они маленькие, глупые такие… Ну, однако, до свидания, — заторопилась она, — не знаю, как величать-то вас по имени… Боюсь, бабка браниться станет.

И она легко и быстро побежала в хату, наклонив вниз голову и придерживая руками разбившиеся от ветра волосы.

— Постой, постой! — крикнул я. — Как тебя зовут-то? Уж будем знакомы как следует.

Она остановилась на мгновение и обернулась ко мне.

— Аленой меня зовут… По-здешнему — Олеся.

Я вскинул ружье на плечи и пошел по указанному мне направлению. Поднявшись на небольшой холмик, откуда начиналась узкая, едва заметная лесная тропинка, я оглянулся. Красная юбка Олеси, слегка колеблемая ветром, еще виднелась на крыльце хаты, выделяясь ярким пятном на ослепительно-белом, ровном фоне снега.

Через час после меня пришел домой Ярмола. По своей обычной неохоте к праздному разговору, он ни слова не спросил меня о том, как и где я заблудился. Он только сказал как будто бы вскользь:

— Там… я зайца на кухню занес… жарить будем или пошлете кому-нибудь?

— А ведь ты не знаешь, Ярмола, где я был сегодня? — сказал я, заранее представляя себе удивление полесовщика.

— Отчего же мне не знать? — грубо проворчал Ярмола. — Известно, к ведьмакам ходили…

— Как же ты узнал это?

— А почему же мне не узнать? Слышу, что вы голоса не подаете, ну я и вернулся на ваш след… Эх, паны-ыч! — прибавил он с укоризненной досадой. — Не следовает вам такими делами заниматься… Грех!..

IV

Весна наступила в этом году ранняя, дружная и — как всегда на Полесье — неожиданная. Побежали по деревенским улицам бурливые, коричневые, сверкающие ручейки, сердито пенясь вокруг встречных каменьев и быстро вертя щепки и гусиный пух; в огромных лужах воды отразилось голубое небо с плывущими по нему круглыми, точно крутящимися, белыми облаками; с крыш посыпались частые звонкие капли. Воробьи, стаями обсыпавшие придорожные ветлы, кричали так громко и возбужденно, что

ничего нельзя было расслышать за их криком. Везде чувствовалась радостная, торопливая тревога жизни.

Снег сошел, оставшись еще кое-где грязными рыхлыми клочками в лощинах и тенистых перелесках. Из-под него выглянула обнаженная, мокрая, теплая земля, отдохнувшая за зиму и теперь полная свежих соков, полная жажды нового материнства. Над черными нивами вился легкий парок, наполнявший воздух запахом оттаявшей земли, — тем свежим, вкрадчивым и могучим пьяным запахом весны, который даже и в городе узнаешь среди сотен других запахов. Мне казалось, что вместе с этим ароматом вливалась в мою душу весенняя грусть, сладкая и нежная, исполненная беспокойных ожиданий и смутных предчувствий, — поэтическая грусть, делающая в ваших глазах всех женщин хорошенькими и всегда приправленная неопределенными сожалениями о прошлых веснах. Ночи стали теплее; в их густом влажном мраке чувствовалась незримая спешная творческая работа природы…

В эти весенние дни образ Олеси не выходил из моей головы. Мне нравилось, оставшись одному, лечь, зажмурить глаза, чтобы лучше сосредоточиться, и беспрестанно вызывать в сво-

ем воображении ее то суровое, то лукавое, то сияющее нежной улыбкой лицо, ее молодое тело, выросшее в приволье старого бора так же стройно и так же могуче, как растут молодые елочки, ее свежий голос, с неожиданными низкими бархатными нотками… «Во всех ее движениях, в ее словах, — думал я, — есть что-то благородное (конечно, в лучшем смысле этого довольно пошлого слова), какая-то врожденная изящная умеренность…» Также привлекал меня к Олесе и некоторый ореол окружавшей ее таинственности, суеверная репутация ведьмы, жизнь в лесной чаще среди болота и в особенности — эта гордая уверенность в свои силы, сквозившая в немногих обращенных ко мне словах.

Нет ничего мудреного, что, как только немного просохли лесные тропинки, я отправился в избушку на курьих ножках. На случай если бы понадобилось успокоить ворчливую старуху, я захватил с собою полфунта чаю и несколько пригоршен кусков сахару.

Я застал обеих женщин дома. Старуха возилась около ярко пылавшей печи, а Олеся пряла лен, сидя на очень высокой скамейке; когда я, входя, стукнул дверь, она обернулась, нитка оборвалась под ее руками, и веретено покатилось по полу.

Старуха некоторое время внимательно и сердито вглядывалась в меня, сморщившись и заслоняя лицо ладонью от жара печки.

— Здравствуй, бабуся! — сказал я громким, бодрым голосом. — Не узнаешь, должно быть, меня? Помнишь, я в прошлом месяце заходил про дорогу спрашивать? Ты мне еще гадала?

— Ничего не помню, батюшка, — зашамкала старуха, недовольно тряся головой, — ничего не помню. И что ты у нас позабыл — никак не пойму. Что мы тебе за компания? Мы люди простые, серые… Нечего тебе у нас делать. Лес велик, есть место, где разойтись… так-то…

Ошеломленный нелюбезным приемом, я совсем потерялся и очутился в том глупом положении, когда не знаешь, что делать: обратить ли грубость в шутку, или самому рассердиться, или, наконец, не сказав ни слова, повернуться и уйти назад. Невольно я повернулся с беспомощным выражением к Олесе. Она чуть-чуть улыбнулась с оттенком незлой насмешки, встала из-за прялки и подошла к старухе.

— Не бойся, бабка, — сказала она примирительно, — это не лихой человек, он нам худого не сделает. Милости просим садиться, — прибавила она, указывая мне на лавку в переднем

углу и не обращая более внимания на воркотню старухи.

Ободренный ее вниманием, я догадался выдвинуть самое решительное средство.

— Какая же ты сердитая, бабуся… Чуть гости на порог, а ты сейчас и бранишься. А я было тебе гостинцу принес, — сказал я, доставая из сумки свои свертки.

Старуха бросила быстрый взгляд на свертки, но тотчас же отвернулась к печке.

— Никаких мне твоих гостинцев не нужно, — проворчала она, ожесточенно разгребая кочергой уголья. — Знаем мы тоже гостей этих. Сперва без мыла в душу лезут, а потом… Что у тебя в кулечке-то? — вдруг обернулась она ко мне.

Я тотчас же вручил ей чай и сахар. Это подействовало на старуху смягчающим образом, и хотя она и продолжала ворчать, но уже не в прежнем, непримиримом тоне.

Олеся села опять за пряжу, а я поместился около нее на низкой, короткой и очень шаткой скамеечке. Левой рукой Олеся быстро сучила белую, мягкую, как шелк, кудель, а в правой у нее с легким жужжанием крутилось веретено, которое она то пускала падать почти до земли, то ловко подхватывала его и коротким движением

пальцев опять заставляла вертеться. Эта работа, такая простая на первый взгляд, но, в сущности, требующая огромного, многовекового навыка и ловкости, так и кипела в ее руках. Невольно я обратил внимание на эти руки: они загрубели и почернели от работы, но были невелики и такой красивой формы, что им позавидовали бы многие благовоспитанные девицы.

— А вот вы мне тогда не сказали, что вам бабка гадала, — произнесла Олеся. И, видя, что я опасливо обернулся назад, она прибавила: — Ничего, ничего, она немного на ухо туга, не услышит. Она только мой голос хорошо разбирает.

— Да, гадала. А что?

— Да так себе… Просто спрашиваю… А вы верите? — кинула она на меня украдкой быстрый взгляд.

— Чему? Тому, что твоя бабка мне гадала, или вообще?

— Нет, вообще…

— Как сказать, вернее будет, что не верю, а все-таки почем знать? Говорят, бывают случаи… Даже в умных книгах об них напечатано. А вот тому, что твоя бабка говорила, так совсем не верю. Так и любая баба деревенская сумеет поворожить.

Олеся улыбнулась.

— Да, это правда, что она теперь плохо гадает. Стара стала, да и боится она очень. А что вам карты сказали?

— Ничего интересного не было. Я теперь и не помню. Что обыкновенно говорят: дальняя дорога, трефовый интерес… Я и позабыл даже.

— Да, да, плохая она стала ворожка. Слова многие позабыла от старости… Куда ж ей? Да и опасается она. Разве только деньги увидит, так согласится.

— Чего же она боится?

— Известно чего — начальства боится… Урядник приедет, так завсегда грозит: «Я, говорит, тебя во всякое время могу упрятать. Ты знаешь, говорит, что вашему брату за чародейство полагается? Ссылка в каторжную работу, без сроку, на Соколиный остров». Как вы думаете, врет он это или нет?

— Нет, врать он не врет; действительно за это что-то полагается, но уже не так страшно… Ну, а ты, Олеся, умеешь гадать?

Она как будто бы немного замялась, но всего лишь на мгновение.

— Гадаю… Только не за деньги, — добавила она поспешно.

— Может быть, ты и мне кинешь карты?

— Нет, — тихо, но решительно ответила она, покачав головой.

— Почему же ты не хочешь? Ну, не теперь, так когда-нибудь после… Мне почему-то кажется, что ты мне правду скажешь.

— Нет. Не стану. Ни за что не стану.

— Ну, уж это нехорошо, Олеся. Ради первого знакомства нельзя отказывать… Почему ты не согласна?

— Потому что я на вас уже бросала карты, в другой раз нельзя…

— Нельзя? Отчего же? Я этого не понимаю.

— Нет, нет, нельзя… нельзя… — зашептала она с суеверным страхом. — Судьбу нельзя два раза пытать… Не годится… Она узнает, подслушает… Судьба не любит, когда ее спрашивают. Оттого все ворожки несчастные.

Я хотел ответить Олесе какой-нибудь шуткой и не мог: слишком много искреннего убеждения было в ее словах, так что даже, когда она, упомянув про судьбу, со странной боязнью оглянулась на дверь, я невольно повторил это движение.

— Ну, если не хочешь мне погадать, так расскажи, что у тебя тогда вышло? — попросил я.

Олеся вдруг бросила прялку и притронулась рукой к моей руке.

— Нет… Лучше не надо, — сказала она, и ее глаза приняли умоляюще-детское выражение. — Пожалуйста, не просите… Нехорошо вам вышло… Не просите лучше…

Но я продолжал настаивать. Я не мог разобрать: был ли ее отказ и темные намеки на судьбу наигранным приемом гадалки, или она действительно сама верила в то, о чем говорила, но мне стало как-то не по себе, почти жутко.

— Ну хорошо, я, пожалуй, скажу, — согласилась наконец Олеся. — Только смотрите, уговор лучше денег: не сердиться, если вам что не понравится. Вышло вам вот что: человек вы хотя и добрый, но только слабый… Доброта ваша не хорошая, не сердечная. Слову вы своему не господин. Над людьми любите верх брать, а сами им хотя и не хотите, но подчиняетесь. Вино любите, а также… Ну да все равно, говорить, так уже все по порядку… До нашей сестры больно охочи, и через это вам много в жизни будет зла… Деньгами вы не дорожите и копить их не умеете — богатым никогда не будете… Говорить дальше?

— Говори, говори! Все, что знаешь, говори!

— Дальше вышло, что жизнь ваша будет невеселая. Никого вы сердцем не полюбите, потому что сердце у вас холодное, ленивое, а тем, которые вас

будут любить, вы много горя принесете. Никогда вы не женитесь, так холостым и умрете. Радостей вам в жизни больших не будет, но будет много скуки и тяготы… Настанет такое время, что руки сами на себя наложить захотите… Такое у вас дело одно выйдет… Но только не посмеете, так снесете… Сильную нужду будете терпеть, однако под конец жизни судьба ваша переменится через смерть какого-то близкого вам человека и совсем для вас неожиданно. Только все это будет еще через много лет, а вот в этом году… Я не знаю, уж когда именно, — карты говорят, что очень скоро… Может быть, даже и в этом месяце…

— Что же случится в этом году? — спросил я, когда она опять остановилась.

— Да уж боюсь даже говорить дальше. Падает вам большая любовь со стороны какой-то трефовой дамы. Вот только не могу догадаться, замужняя она или девушка, а знаю, что с темными волосами…

Я невольно бросил быстрый взгляд на голову Олеси.

— Что вы смотрите? — покраснела вдруг она, почувствовав мой взгляд с пониманием, свойственным некоторым женщинам. — Ну да, вроде моих, — продолжала она, машинально поправ-

ляя волосы и еще больше краснея.

— Так ты говоришь — большая трефовая любовь? — шутил я.

— Не смейтесь, не надо смеяться, — серьезно, почти строго, заметила Олеся. — Я вам все только правду говорю.

— Ну хорошо, не буду, не буду. Что же дальше?

— Дальше… Ох! Нехорошо выходит этой трефовой даме, хуже смерти. Позор она через вас большой примет, такой, что во всю жизнь забыть нельзя, печаль долгая ей выходит… А вам в ее планете ничего дурного не выходит.

— Послушай, Олеся, а не могли ли тебя карты обмануть? Зачем же я буду трефовой даме столько неприятностей делать? Человек я тихий, скромный, а ты столько страхов про меня наговорила.

— Ну, уж этого я не знаю. Да и вышло-то так, что не вы это сделаете, — не нарочно, значит, а только через вас вся эта беда стрясется… Вот когда мои слова сбудутся, вы меня тогда вспомните.

— И все это тебе карты сказали, Олеся?

Она ответила не сразу, уклончиво и как будто бы неохотно:

— И карты… Да я и без них узнаю много, вот хоть бы по лицу. Если, например, который чело-

век должен скоро нехорошей смертью умереть, я это сейчас у него на лице прочитаю, даже говорить мне с ним не нужно.

— Что же ты видишь у него в лице?

— Да я и сама не знаю. Страшно мне вдруг сделается, точно он неживой передо мной стоит. Вот хоть у бабушки спросите, она вам скажет, что я правду говорю. Трофим, мельник, в позапрошлом году у себя на млине удавился, а я его только за два дня перед тем видела и тогда же сказала бабушке: «Вот посмотри, бабуся, что Трофим на днях дурной смертью умрет». Так оно и вышло. А на прошлые святки зашел к нам конокрад Яшка, просил бабушку погадать. Бабушка разложила на него карты, стала ворожить. А он шутя спрашивает: «Ты мне скажи, бабка, какой я смертью умру?» А сам смеется. Я как поглядела на него, так и пошевельнуться не могу: вижу, сидит Яков, а лицо у него мертвое, зеленое… Глаза закрыты, а губы черные… Потом, через неделю, слышим, что поймали мужики Якова, когда он лошадей хотел свести… Всю ночь его били… Злой у нас народ здесь, безжалостный… В пятки гвозди ему заколотили, перебили кольями все ребра; а к утру из него и дух вон.

— Отчего же ты ему не сказала, что его беда

ждет?

— А зачем говорить? — возразила Олеся. — Что у судьбы положено, разве от этого убежишь? Только бы понапрасну человек свои последние дни тревожился… Да мне и самой гадко, что я так вижу, сама себе я противна делаюсь… Только что ж? Это ведь у меня от судьбы. Бабка моя, когда помоложе была, тоже смерть узнавала, и моя мать тоже, и бабкина мать — это не от нас… это в нашей крови так.

Она перестала прясть и сидела, низко опустив голову, тихо положив руки вдоль колен. В ее неподвижно остановившихся глазах с расширившимися зрачками отразился какой-то темный ужас, какая-то невольная покорность таинственным силам и сверхъестественным знаниям, осенявшим ее душу.

V

В это время старуха разостлала на столе чистое полотенце с вышитыми концами и поставила на него дымящийся горшок.

— Иди ужинать, Олеся, — позвала она внучку и после минутного колебания прибавила, обращаясь ко мне, — может быть, и вы, господин, с нами откушаете? Милости просим… Только

неважные у нас кушанья-то, супов не варим, а просто крупничок полевой…

Нельзя сказать, чтобы ее приглашение отзывалось особенной настойчивостью, и я уже было хотел отказаться от него, но Олеся, в свою очередь, попросила меня с такой милой простотой и с такой ласковой улыбкой, что я поневоле согласился. Она сама налила мне полную тарелку крупника — похлебки из гречневой крупы с салом, луком, картофелем и курицей — чрезвычайно вкусного и питательного кушанья. Садясь за стол, ни бабушка, ни внучка не перекрестились. За ужином я не переставал наблюдать за обеими женщинами, потому что, по моему глубокому убеждению, которое я и до сих пор сохраняю, нигде человек не высказывается так ясно, как во время еды. Старуха глотала крупник с торопливой жадностью, громко чавкая и запихивая в рот огромные куски хлеба, так что под ее дряблыми щеками вздувались и двигались большие гули. У Олеси даже в манере есть была какая-то врожденная порядочность.

Спустя час после ужина я простился с хозяйками избушки на курьих ножках.

— Хотите, я вас провожу немножко? — предложила Олеся.

— Какие такие проводы еще выдумала! — сердито прошамкала старуха. — Не сидится тебе на месте, стрекоза…

Но Олеся уже накинула на голову красный кашемировый платок и вдруг, подбежав к бабушке, обняла ее и звонко поцеловала.

— Бабушка! Милая, дорогая, золотая… я только на минуточку, сейчас и назад.

— Ну ладно, уж ладно, верченая, — слабо отбивалась от нее старуха. — Вы, господин, не обессудьте: совсем дурочка она у меня.

Пройдя узкую тропинку, мы вышли на лесную дорогу, черную от грязи, всю истоптанную следами копыт и изборожденную колеями, полными воды, в которой отражался пожар вечерней зари. Мы шли обочиной дороги, сплошь покрытой бурыми прошлогодними листьями, еще не высохшими после снега. Кое-где сквозь их мертвую желтизну подымали свои лиловые головки крупные колокольчики «сна» — первого цветка Полесья.

— Послушай, Олеся, — начал я, — мне очень хочется спросить тебя кое о чем, да я боюсь, что ты рассердишься… Скажи мне, правду ли говорят, что твоя бабка… как бы это выразиться?..

— Колдунья? — спокойно помогла мне Олеся.

— Нет… Не колдунья… — замялся я. — Ну да, если хочешь — колдунья… Конечно, ведь мало ли что болтают… Почему ей просто-напросто не знать каких-нибудь трав, средств, заговоров?.. Впрочем, если тебе это неприятно, ты можешь не отвечать.

— Нет, отчего же, — отозвалась она просто, — что ж тут неприятного? Да, она, правда, колдунья. Но только теперь она стала стара и уж не может делать того, что делала раньше.

— Что же она умела делать? — полюбопытствовал я.

— Разное. Лечить умела, от зубов пользовала, руду заговаривала, отчитывала, если кого бешеная собака укусит или змея, клады указывала… да всего и не перечислишь.

— Знаешь что, Олеся?.. Ты меня извини, а я ведь этому всему не верю. Ну, будь со мною откровенна, я тебя никому не выдам: ведь все это — одно притворство, чтобы только людей морочить?

Она равнодушно пожала плечами.

— Думайте, как хотите. Конечно, бабу деревенскую обморочить ничего не стоит, но вас бы я не стала обманывать.

— Значит, ты твердо веришь колдовству?

— Да как же мне не верить? Ведь у нас в роду

чары… Я и сама многое умею.

— Олеся, голубушка… Если бы ты знала, как мне это интересно… Неужели ты мне ничего не покажешь?

— Отчего же, покажу, если хотите, — с готовностью согласилась Олеся. — Сейчас желаете?

— Да, если можно, сейчас.

— А бояться не будете?

— Ну вот глупости. Ночью, может быть, боялся бы, а теперь еще светло.

— Хорошо. Дайте мне руку.

Я повиновался. Олеся быстро засучила рукав моего пальто и расстегнула запонку у манжетки, потом достала из своего кармана небольшой, вершка в три, финский ножик и вынула его из кожаного чехла.

— Что ты хочешь делать? — спросил я, чувствуя, как во мне шевельнулось подленькое опасение.

— А вот сейчас… Ведь вы же сказали, что не будете бояться!

Вдруг рука ее сделала едва заметное легкое движение, и я ощутил в мякоти руки, немного выше того места, где щупают пульс, раздражающее прикосновение острого лезвия. Кровь тотчас же выступила во всю ширину пореза, полилась

по руке и частыми каплями закапала на землю. Я едва удержался от того, чтобы не крикнуть, но, кажется, побледнел.

— Не бойтесь, живы останетесь, — усмехнулась Олеся.

Она крепко обхватила рукой мою руку повыше раны и, низко склонившись к ней лицом, стала быстро шептать что-то, обдавая мою кожу горячим прерывистым дыханием. Когда же Олеся выпрямилась и разжала свои пальцы, то на пораненном месте осталась только красная царапина.

— Ну что? Довольно с вас? — с лукавой улыбкой спросила она, пряча свой ножик. — Хотите еще?

— Конечно, хочу. Только, если бы можно было, не так уж страшно и без кровопролития, пожалуйста.

— Что бы вам такое показать? — задумалась она. — Ну хоть разве это вот: идите впереди меня по дороге… Только, смотрите, не оборачивайтесь назад.

— А это не будет страшно? — спросил я, стараясь беспечной улыбкой прикрыть боязливое ожидание неприятного сюрприза.

— Нет, нет… Пустяки… Идите.

Я пошел вперед, очень заинтересованный опы-

том, чувствуя за своей спиной напряженный взгляд Олеси. Но, пройдя около двадцати шагов, я вдруг споткнулся на совсем ровном месте и упал ничком.

— Идите, идите! — закричала Олеся. — Не оборачивайтесь! Это ничего, до свадьбы заживет… Держитесь крепче за землю, когда будете падать.

Я пошел дальше. Еще десять шагов, и я вторично растянулся во весь рост.

Олеся громко захохотала и захлопала в ладоши.

— Ну что? Довольны? — крикнула она, сверкая своими белыми зубами. — Верите теперь? Ничего, ничего!.. Полетели не вверх, а вниз.

— Как ты это сделала? — с удивлением спросил я, отряхиваясь от приставших к моей одежде веточек и сухих травинок. — Это не секрет?

— Вовсе не секрет. Я вам с удовольствием расскажу. Только боюсь, что, пожалуй, вы не поймете… Не сумею я объяснить…

Я действительно не совсем понял ее. Но, если не ошибаюсь, этот своеобразный фокус состоит в том, что она, идя за мною следом шаг за шагом, нога в ногу, и неотступно глядя на меня, в то же время старается подражать каждому, самому малейшему моему движению, так сказать, ото-

жествляет себя со мною. Пройдя таким образом несколько шагов, она начинает мысленно воображать на некотором расстоянии впереди меня веревку, протянутую поперек дороги на аршин от земли. В ту минуту, когда я должен прикоснуться ногой к этой воображаемой веревке, Олеся вдруг делает падающее движение, и тогда, по ее словам, самый крепкий человек должен непременно упасть… Только много времени спустя я вспомнил сбивчивое объяснение Олеси, когда читал отчет доктора Шарко об опытах, произведенных им над двумя пациентками Сальпетриера, профессиональными колдуньями, страдавшими истерией. И я был очень удивлен, узнав, что французские колдуньи из простонародья прибегали в подобных случаях совершенно к той же сноровке, какую пускала в ход хорошенькая полесская ведьма.

— О! Я еще много чего умею, — самоуверенно заявила Олеся. — Например, я могу нагнать на вас страх.

— Что это значит?

— Сделаю так, что вам страшно станет. Сидите вы, например, у себя в комнате вечером, и вдруг на вас найдет ни с того ни с сего такой страх, что вы задрожите и оглянуться не посмеете. Только

для этого мне нужно знать, где вы живете, и раньше видеть вашу комнату.

— Ну, уж это совсем просто, — усомнился я. — Подойдешь к окну, постучишь, крикнешь что-нибудь.

— О нет, нет… Я буду в лесу в это время, никуда из хаты не выйду… Но я буду сидеть и все думать, что вот я иду по улице, вхожу в ваш дом, отворяю двери, вхожу в вашу комнату… Вы сидите где-нибудь… ну хоть у стола… я подкрадываюсь к вам сзади тихонько… вы меня не слышите… я хватаю вас за плечо руками и начинаю давить… все крепче, крепче, крепче… а сама гляжу на вас… вот так — смотрите…

Ее тонкие брови вдруг сдвинулись, глаза в упор остановились на мне с грозным и притягивающим выражением, зрачки увеличились и посинели. Мне тотчас же вспомнилась виденная мною в Москве, в Третьяковской галерее, голова Медузы — работа уж не помню какого художника. Под этим пристальным, странным взглядом меня охватил холодный ужас сверхъестественного.

— Ну полно, полно, Олеся… будет, — сказал я с деланным смехом. — Мне гораздо больше нравится, когда ты улыбаешься, — тогда у тебя такое

милое, детское лицо.

Мы пошли дальше. Мне вдруг вспомнилась выразительность и даже для простой девушки изысканность фраз в разговоре Олеси, и я сказал:

— Знаешь, что меня удивляет в тебе, Олеся? Вот ты выросла в лесу, никого не видавши… Читать ты, конечно, тоже много не могла…

— Да я вовсе не умею и читать-то.

— Ну, тем более… А между тем ты так хорошо говоришь, не хуже настоящей барышни. Скажи мне, откуда у тебя это? Понимаешь, о чем я спрашиваю?

— Да, понимаю. Это все от бабушки… Вы не глядите, что она такая с виду. У! Какая она умная! Вот, может быть, она и при вас разговорится, когда побольше привыкнет… Она все знает, ну просто все на свете, про что ни спросишь. Правда, постарела она теперь.

— Значит, она много видела на своем веку? Откуда она родом? Где она раньше жила?

Кажется, эти вопросы не понравились Олесе. Она ответила не сразу, уклончиво и неохотно:

— Не знаю… Да она об этом и не любит говорить. Если же когда и скажет что, то всегда просит забыть и не вспоминать больше… Ну, однако, мне пора, — заторопилась Олеся, — бабушка

будет сердиться. До свиданья… Простите, имени вашего не знаю.

Я назвался.

— Иван Тимофеевич? Ну, вот и отлично. Так до свиданья, Иван Тимофеевич! Не брезгуйте нашей хатой, заходите.

На прощанье я протянул ей руку, и ее маленькая крепкая рука ответила мне сильным, дружеским пожатием.

VI

С этого дня я стал частым гостем в избушке на курьих ножках. Каждый раз, когда я приходил, Олеся встречала меня с своим привычным сдержанным достоинством. Но всегда, по первому невольному движению, которое она делала, увидев меня, я замечал, что она радуется моему приходу. Старуха по-прежнему не переставала бурчать что-то себе под нос, но явного недоброжелательства не выражала благодаря невидимому для меня, но несомненному заступничеству внучки; также немалое влияние в благотворном для меня смысле оказывали приносимые мною кое-когда подарки: то теплый платок, то банка варенья, то бутылка вишневой наливки. У нас с Олесей, точно по безмолвному обоюд-

ному уговору, вошло в обыкновение, что она меня провожала до Ириновского шляха, когда я уходил домой. И всегда у нас в это время завязывался такой живой, интересный разговор, что мы оба старались поневоле продлить дорогу, идя как можно тише безмолвными лесными опушками. Дойдя до Ириновского шляха, я ее провожал обратно с полверсты, и все-таки, прежде чем проститься, мы еще долго разговаривали, стоя под пахучим навесом сосновых ветвей.

Не одна красота Олеси меня в ней очаровывала, но также и ее цельная, самобытная, свободная натура, ее ум, одновременно ясный и окутанный непоколебимым наследственным суеверием, детски невинный, но и не лишенный лукавого кокетства красивой женщины. Она не уставала меня расспрашивать подробно обо всем, что занимало и волновало ее первобытное, яркое воображение: о странах и народах, об явлениях природы, об устройстве земли и вселенной, об ученых людях, о больших городах... Многое ей казалось удивительным, сказочным, неправдоподобным. Но я с самого начала нашего знакомства взял с нею такой серьезный, искренний и простой тон, что она охотно принимала на бесконтрольную веру все мои рассказы.

Иногда, затрудняясь объяснить ей что-нибудь, слишком, по моему мнению, непонятное для ее полудикарской головы (а иной раз и самому мне не совсем ясное), я возражал на ее жадные вопросы: «Видишь ли… Я не сумею тебе этого рассказать… Ты не поймешь меня».

Тогда она принималась меня умолять:

— Нет, пожалуйста, пожалуйста, я постараюсь… Вы хоть как-нибудь скажите… хоть и непонятно…

Она принуждала меня пускаться в чудовищные сравнения, в самые дерзкие примеры, и если я затруднялся подыскать выражение, она сама помогала мне целым дождем нетерпеливых вопросов, вроде тех, которые мы предлагаем заике, мучительно застрявшему на одном слове. И действительно, в конце концов ее гибкий, подвижный ум и свежее воображение торжествовали над моим педагогическим бессилием. Я поневоле убеждался, что для своей среды, для своего воспитания (или, вернее сказать, отсутствия его) она обладала изумительными способностями.

Однажды я вскользь упомянул что-то про Петербург. Олеся тотчас же заинтересовалась:

— Что такое Петербург? Местечко?

— Нет, это не местечко; это самый большой

русский город.

— Самый большой? Самый, самый, что ни на есть? И больше его нету? — наивно пристала она ко мне.

— Ну да… Там все главное начальство живет… господа большие… Дома там все каменные, деревянных нет.

— Уж, конечно, гораздо больше нашей Степани? — уверенно спросила Олеся.

— О да… немножко побольше… так, раз в пятьсот. Там такие есть дома, в которых в каждом народу живет вдвое больше, чем во всей Степани.

— Ах, боже мой! Какие же это дома? — почти в испуге спросила Олеся.

Мне пришлось, по обыкновению, прибегнуть к сравнению.

— Ужасные дома. В пять, в шесть, а то и семь этажей. Видишь вот ту сосну?

— Самую большую? Вижу.

— Так вот такие высокие дома. И сверху донизу набиты людьми. Живут эти люди в маленьких конурках, точно птицы в клетках, человек по десяти в каждой, так что всем и воздуху-то не хватает. А другие внизу живут, под самой землей, в сырости и холоде; случается, что солнца

у себя в комнате круглый год не видят.

— Ну, уж я б ни за что не променяла своего леса на ваш город, — сказала Олеся, покачав головой. — Я и в Степань-то приду на базар, так мне противно сделается. Толкаются, шумят, бранятся… И такая меня тоска возьмет за лесом, — так бы бросила все и без оглядки побежала… Бог с ним, с городом вашим, не стала бы я там жить никогда.

— Ну, а если твой муж будет из города? — спросил я с легкой улыбкой.

Ее брови нахмурились, и тонкие ноздри дрогнули.

— Вот еще! — сказала она с пренебрежением. — Никакого мне мужа не надо.

— Это ты теперь только так говоришь, Олеся. Почти все девушки то же самое говорят и все же замуж выходят. Подожди немного: встретишься с кем-нибудь, полюбишь — тогда не только в город, а на край света с ним пойдешь.

— Ах, нет, нет… пожалуйста, не будем об этом, — досадливо отмахнулась она. — Ну к чему этот разговор?.. Прошу вас, не надо.

— Какая ты смешная, Олеся. Неужели ты думаешь, что никогда в жизни не полюбишь мужчину? Ты — такая молодая, красивая, силь-

ная. Если в тебе кровь загорится, то уж тут не до зароков будет.

— Ну что ж — и полюблю! — сверкнув глазами, с вызовом ответила Олеся. — Спрашиваться ни у кого не буду…

— Стало быть, и замуж пойдешь, — поддразнил я.

— Это вы, может быть, про церковь говорите? — догадалась она.

— Конечно, про церковь… Священник вокруг аналоя будет водить, дьякон запоет «Исаия ликуй», на голову тебе наденут венец…

Олеся опустила веки и со слабой улыбкой отрицательно покачала головой.

— Нет, голубчик… Может быть, вам и не понравится, что я скажу, а только у нас в роду никто не венчался: и мать и бабка без этого прожили… Нам в церковь и заходить-то нельзя…

— Все из-за колдовства вашего?

— Да, из-за нашего колдовства, — со спокойной серьезностью ответила Олеся. — Как же я посмею в церковь показаться, если уже от самого рождения моя душа продана ***ему***.

— Олеся… Милая… Поверь мне, что ты сама себя обманываешь… Ведь это дико, это смешно, что ты говоришь.

На лице Олеси опять показалось уже замеченное мною однажды странное выражение убежденной и мрачной покорности своему таинственному предназначению.

— Нет, нет… Вы этого не можете понять, а я это чувствую… Вот здесь, — она крепко притиснула руку к груди, — в душе чувствую. Весь наш род проклят во веки веков. Да вы посудите сами: кто же нам помогает, как не ***он***? Разве может простой человек сделать то, что я могу? Вся наша сила от ***него*** идет.

И каждый раз наш разговор, едва коснувшись этой необычайной темы, кончался подобным образом. Напрасно я истощал все доступные пониманию Олеси доводы, напрасно говорил в простой форме о гипнотизме, о внушении, о докторах-психиатрах и об индийских факирах, напрасно старался объяснить ей физиологическим путем некоторые из ее опытов, хотя бы, например, заговаривание крови, которое так просто достигается искусным нажатием на вену, — Олеся, такая доверчивая ко мне во всем остальном, с упрямой настойчивостью опровергала все мои доказательства и объяснения… «Ну, хорошо, хорошо, про заговор крови я вам, так и быть, поверю, — говорила она, возвышая голос

в увлечении спора, — а откуда же другое берется? Разве я одно только и знаю, что кровь заговаривать? Хотите, я вам в один день всех мышей и тараканов выведу из хаты? Хотите, я в два дня вылечу простой водой самую сильную огневицу, хоть бы все ваши доктора от больного отказались? Хотите, я сделаю так, что вы какое-нибудь одно слово совсем позабудете? А сны почему я разгадываю? А будущее почему узнаю?»

Кончался этот спор всегда тем, что и я и Олеся умолкали не без внутреннего раздражения друг против друга. Действительно, для многого из ее черного искусства я не умел найти объяснения в своей небольшой науке. Я не знаю и не могу сказать, обладала ли Олеся и половиной тех секретов, о которых говорила с такой наивной верой, но то, чему я сам бывал нередко свидетелем, вселило в меня непоколебимое убеждение, что Олесе были доступны те бессознательные, инстинктивные, туманные, добытые случайным опытом, странные знания, которые, опередив точную науку на целые столетия, живут, перемешавшись со смешными и дикими поверьями, в темной, замкнутой народной массе, передаваясь как величайшая тайна из поколения в поколение.

Несмотря на резкое разногласие в этом единственном пункте, мы все сильнее и крепче привязывались друг к другу. О любви между нами не было сказано еще ни слова, но быть вместе для нас уже сделалось потребностью, и часто в молчаливые минуты, когда наши взгляды нечаянно и одновременно встречались, я видел, как увлажнялись глаза Олеси и как билась тоненькая голубая жилка у нее на виске…

Зато мои отношения с Ярмолой совсем испортились. Для него, очевидно, не были тайной мои посещения избушки на курьих ножках и вечерние прогулки с Олесей: он всегда с удивительной точностью знал все, что происходит в ***его*** лесу. С некоторого времени я заметил, что он начинает избегать меня. Его черные глаза следили за мною издали с упреком и неудовольствием каждый раз, когда я собирался идти в лес, хотя порицания своего он не высказывал ни одним словом. Наши комически серьезные занятия грамотой прекратились. Если же я иногда вечером звал Ярмолу учиться, он только махал рукой.

— Куда там! Пустое это дело, паныч, — говорил он с ленивым презрением.

На охоту мы тоже перестали ходить. Всякий раз, когда я подымал об этом разговор, у Ярмолы

находился какой-нибудь предлог для отказа: то ружье у него не исправно, то собака больна, то ему самому некогда. «Нема часу, паныч… нужно пашню сегодня орать», — чаще всего отвечал Ярмола на мое приглашение, в я отлично знал, что он вовсе не будет «орать пашню», а проведет целый день около монополии в сомнительной надежде на чье-нибудь угощение. Эта безмолвная, затаенная вражда начинала меня утомлять, и я уже подумывал о том, чтобы отказаться от услуг Ярмолы, воспользовавшись для этого первым подходящим предлогом… Меня останавливало только чувство жалости к его огромной нищей семье, которой четыре рубля Ярмолова жалованья помогали не умереть с голода.

VII

Однажды, когда я, по обыкновению, пришел перед вечером в избушку на курьих ножках, мне сразу бросилось в глаза удрученное настроение духа ее обитательниц. Старуха сидела с ногами на постели и, сгорбившись, обхватив голову руками, качалась взад и вперед и что-то невнятно бормотала. На мое приветствие она не обратила никакого внимания. Олеся поздоровалась со мной, как и всегда, ласково, но разговор у нас

не вязался. По-видимому, она слушала меня рассеянно и отвечала невпопад. На ее красивом лице лежала тень какой-то беспрестанной внутренней заботы.

— Я вижу, у вас случилось что-то нехорошее, Олеся, — сказал я, осторожно прикасаясь рукой к ее руке, лежавшей на скамейке.

Олеся быстро отвернулась к окну, точно разглядывая там что. Она старалась казаться спокойной, но ее брови сдвинулись и задрожали, а зубы крепко прикусили нижнюю губу.

— Нет… что же у нас могло случиться особенного? — произнесла она глухим голосом. — Все как было, так и осталось.

— Олеся, зачем ты говоришь мне неправду? Это нехорошо с твоей стороны… А я было думал, что мы с тобой совсем друзьями стали.

— Право же, ничего нет… Так… свои заботы, пустячные…

— Нет, Олеся, должно быть, не пустячные. Посмотри — ты сама на себя непохожа сделалась.

— Это вам так кажется только.

— Будь же со мной откровенна, Олеся. Не знаю, смогу ли я тебе помочь, но, может быть, хоть совет какой-нибудь дам… Ну, наконец, просто тебе

легче станет, когда поделишься горем.

— Ах, да правда, не стоит и говорить об этом, — с нетерпением возразила Олеся. — Ничем вы тут нам не можете пособить.

Старуха вдруг с небывалой горячностью вмешалась в наш разговор:

— Чего ты фордыбачишься, дурочка! Тебе дело говорят, а ты нос дерешь. Точно умнее тебя и на свете-то нет никого. Позвольте, господин, я вам всю эту историю расскажу по порядку, — повернулась она в мою сторону.

Размеры неприятности оказались гораздо значительнее, чем я мог предположить из слов гордой Олеси. Вчера вечером в избушку на курьих ножках заезжал местный урядник.

— Сначала-то он честь честью сел и водки потребовал, — говорила Мануйлиха, — а потом и пошел и пошел. «Выбирайся, говорит, из хаты в двадцать четыре часа со всеми своими потрохами. Если, говорит, я в следующий раз приеду и застану тебя здесь, так и знай, не миновать тебе этапного порядка. При двух, говорит, солдатах отправлю тебя, анафему, на родину». А моя родина, батюшка, далекая, город Амченск… У меня там теперь и души знакомой нет, да и пачпорта наши просрочены-распросрочены, да еще к тому

неисправные. Ах ты, господи, несчастье мое!

— Почему же он раньше позволял тебе жить, а только теперь надумался? — спросил я.

— Да вот поди ж ты… Брехал он что-то такое, да я, признаться, не поняла. Видишь, какое дело: хибарка эта, вот в которой мы живем, не наша, а помещичья. Ведь мы раньше с Олесей на селе жили, а потом…

— Знаю, знаю, бабушка, слышал об этом… Мужики на тебя рассердились…

— Ну вот это самое. Я тогда у старого помещика, господина Абросимова, эту халупу выпросила. Ну, а теперь будто бы купил лес новый помещик и будто бы хочет он какие-то болота, что ли, сушить. Только чего ж я-то им помешала?

— Бабушка, а может быть, все это вранье одно? — заметил я. — Просто-напросто уряднику «красненькую» захотелось получить.

— Давала, родной, давала. Не бере-ет! Вот история… Четвертной билет давала, не берет… Куд-да тебе! Так на меня вызверился, что я уж не знала, где стою. Заладил в одну душу: «Вон да вон!» Что ж мы теперь делать будем, сироты мы несчастные! Батюшка родимый, хотя бы ты нам чем помог, усовестил бы его, утробу ненасытную. Век бы, кажется, была тебе благодарна.

— Бабушка! — укоризненно, с расстановкой произнесла Олеся.

— Чего там — бабушка! — рассердилась старуха. — Я тебе уже двадцать пятый год — бабушка. Что же, по-твоему, с сумой лучше идти? Нет, господин, вы ее не слушайте. Уж будьте милостивы, если можете сделать, то сделайте.

Я в неопределенных выражениях обещал похлопотать, хотя, по правде сказать, надежды было мало. Если уж наш урядник отказывался «взять», значит, дело было слишком серьезное. В этот вечер Олеся простилась со мной холодно и, против обыкновения, не пошла меня провожать. Я видел, что самолюбивая девушка сердится на меня за мое вмешательство и немного стыдится бабушкиной плаксивости.

VIII

Было серенькое теплое утро. Уже несколько раз принимался идти крупный, короткий, благодатный дождь, после которого на глазах растет молодая трава и вытягиваются новые побеги. После дождя на минутку выглядывало солнце, обливая радостным сверканием облитую дождем молодую, еще нежную зелень сиреней, сплошь наполнявших мой палисадник; громче становил-

ся задорный крик воробьев на рыхлых огородных грядках; сильнее благоухали клейкие коричневые почки тополя. Я сидел у стола и чертил план лесной дачи, когда в комнату вошел Ярмола.

— Есть врядник, — проговорил он мрачно.

У меня в эту минуту совсем вылетело из головы отданное мною два дня тому назад приказание уведомить меня в случае приезда урядника, и я никак не мог сразу сообразить, какое отношение имеет в настоящую минуту ко мне этот представитель власти.

— Что такое? — спросил я в недоумении.

— Говорю, что врядник приехал, — повторил Ярмола тем же враждебным тоном, который он вообще принял со мною за последние дни. — Сейчас я видел его на плотине. Сюда едет.

На улице послышалось тарахтение колес. Я поспешно бросился к окну и отворил его. Длинный, худой, шоколадного цвета мерин, с отвислой нижней губой и обиженной мордой, степенной рысцой влек высокую тряскую плетушку, с которой он был соединен при помощи одной лишь оглобли, — другую оглоблю заменяла толстая веревка (злые уездные языки уверяли, что урядник нарочно завел этот печальный «выезд» для пресечения всевозможных нежелательных

толкований). Урядник сам правил лошадью, занимая своим чудовищным телом, облеченным в серую шинель щегольского офицерского сукна, оба сиденья.

— Мое почтение, Евпсихий Африканович! — крикнул я, высовываясь из окошка.

— А-а, мое почтенье-с! Как здоровьице? — отозвался он любезным, раскатистым начальническим баритоном.

Он сдержал мерина и, прикоснувшись выпрямленной ладонью к козырьку, с тяжеловесной грацией наклонил вперед туловище.

— Зайдите на минуточку. У меня к вам делишко одно есть.

Урядник широко развел руками и затряс головой.

— Не могу-с! При исполнении служебных обязанностей. Еду в Волошу на мертвое тело — утопленник-с.

Но я уже знал слабые стороны Евпсихия Африкановича и потому сказал с деланным равнодушием:

— Жаль, жаль… А я из экономии графа Ворцеля добыл пару таких бутылочек…

— Не могу-с. Долг службы…

— Мне буфетчик по знакомству продал. Он

их в погребе, как детей родных, воспитывал… Зашли бы… А я вашему коньку овса прикажу дать.

— Ведь вот вы какой, право, — с упреком сказал урядник. — Разве не знаете, что служба прежде всего?.. А они с чем, эти бутылки-то? Сливянка?

— Какое сливянка! — махнул я рукой. — Старка, батюшка, вот что!

— Мы, признаться, уж подзакусили, — с сожалением почесал щеку урядник, невероятно сморщив при этом лицо.

Я продолжал с прежним спокойствием:

— Не знаю, правда ли, но буфетчик божился, что ей двести лет. Запах — прямо как коньяк, и самой янтарной желтизны.

— Эх! Что вы со мной делаете! — воскликнул в комическом отчаянии урядник. — Кто же у меня лошадь-то примет?

Старки у меня действительно оказалось несколько бутылок, хотя и не такой древней, как я хвастался, но я рассчитывал, что сила внушения прибавит ей несколько десятков лет… Во всяком случае, это была подлинная домашняя, ошеломляющая старка, гордость погреба разорившегося магната. (Евпсихий Африканович, который происходил из духовных, немедлен-

но выпросил у меня бутылку на случай, как он выразился, могущего произойти простудного заболевания…) И закуска у меня нашлась гастрономическая: молодая редиска со свежим, только что сбитым маслом.

— Ну-с, а дельце-то ваше какого сорта? — спросил после пятой рюмки урядник, откинувшись на спинку затрещавшего под ним старого кресла.

Я принялся излагать ему положение бедной старухи, упомянул про ее беспомощность и отчаяние, вскользь прошелся насчет ненужного формализма. Урядник слушал меня с опущенной вниз головой, методически очищая от корешков красную, упругую, ядреную редиску и пережевывая ее с аппетитным хрустением. Изредка он быстро вскидывал на меня равнодушные, мутные, до смешного маленькие и голубые глаза, но на его красной огромной физиономии я не мог ничего прочесть: ни сочувствия, ни сопротивления. Когда я наконец замолчал, он только спросил:

— Ну, так чего же вы от меня хотите?

— Как чего? — заволновался я. — Вникните же, пожалуйста, в их положение. Живут две бедные, беззащитные женщины…

— И одна из них прямо бутон садовый! — ехидно вставил урядник.

— Ну уж там бутон или не бутон — это дело девятое. Но почему, скажите, вам и не принять в них участия? Будто бы вам уж так к спеху требуется их выселить? Ну хоть подождите немного, покамест я сам у помещика похлопочу. Чем вы рискуете, если подождете с месяц?

— Как чем я рискую-с?! — взвился с кресла урядник. — Помилуйте, да всем рискую, и прежде всего службой-с. Бог его знает, каков этот господин Ильяшевич, новый помещик. А может быть, каверзник-с… из таких, которые, чуть что, сейчас бумажку, перышко и доносик в Петербург-с? У нас ведь бывают и такие-с!

Я попробовал успокоить расходившегося урядника:

— Ну полноте, Евпсихий Африканович. Вы преувеличиваете все это дело. Наконец что же? Ведь риск риском, а благодарность все-таки благодарностью.

— Фью-ю-ю! — протяжно свистнул урядник и глубоко засунул руки в карманы шаровар. — Тоже благодарность называется! Что же вы думаете, я из-за каких-нибудь двадцати пяти рублей поставлю на карту свое служебное положение?

Нет-с, это вы обо мне плохо понимаете.

— Да что вы горячитесь, Евпсихий Африканович? Здесь вовсе не в сумме дело, а просто так… Ну хоть по человечеству…

— По че-ло-ве-че-ству? — иронически отчеканил он каждый слог. — Позвольте-с, да у меня эти человеки вот где сидят-с!

Он энергично ударил себя по могучему бронзовому затылку, который свешивался на воротник жирной безволосой складкой.

— Ну, уж это вы, кажется, слишком, Евпсихий Африканович.

— Ни капельки не слишком-с. «Это — язва здешних мест», по выражению знаменитого баснописца, господина Крылова. Вот кто эти две дамы-с! Вы не изволили читать прекрасное сочинение его сиятельства князя Урусова под заглавием «Полицейский урядник»?

— Нет, не приходилось.

— И очень напрасно-с. Прекрасное и высоконравственное произведение. Советую на досуге ознакомиться…

— Хорошо, хорошо, я с удовольствием ознакомлюсь. Но я все-таки не понимаю, какое отношение имеет эта книжка к двум бедным женщинам?

— Какое? Очень прямое-с. Пункт первый (Евпсихий Африканович загнул толстый, волосатый указательный палец на левой руке): «Урядник имеет неослабное наблюдение, чтобы все ходили в храм Божий с усердием, пребывая, однако, в оном без усилия…» Позвольте узнать, ходит ли эта… как ее… Мануйлиха, что ли. Ходит ли она когда-нибудь в церковь?

Я молчал, удивленный неожиданным оборотом речи. Он поглядел на меня с торжеством и загнул второй палец.

— Пункт второй: «Запрещаются повсеместно лжепредсказания и лжепредзнаменования…» Чувствуете-с? Затем пункт третий-с: «Запрещается выдавать себя за колдуна или чародея и употреблять подобные обманы-с». Что вы на это скажете? А вдруг все это обнаружится или стороной дойдет до начальства? Кто в ответе? — Я. Кого из службы по шапке? — Меня. Видите, какая штукенция.

Он опять уселся в кресло. Глаза его, поднятые кверху, рассеянно бродили по стенам комнаты, а пальцы громко барабанили по столу.

— Ну, а если я вас попрошу, Евпсихий Африканович? — начал я опять умильным тоном. — Конечно, ваши обязанности сложные

и хлопотливые, но ведь сердце у вас, я знаю, предоброе, золотое сердце. Что вам стоит пообещать мне не трогать этих женщин?

Глаза урядника вдруг остановились поверх моей головы.

— Хорошенькое у вас ружьишко, — небрежно уронил он, не переставая барабанить. — Славное ружьишко. Прошлый раз, когда я к вам заезжал и не застал дома, я все на него любовался… Чудное ружьецо!

Я тоже повернул голову назад и поглядел на ружье.

— Да, ружье недурное, — похвалил я. — Ведь оно старинное, фабрики Гастин-Реннета, я его только в прошлом году на центральное переделал. Вы обратите внимание на стволы.

— Как же-с, как же-с… я на стволы-то главным образом и любовался. Великолепная вещь… Просто, можно сказать, сокровище.

Наши глаза встретились, и я увидел, как в углах губ урядника дрогнула легкая, но многозначительная улыбка. Я поднялся с места, снял со стены ружье и подошел с ним к Евпсихию Африкановичу.

— У черкесов есть очень милый обычай дарить гостю все, что он похвалит, — сказал я любез-

но. — Мы с вами хотя и не черкесы, Евпсихий Африканович, но я прошу вас принять от меня эту вещь на память.

Урядник для виду застыдился.

— Помилуйте, такую прелесть! Нет, нет, это уже чересчур щедрый обычай!

Однако мне не пришлось долго его уговаривать. Урядник принял ружье, бережно поставил его между своих колен и любовно отер чистым носовым платком пыль, осевшую на спусковой скобе. Я немного успокоился, увидев, что ружье, по крайней мере, перешло в руки любителя и знатока. Почти тотчас Евпсихий Африканович встал и заторопился ехать.

— Дело не ждет, а я тут с вами забалакался, — говорил он, громко стуча о пол неналезавшими калошами. — Когда будете в наших краях, милости просим ко мне.

— Ну, а как же насчет Мануйлихи, господин начальство? — деликатно напомнил я.

— Посмотрим, увидим… — неопределенно буркнул Евпсихий Африканович. — Я вот вас о чем хотел попросить… Редис у вас замечательный…

— Сам вырастил.

— Уд-дивительный редис! А у меня, знаете ли, моя благоверная страшная обожательница вся-

кой овощи. Так если бы, знаете, того, пучочек один.

— С наслаждением, Евпсихий Африканович. Сочту долгом… Сегодня же с нарочным отправлю корзиночку. И маслица уж позвольте заодно… Масло у меня на редкость.

— Ну, и маслица… — милостиво разрешил урядник. — А этим бабам вы дайте уж знак, что я их пока что не трону. Только пусть они ведают, — вдруг возвысил он голос, — что одним спасибо от меня не отделаются. А засим желаю здравствовать. Еще раз мерси вам за подарочек и за угощение.

Он по-военному пристукнул каблуками и грузной походкой сытого важного человека пошел к своему экипажу, около которого в почтительных позах, без шапок, уже стояли сотский, сельский староста и Ярмола.

IX

Евпсихий Африканович сдержал свое обещание и оставил на неопределенное время в покое обитательниц лесной хатки. Но мои отношения с Олесей резко и странно изменились. В ее обращении со мной не осталось и следа прежней доверчивой и наивной ласки, прежнего оживле-

ния, в котором так мило смешивалось кокетство красивой девушки с резвой ребяческой шаловливостью. В нашем разговоре появилась какая-то непреодолимая неловкая принужденность… С поспешной боязливостью Олеся избегала живых тем, дававших раньше такой безбрежный простор нашему любопытству.

В моем присутствии она отдавалась работе с напряженной, суровой деловитостью, но часто я наблюдал, как среди этой работы ее руки вдруг опускались бессильно вдоль колен, а глаза неподвижно и неопределенно устремлялись вниз, на пол. Если в такую минуту я называл Олесю по имени или предлагал ей какой-нибудь вопрос, она вздрагивала и медленно обращала ко мне свое лицо, в котором отражались испуг и усилие понять смысл моих слов. Иногда мне казалось, что ее тяготит и стесняет мое общество, но это предположение плохо вязалось с громадным интересом, возбуждаемым в ней всего лишь несколько дней тому назад каждым моим замечанием, каждой фразой… Оставалось думать только, что Олеся не хочет мне простить моего, так возмутившего ее независимую натуру, покровительства в деле с урядником. Но и эта догадка не удовлетворяла меня: откуда, в самом деле,

могла явиться у простой, выросшей среди леса девушки такая чрезмерно щепетильная гордость?

Все это требовало разъяснений, а Олеся упорно избегала всякого благоприятного случая для откровенного разговора. Наши вечерние прогулки прекратились. Напрасно каждый день, собираясь уходить, я бросал на Олесю красноречивые, умоляющие взгляды — она делала вид, что не понимает их значения. Присутствие же старухи, несмотря на ее глухоту, беспокоило меня.

Иногда я возмущался против собственного бессилия и против привычки, тянувшей меня каждый день к Олесе. Я и сам не подозревал, какими тонкими, крепкими, незримыми нитями было привязано мое сердце к этой очаровательной, непонятной для меня девушке. Я еще не думал о любви, но я уже переживал тревожный, предшествующий любви период, полный смутных, томительно грустных ощущений. Где бы я ни был, чем бы ни старался развлечься, — все мои мысли были заняты образом Олеси, все мое существо стремилось к ней, каждое воспоминание об ее иной раз самых ничтожных словах, об ее жестах и улыбках сжимало с тихой и сладкой болью мое сердце. Но наступал вечер, и я подолгу сидел возле нее на низкой шаткой

скамеечке, с досадой чувствуя себя все более робким, неловким и ненаходчивым.

Однажды я провел таким образом около Олеси целый день. Уже с утра я себя чувствовал нехорошо, хотя еще не мог ясно определить, в чем заключалось мое нездоровье. К вечеру мне стало хуже. Голова сделалась тяжелой, в ушах шумело, в темени я ощущал тупую беспрестанную боль, — точно кто-то давил на него мягкой, но сильной рукой. Во рту у меня пересохло, и по всему телу постоянно разливалась какая-то ленивая, томная слабость, от которой каждую минуту хотелось зевать и тянуться. В глазах чувствовалась такая боль, как будто бы я только что пристально и близко глядел на блестящую точку.

Когда же поздним вечером я возвращался домой, то как раз на середине пути меня вдруг схватил и затряс бурный приступ озноба. Я шел, почти не видя дороги, почти не сознавая, куда иду, и шатаясь, как пьяный, между тем как мои челюсти выбивали одна о другую частую и громкую дробь.

Я до сих пор не знаю, кто довез меня до дому… Ровно шесть дней била меня неотступная ужасная полесская лихорадка. Днем недуг как будто бы затихал, и ко мне возвращалось сознание. Тогда,

совершенно изнуренный болезнью, я еле-еле бродил по комнате с болью и слабостью в коленях; при каждом более сильном движении кровь приливала горячей волной к голове и застилала мраком все предметы перед моими глазами. Вечером же, обыкновенно часов около семи, как буря, налетал на меня приступ болезни, и я проводил на постели ужасную, длинную, как столетие, ночь, то трясясь под одеялом от холода, то пылая невыносимым жаром. Едва только дремота слегка касалась меня, как странные, нелепые, мучительно-пестрые сновидения начинали играть моим разгоряченным мозгом. Все мои грезы были полны мелочных, микроскопических деталей, громоздившихся и цеплявшихся одна за другую в безобразной сутолоке. То мне казалось, что я разбираю какие-то разноцветные, причудливых форм ящики, вынимая маленькие из больших, а из маленьких еще меньшие, и никак не могу прекратить этой бесконечной работы, которая мне давно уже кажется отвратительной. То мелькали перед моими глазами с одуряющей быстротой длинные яркие полосы обоев, и на них вместо узоров я с изумительной отчетливостью видел целые гирлянды из человеческих физиономий — порою красивых, добрых и улы-

бающихся, порою делающих страшные гримасы, высовывающих языки, скалящих зубы и вращающих огромными белками. Затем я вступал с Ярмолой в запутанный, необычайно сложный отвлеченный спор. С каждой минутой доводы, которые мы приводили друг другу, становились все более тонкими и глубокими; отдельные слова и даже буквы слов принимали вдруг таинственное, неизмеримое значение, и вместе с тем меня все сильнее охватывал брезгливый ужас перед неведомой, противоестественной силой, что выматывает из моей головы один за другим уродливые софизмы и не позволяет мне прервать давно уже опротивевшего спора…

Это был какой-то кипящий вихрь человеческих и звериных фигур, ландшафтов, предметов самых удивительных форм и цветов, слов и фраз, значение которых воспринималось всеми чувствами… Но — странное дело — в то же время я не переставал видеть на потолке светлый ровный круг, отбрасываемый лампой с зеленым обгоревшим абажуром. И я знал почему-то, что в этом спокойном круге с нечеткими краями притаилась безмолвная, однообразная, таинственная и грозная жизнь, еще более жуткая и угнетающая, чем бешеный хаос моих сновидений.

Потом я просыпался или, вернее, не просыпался, а внезапно заставал себя бодрствующим. Сознание почти возвращалось ко мне. Я понимал, что лежу в постели, что я болен, что я только что бредил, но светлый круг на темном потолке все-таки пугал меня затаенной зловещей угрозой. Слабою рукой дотягивался я до часов, смотрел на них и с тоскливым недоумением убеждался, что вся бесконечная вереница моих уродливых снов заняла не более двух-трех минут. «Господи! Да когда же настанет рассвет!» — с отчаянием думал я, мечась головой по горячим подушкам и чувствуя, как опаляет мне губы мое собственное тяжелое и короткое дыхание… Но вот опять овладевала мною тонкая дремота, и опять мозг мой делался игралищем пестрого кошмара, и опять через две минуты я просыпался, охваченный смертельной тоской…

Через шесть дней моя крепкая натура, вместе с помощью хинина и настоя подорожника, победила болезнь. Я встал с постели весь разбитый, едва держась на ногах. Выздоровление совершалось с жадной быстротой. В голове, утомленной шестидневным лихорадочным бредом, чувствовалось теперь ленивое и приятное отсутствие мыслей. Аппетит явился в удвоенном размере,

и тело мое крепло по часам, впивая каждой своей частицей здоровье и радость жизни. Вместе с тем с новой силой потянуло меня в лес, в одинокую покривившуюся хату. Нервы мои еще не оправились, и каждый раз, вызывая в памяти лицо и голос Олеси, я чувствовал такое нежное умиление, что мне хотелось плакать.

X

Прошло еще пять дней, и я настолько окреп, что пешком, без малейшей усталости, дошел до избушки на курьих ножках. Когда я ступил на ее порог, то сердце забилось с тревожным страхом у меня в груди. Почти две недели не видал я Олеси и теперь особенно ясно понял, как была она мне близка и мила. Держась за скобку двери, я несколько секунд медлил и едва переводил дыхание. В нерешимости я даже закрыл глаза на некоторое время, прежде чем толкнуть дверь…

В впечатлениях, подобных тем, которые последовали за моим входом, никогда невозможно разобраться… Разве можно запомнить слова, произносимые в первые моменты встречи матерью и сыном, мужем и женой или двумя влюбленными? Говорятся самые простые, самые обиходные

фразы, смешные даже, если их записывать с точностью на бумаге. Но здесь каждое слово уместно и бесконечно мило уже потому, что говорится оно самым дорогим на свете голосом.

Я помню, очень ясно помню только то, что ко мне быстро обернулось бледное лицо Олеси и что на этом прелестном, новом для меня лице в одно мгновение отразились, сменяя друг друга, недоумение, испуг, тревога и нежная сияющая улыбка любви… Старуха что-то шамкала, топчась возле меня, но я не слышал ее приветствий. Голос Олеси донесся до меня, как сладкая музыка:

— Что с вами случилось? Вы были больны? Ох, как же вы исхудали, бедный мой.

Я долго не мог ничего ответить, и мы молча стояли друг против друга, держась за руки, прямо, глубоко и радостно смотря друг другу в глаза. Эти несколько молчаливых секунд я всегда считаю самыми счастливыми в моей жизни; никогда, никогда, ни раньше, ни позднее, я не испытывал такого чистого, полного, всепоглощающего восторга. И как много я читал в больших темных глазах Олеси: и волнение встречи, и упрек за мое долгое отсутствие, и горячее признание в любви… Я почувствовал, что вместе с этим взглядом Олеся отдает мне радостно, без всяких условий

и колебаний, все свое существо.

Она первая нарушила это очарование, указав мне медленным движением век на Мануйлиху. Мы уселись рядом, и Олеся принялась подробно и заботливо расспрашивать меня о ходе моей болезни, о лекарствах, которые я принимал, о словах и мнениях доктора (два раза приезжавшего ко мне из местечка). Про доктора она заставила меня рассказать несколько раз подряд, и я порою замечал на ее губах беглую насмешливую улыбку.

— Ах, зачем я не знала, что вы захворали! — воскликнула она с нетерпеливым сожалением. — Я бы в один день вас на ноги поставила… Ну, как же им можно доверяться, когда они ничего, ни-че-го не понимают? Почему вы за мной не послали?

Я замялся.

— Видишь ли, Олеся… это и случилось так внезапно… и кроме того, я боялся тебя беспокоить. Ты в последнее время стала со мной какая-то странная, точно все сердилась на меня или надоел я тебе… Послушай, Олеся, — прибавил я, понижая голос, — нам с тобой много, много нужно поговорить… только одним… понимаешь?

Она тихо опустила веки в знак согласия, потом боязливо оглянулась на бабушку и быстро

шепнула:

— Да… я и сама хотела… потом… подождите…

Едва только закатилось солнце, как Олеся стала меня торопить идти домой.

— Собирайтесь, собирайтесь скорее, — говорила она, увлекая меня за руку со скамейки. — Если вас теперь сыростью охватит — болезнь сейчас же назад вернется.

— А ты куда же, Олеся? — спросила вдруг Мануйлиха, видя, что ее внучка поспешно набросила на голову большой серый шерстяной платок.

— Пойду… провожу немножко, — ответила Олеся.

Она произнесла это равнодушно, глядя не на бабушку, а в окно, но в ее голосе я уловил чуть заметный оттенок раздражения.

— Пойдешь-таки? — с ударением переспросила старуха.

— Да, и пойду! — возразила она надменно. — Уж давно об этом говорено и переговорено… Мое дело, мой и ответ.

— Эх, ты!.. — с досадой и укоризной воскликнула старуха.

Она хотела еще что-то прибавить, но только махнула рукой, поплелась своей дрожащей походкой в угол и, кряхтя, закопошилась там

над какой-то корзиной.

Я понял, что этот быстрый недовольный разговор, которому я только что был свидетелем, служит продолжением длинного ряда взаимных ссор и вспышек. Спускаясь рядом с Олесей к бору, я спросил ее:

— Бабушка не хочет, чтобы ты ходила со мной гулять? Да?

Олеся с досадой пожала плечами.

— Пожалуйста, не обращайте на это внимания. Ну да, не хочет… Что ж. Разве я не вольна делать, что мне нравится?

Во мне вдруг поднялось неудержимое желание упрекнуть Олесю за ее прежнюю суровость.

— Значит, и раньше, еще до моей болезни, ты тоже могла, но только не хотела оставаться со мною один на один… Ах, Олеся, если бы ты знала, какую ты причинила мне боль… Я так ждал, так ждал каждый вечер, что ты опять пойдешь со мною… А ты, бывало, всегда такая невнимательная, скучная, сердитая… О, как ты меня мучила, Олеся!..

— Ну, перестаньте, голубчик… Забудьте это, — с мягким извинением в голосе попросила Олеся.

— Нет, я ведь не в укор тебе говорю — так, к слову пришлось… Теперь я понимаю, почему

это было… А ведь сначала — право, даже смешно и вспомнить — я подумал, что ты обиделась на меня из-за урядника. И эта мысль меня сильно огорчала. Мне казалось, что ты меня таким далеким, чужим человеком считаешь, что даже простую дружескую услугу тебе от меня трудно принять… Очень мне это было горько… Я ведь и не подозревал, Олеся, что все это от бабушки идет…

Лицо Олеси вдруг вспыхнуло ярким румянцем.

— И вовсе не от бабушки!.. Сама я этого не хотела! — горячо, с задором воскликнула она.

Я поглядел на нее сбоку, так что мне стал виден чистый, нежный профиль ее слегка наклоненной головы. Только теперь я заметил, что и сама Олеся похудела за это время и вокруг ее глаз легли голубоватые тени. Почувствовав мой взгляд, Олеся вскинула на меня глаза, но тотчас же опустила их и отвернулась с застенчивой улыбкой.

— Почему ты не хотела, Олеся? Почему? — спросил я обрывающимся от волнения голосом и, схватив Олесю за руку, заставил ее остановиться.

Мы в это время находились как раз на середине длинной, узкой и прямой, как стрела, лесной просеки. Высокие, стройные сосны обступали нас с обеих сторон, образуя гигантский, уходящий

вдаль коридор со сводом из душистых сплетшихся ветвей. Голые, облупившиеся стволы были окрашены багровым отблеском догорающей зари…

— Почему? Почему, Олеся? — твердил я шепотом и все сильнее сжимал ее руку.

— Я не могла… Я боялась, — еле слышно произнесла Олеся. — Я думала, что можно уйти от судьбы… А теперь… теперь…

Она задохнулась, точно ей не хватало воздуху, и вдруг ее руки быстро и крепко обвились вокруг моей шеи, и мои губы сладко обжег торопливый, дрожащий шепот Олеси:

— Теперь мне все равно, все равно!.. Потому что я люблю тебя, мой дорогой, мое счастье, мой ненаглядный!..

Она прижималась ко мне все сильнее, и я чувствовал, как трепетало под моими руками ее сильное, крепкое, горячее тело, как часто билось около моей груди ее сердце. Ее страстные поцелуи вливались в мою еще не окрепшую от болезни голову, как пьяное вино, и я начал терять самообладание.

— Олеся, ради Бога, не надо… оставь меня, — говорил я, стараясь разжать ее руки. — Теперь и я боюсь… боюсь самого себя… Пусти меня, Олеся.

Она подняла кверху свое лицо, и все оно осветилось томной, медленной улыбкой.

— Не бойся, мой миленький, — сказала она с непередаваемым выражением нежной ласки и трогательной смелости. — Я никогда не попрекну тебя, ни к кому ревновать не стану… Скажи только: любишь ли?

— Люблю, Олеся. Давно люблю и крепко люблю. Но… не целуй меня больше… Я слабею, у меня голова кружится, я не ручаюсь за себя…

Ее губы опять долго и мучительно-сладко прильнули к моим, и я не услышал, а скорее угадал ее слова:

— Ну, так и не бойся и не думай ни о чем больше… Сегодня наш день, и никто у нас его не отнимет…

И вся эта ночь слилась в какую-то волшебную, чарующую сказку. Взошел месяц, и его сияние причудливо пестро и таинственно расцветило лес, легло среди мрака неровными, иссиня-бледными пятнами на корявые стволы, на изогнутые сучья, на мягкий, как плюшевый ковер, мох. Тонкие стволы берез белели резко и отчетливо, а на их редкую листву, казалось, были наброшены серебристые, прозрачные, газовые покровы. Местами свет вовсе не проникал под густой навес

сосновых ветвей. Там стоял полный, непроницаемый мрак, и только в самой середине его скользнувший неведомо откуда луч вдруг ярко озарял длинный ряд деревьев и бросал на землю узкую правильную дорожку, — такую светлую, нарядную и прелестную, точно аллея, убранная эльфами для торжественного шествия Оберона и Титании. И мы шли, обнявшись, среди этой улыбающейся живой легенды, без единого слова, подавленные своим счастьем и жутким безмолвием леса.

— Дорогой мой, а я ведь и забыла совсем, что тебе домой надо спешить, — спохватилась вдруг Олеся. — Вот какая гадкая! Ты только что выздоровел, а я тебя до сих пор в лесу держу.

Я обнял ее и откинул платок с ее густых темных волос и, наклонясь к ее уху, спросил чуть слышно:

— Ты не жалеешь, Олеся? Не раскаиваешься?

Она медленно покачала головой.

— Нет, нет… Что бы потом ни случилось, я не пожалею. Мне так хорошо…

— А разве непременно должно что-нибудь случиться?

В ее глазах мелькнуло отражение знакомого мне мистического ужаса.

— О да, непременно… Помнишь, я тебе говорила про трефовую даму? Ведь эта трефовая дама — я, это со мной будет несчастье, про что сказали карты… Ты знаешь, я ведь хотела тебя попросить, чтобы ты и вовсе у нас перестал бывать. А тут как раз ты заболел, и я тебя чуть не полмесяца не видала… И такая меня по тебе тоска обуяла, такая грусть, что, кажется, все бы на свете отдала, лишь бы с тобой хоть минуточку еще побыть… Вот тогда-то я и решилась. Пусть, думаю, что будет, то и будет, а я своей радости никому не отдам…

— Это правда, Олеся. Это и со мной так было, — сказал я, прикасаясь губами к ее виску. — Я до тех пор не знал, что люблю тебя, покамест не расстался с тобой. Недаром, видно, кто-то сказал, что разлука для любви то же, что ветер для огня: маленькую любовь она тушит, а большую раздувает еще сильней.

— Как ты сказал? Повтори, повтори, пожалуйста, — заинтересовалась Олеся.

Я повторил еще раз это не знаю кому принадлежащее изречение. Олеся задумалась, и я увидел по движению ее губ, что она повторяет мои слова.

Я близко вглядывался в ее бледное, закину-

тое назад лицо, в ее большие черные глаза с блестевшими в них яркими лунными бликами, — и смутное предчувствие близкой беды вдруг внезапным холодом заползло в мою душу.

XI

Почти целый месяц продолжалась наивная, очаровательная сказка нашей любви, и до сих пор вместе с прекрасным обликом Олеси живут с неувядающей силой в моей душе эти пылающие вечерние зори, эти росистые, благоухающие ландышами и медом утра, полные бодрой свежести и звонкого птичьего гама, эти жаркие, томные, ленивые июньские дни… Ни разу ни скука, ни утомление, ни вечная страсть к бродячей жизни не шевельнулись за это время в моей душе. Я, как языческий бог или как молодое, сильное животное, наслаждался светом, теплом, сознательной радостью жизни и спокойной, здоровой, чувственной любовью.

Старая Мануйлиха стала после моего выздоровления так несносно брюзглива, встречала меня с такой откровенной злобой и, покамест я сидел в хате, с таким шумным ожесточением двигала горшками в печке, что мы с Олесей предпочитали сходиться каждый вечер в лесу… И величествен-

ная зеленая прелесть бора, как драгоценная оправа, украшала нашу безмятежную любовь.

Каждый день я все с бóльшим удивлением находил, что Олеся — эта выросшая среди леса, не умеющая даже читать девушка — во многих случаях жизни проявляет чуткую деликатность и особенный, врожденный такт. В любви — в прямом, грубом ее смысле — всегда есть ужасные стороны, составляющие мученье и стыд для нервных, художественных натур. Но Олеся умела избегать их с такой наивной целомудренностью, что ни разу ни одно дурное сравнение, ни один циничный момент не оскорбили нашей связи.

Между тем приближалось время моего отъезда. Собственно говоря, все мои служебные обязанности в Переброде были уже покончены, и я умышленно оттягивал срок моего возвращения в город. Я еще ни слова не говорил об этом Олесе, боясь даже представить себе, как она примет мое извещение о необходимости уехать. Вообще я находился в затруднительном положении. Привычка пустила во мне слишком глубокие корни. Видеть ежедневно Олесю, слышать ее милый голос и звонкий смех, ощущать нежную прелесть ее ласки — стало для меня больше чем необходимостью. В редкие дни, когда ненастье

мешало нам встречаться, я чувствовал себя точно потерянным, точно лишенным чего-то самого главного, самого важного в моей жизни. Всякое занятие казалось мне скучным, лишним, и все мое существо стремилось в лес, к теплу, к свету, к милому привычному лицу Олеси.

Мысль жениться на Олесе все чаще и чаще приходила мне в голову. Сначала она лишь изредка представлялась мне как возможный, на крайний случай, честный исход из наших отношений. Одно лишь обстоятельство пугало и останавливало меня: я не смел даже воображать себе, какова будет Олеся, одетая в модное платье, разговаривающая в гостиной с женами моих сослуживцев, исторгнутая из этой очаровательной рамки старого леса, полного легенд и таинственных сил.

Но чем ближе подходило время моего отъезда, тем больший ужас одиночества и бóльшая тоска овладевали мною. Решение жениться с каждым днем крепло в моей душе, и под конец я уже перестал видеть в нем дерзкий вызов обществу. «Женятся же хорошие и ученые люди на швейках, на горничных, — утешал я себя, — и живут прекрасно и до конца дней своих благословляют судьбу, толкнувшую их на это решение. Не буду же я несчастнее других, в самом деле?»

Однажды в середине июня, под вечер, я, по обыкновению, ожидал Олесю на повороте узкой лесной тропинки между кустами цветущего боярышника. Я еще издали узнал легкий, быстрый шум ее шагов.

— Здравствуй, мой родненький, — сказала Олеся, обнимая меня и тяжело дыша. — Заждался небось? А я насилу-насилу вырвалась… Все с бабушкой воевала.

— До сих пор не утихла?

— Куда там! «Ты, говорит, пропадешь из-за него… Натешится он тобою вволю, да и бросит. Не любит он тебя вовсе…»

— Это она про меня так?

— Про тебя, милый… Ведь я все равно ни одному ее словечку не верю.

— А она все знает?

— Не скажу наверно… кажется, знает. Я с ней, впрочем, об этом ничего не говорю — сама догадывается. Ну, да что об этом думать… Пойдем.

Она сорвала ветку боярышника с пышным гнездом белых цветов и воткнула себе в волосы. Мы медленно пошли по тропинке, чуть розовевшей на вечернем солнце.

Я еще прошлой ночью решил во что бы то ни стало высказаться в этот вечер. Но стран-

ная робость отяжеляла мой язык. Я думал: если скажу Олесе о моем отъезде и об женитьбе, то поверит ли она мне? Не покажется ли ей, что я своим предложением только уменьшаю, смягчаю первую боль наносимой раны? «Вот как дойдем до того клена с ободранным стволом, так сейчас же и начну», — назначил я себе мысленно. Мы равнялись с кленом, и я, бледнея от волнения, уже переводил дыхание, чтобы начать говорить, но внезапно моя смелость ослабевала, разрешаясь нервным, болезненным биением сердца и холодом во рту. «Двадцать семь — мое феральное число, — думал я несколько минут спустя, — досчитаю до двадцати семи, и тогда!..» И я принимался считать в уме, но когда доходил до двадцати семи, то чувствовал, что решимость еще не созрела во мне. «Нет, — говорил я себе, — лучше уж буду продолжать считать до шестидесяти, — это составит как раз целую минуту, — и тогда непременно, непременно…»

— Что такое сегодня с тобой? — спросила вдруг Олеся. — Ты думаешь о чем-то неприятном. Что с тобой случилось?

Тогда я заговорил, но заговорил каким-то самому мне противным тоном, с напускной, неестественной небрежностью, точно дело шло

о самом пустячном предмете.

— Действительно, есть маленькая неприятность… ты угадала, Олеся… Видишь ли, моя служба здесь окончена, и меня начальство вызывает в город.

Мельком, сбоку я взглянул на Олесю и увидел, как сбежали краска с ее лица и как задрожали ее губы. Но она не ответила мне ни слова. Несколько минут я молча шел с ней рядом. В траве громко кричали кузнечики, и откуда-то издалека доносился однообразный напряженный скрип коростеля.

— Ты, конечно, и сама понимаешь, Олеся, — опять начал я, — что мне здесь оставаться неудобно и негде, да, наконец, и службой пренебрегать нельзя…

— Нет… что же… тут и говорить нечего, — отозвалась Олеся как будто бы спокойно, но таким глухим, безжизненным голосом, что мне стало жутко. — Если служба, то, конечно… надо ехать…

Она остановилась около дерева и оперлась спиною об его ствол, вся бледная, с бессильно упавшими вдоль тела руками, с жалкой, мучительной улыбкой на губах. Ее бледность испугала меня. Я кинулся к ней и крепко сжал ее руки.

— Олеся… что с тобой? Олеся… милая!..

— Ничего… извините меня… это пройдет. Так… голова закружилась…

Она сделала над собой усилие и прошла вперед, не отнимая у меня своей руки.

— Олеся, ты теперь обо мне дурно подумала, — сказал я с упреком. — Стыдно тебе! Неужели и ты думаешь, что я могу уехать, бросив тебя? Нет, моя дорогая. Я потому и начал этот разговор, что хочу сегодня же пойти к твоей бабушке и сказать ей, что ты будешь моей женой.

Совсем неожиданно для меня, Олесю почти не удивили мои слова.

— Твоей женой? — она медленно и печально покачала головой. — Нет, Ванечка, милый, это невозможно!

— Почему же, Олеся? Почему?

— Нет, нет… Ты и сам понимаешь, что об этом смешно и думать. Ну какая я тебе жена на самом деле? Ты барин, ты умный, образованный, а я? Я и читать не умею, и куда ступить, не знаю… Ты одного стыда из-за меня не оберешься…

— Это все глупости, Олеся! — возразил я горячо. — Ты через полгода сама себя не узнаешь. Ты не подозреваешь даже, сколько в тебе врожденного ума и наблюдательности. Мы с тобой вместе прочитаем много хороших книжек, познакомим-

ся с добрыми, умными людьми, мы с тобой весь широкий свет увидим, Олеся… Мы до старости, до самой смерти будем идти рука об руку, вот как теперь идем, и не стыдиться, а гордиться тобой я буду и благодарить тебя!..

На мою пылкую речь Олеся ответила мне признательным пожатием руки, но продолжала стоять на своем.

— Да разве это одно?.. Может быть, ты еще не знаешь?.. Я никогда не говорила тебе… Ведь у меня отца нет… Я незаконная…

— Перестань, Олеся… Это меньше всего меня останавливает. Что мне за дело до твоей родни, если ты сама для меня дороже отца и матери, дороже целого мира? Нет, все это мелочи, все это пустые отговорки!..

Олеся с тихой, покорной лаской прижалась плечом к моему плечу.

— Голубчик… Лучше бы ты вовсе об этом не начинал разговора… Ты молодой, свободный… Неужели у меня хватило бы духу связать тебя по рукам и по ногам на всю жизнь?.. Ну, а если тебе потом другая понравится? Ведь ты меня тогда возненавидишь, проклянешь тот день и час, когда я согласилась пойти за тебя. Не сердись, мой дорогой! — с мольбой воскликнула она, видя

по моему лицу, что мне неприятны эти слова. — Я не хочу тебя обидеть. Я ведь только о твоем счастье думаю. Наконец, ты позабыл про бабушку. Ну посуди сам, разве хорошо будет с моей стороны ее одну оставить?

— Что ж… и бабушке у нас место найдется. (Признаться, мысль о бабушке меня сильно покоробила.) А не захочет она у нас жить, так во всяком городе есть такие дома… они называются богадельнями… где таким старушкам дают и покой, и уход внимательный…

— Нет, что ты! Она из леса никуда не пойдет. Она людей боится.

— Ну, так ты уж сама придумывай, Олеся, как лучше. Тебе придется выбирать между мной и бабушкой. Но только знай одно — что без тебя мне и жизнь будет противна.

— Солнышко мое! — с глубокой нежностью произнесла Олеся. — Уж за одни твои слова спасибо тебе… Отогрел ты мое сердце… Но все-таки замуж я за тебя не пойду… Лучше уж я так пойду с тобой, если не прогонишь… Только не спеши, пожалуйста, не торопи меня. Дай мне денька два, я все это хорошенько обдумаю… И с бабушкой тоже нужно поговорить.

— Послушай, Олеся, — спросил я, осененный

новой догадкой. — А может быть, ты опять… церкви боишься?

Пожалуй, что с этого вопроса и надо было начать. Почти ежедневно спорил я с Олесей, стараясь разубедить ее в мнимом проклятии, тяготеющем над ее родом вместе с обладанием чародейными силами. В сущности, в каждом русском интеллигенте сидит немножко развивателя. Это у нас в крови, это внедрено нам всей русской беллетристикой последних десятилетий. Почем знать? Если бы Олеся глубоко веровала, строго блюла посты и не пропускала ни одного церковного служения, — весьма возможно, что тогда я стал бы иронизировать (но только слегка, ибо я всегда был верующим человеком) над ее религиозностью и развивать в ней критическую пытливость ума. Но она с твердой и наивной убежденностью исповедовала свое общение с темными силами и свое отчуждение от Бога, о котором она даже боялась говорить.

Напрасно я покушался поколебать суеверие Олеси. Все мои логические доводы, все мои иной раз грубые и злые насмешки разбивались об ее покорную уверенность в свое таинственное роковое призвание.

— Ты боишься церкви, Олеся? — повторил я.

Она молча наклонила голову.

— Ты думаешь, что Бог не примет тебя? — продолжал я с возрастающей горячностью. — Что у него не хватит для тебя милосердия? У того, который, повелевая миллионами ангелов, сошел, однако, на землю и принял ужасную, позорную смерть для избавления всех людей? У того, кто не погнушался раскаянием самой последней женщины и обещал разбойнику-убийце, что он сегодня же будет с ним в раю?..

Все это было уже не ново Олесе в моем толковании, но на этот раз она даже и слушать меня не стала. Она быстрым движением сбросила с себя платок и, скомкав его, бросила мне в лицо. Началась возня. Я старался отнять у нее цветок боярышника. Сопротивляясь, она упала на землю и увлекла меня за собою, радостно смеясь и протягивая мне свои раскрытые частым дыханием, влажные милые губы…

Поздно ночью, когда мы простились и уже разошлись на довольно большое расстояние, я вдруг услышал за собою голос Олеси.

— Ванечка! Подожди минутку… Я тебе что-то скажу!

Я повернулся и пошел к ней навстречу. Олеся поспешно подбежала ко мне. На небе уже стоял

тонкий серебряный зазубренный серп молодого месяца, и при его бледном свете я увидел, что глаза Олеси полны крупных невылившихся слез.

— Олеся, о чем ты? — спросил я тревожно.

Она схватила мои руки и стала их целовать поочередно.

— Милый… какой ты хороший! Какой ты добрый! — говорила она дрожащим голосом. — Я сейчас шла и подумала: как ты меня любишь!.. И знаешь, мне ужасно хочется сделать тебе что-нибудь очень, очень приятное.

— Олеся… Девочка моя славная, успокойся…

— Послушай, скажи мне, — продолжала она, — ты бы очень был доволен, если бы я когда-нибудь пошла в церковь? Только правду, истинную правду скажи.

Я задумался. У меня вдруг мелькнула в голове суеверная мысль: а не случится ли от этого какого-нибудь несчастья?

— Что же ты молчишь? Ну, говори скорее, был бы ты этому рад или тебе все равно?

— Как тебе сказать, Олеся? — начал я с запинкой. — Ну да, пожалуй, мне это было бы приятно. Я ведь много раз говорил тебе, что мужчина может не верить, сомневаться, даже смеяться, наконец. Но женщина… женщина должна быть

набожна без рассуждений. В той простой и нежной доверчивости, с которой она отдает себя под защиту Бога, я всегда чувствую что-то трогательное, женственное и прекрасное.

Я замолчал. Олеся тоже не отзывалась, притаившись головой около моей груди.

— А зачем ты меня об этом спросила? — полюбопытствовал я.

Она вдруг встрепенулась.

— Так себе… Просто спросила… Ты не обращай внимания. Ну, до свидания, милый. Приходи же завтра.

Она скрылась. Я еще долго глядел в темноту, прислушиваясь к частым, удалявшимся от меня шагам. Вдруг внезапный ужас предчувствия охватил меня. Мне неудержимо захотелось побежать вслед за Олесей, догнать ее и просить, умолять, даже требовать, если нужно, чтобы она не шла в церковь. Но я сдержал свой неожиданный порыв и даже — помню, — пускаясь в дорогу, проговорил вслух:

— Кажется, вы сами, дорогой мой Ванечка, заразились суеверием.

О, боже мой! Зачем я не послушался тогда смутного влечения сердца, которое — я теперь, безусловно, верю в это! — никогда не ошибается

в своих быстрых тайных предчувствиях?

XII

На другой день после этого свидания пришелся как раз праздник Св. Троицы, выпавший в этом году на день великомученика Тимофея, когда, по народным сказаниям, бывают знамения перед неурожаем. Село Переброд в церковном отношении считалось приписным, то есть в нем хотя и была своя церковь, но отдельного священника при ней не полагалось, а наезжал изредка, постом и по большим праздникам, священник села Волчьего.

Мне в этот день необходимо было съездить по служебным делам в соседнее местечко, и я отправился туда часов в восемь утра, еще по холодку, верхом. Для разъездов я давно уже купил себе небольшого жеребчика лет шести-семи, происходившего из местной неказистой породы, но очень любовно и тщательно выхоленного прежним владельцем, уездным землемером. Лошадь звали Таранчиком. Я сильно привязался к этому милому животному, с крепкими, тоненькими, точеными ножками, с косматой челкой, из-под которой сердито и недоверчиво выглядывали огненные глазки, с крепкими, энергично

сжатыми губами. Масти он был довольно редкой и смешной: весь серый, мышастый, и только по крупу у него шли пестрые, белые и черные пятна.

Мне пришлось проезжать через все село. Большая зеленая площадь, идущая от церкви до кабака, была сплошь занята длинными рядами телег, в которых с женами и детьми приехали на праздник крестьяне окрестных деревень: Волоши, Зульни и Печаловки. Между телегами сновали люди. Несмотря на ранний час и строгие постановления, между ними уже намечались пьяные (водкой по праздникам и в ночное время торговал потихоньку бывший шинкарь Сруль). Утро было безветренное, душное. В воздухе парило, и день обещал быть нестерпимо жарким. На раскаленном и точно подернутом серебристой пылью небе не показалось ни одного облачка.

Справив все, что мне нужно было в местечке, я перекусил на скорую руку в заезжем доме фаршированной еврейской щукой, запил ее прескверным, мутным пивом и отправился домой. Но, проезжая мимо кузницы, я вспомнил, что у Таранчика давно уже хлябает подкова на левой передней, и остановился, чтобы перековать лошадь. Это заняло у меня еще часа полтора вре-

мени, так что, когда я подъезжал к перебродской околице, было уже между четырьмя и пятью часами пополудни.

Вся площадь кишмя кишела пьяным, галдящим народом. Ограду и крыльцо кабака буквально запрудили, толкая и давя друг друга, покупатели; перебродские крестьяне перемешались с приезжими, рассевшись на траве, в тени повозок. Повсюду виднелись запрокинутые назад головы и поднятые вверх бутылки. Трезвых уже не было ни одного человека. Общее опьянение дошло до того предела, когда мужик начинает бурно и хвастливо преувеличивать свой хмель, когда все движения его приобретают расслабленную и грузную размашистость, когда вместо того, например, чтобы утвердительно кивнуть головой, он оседает вниз всем туловищем, сгибает колени и, вдруг потеряв устойчивость, беспомощно пятится назад. Ребятишки возились и визжали тут же, под ногами лошадей, равнодушно жевавших сено. В ином месте баба, сама еле держась на ногах, с плачем и руганью тащила домой за рукав упиравшегося, безобразно пьяного мужа… В тени забора густая кучка, человек в двадцать мужиков и баб, тесно обсела слепого лирника, и его дрожащий, гнусавый тенор, сопровож-

даемый звенящим монотонным жужжанием инструмента, резко выделялся из сплошного гула толпы. Еще издали услышал я знакомые слова «думки»:

Ой зийшла зоря, тай вечирняя
Над Почаевым стала.
Ой вышло вийско турецкое,
Як та черная хмара…

Дальше в этой думке рассказывается о том, как турки, не осилив Почаевской лавры приступом, порешили взять ее хитростью. С этой целью они послали, как будто бы в дар монастырю, огромную свечу, начиненную порохом. Привезли эту свечу на двенадцати парах волов, и обрадованные монахи уже хотели возжечь ее перед иконой Почаевской Божией Матери, но Бог не допустил совершиться злодейскому замыслу.

А приснилося старшему чтецу:
Той свичи не брати.
Вывезти еи в чистое поле,
Сокирами зрубати.

И вот иноки

Вывезли еи в чистое поле,

Сталы еи рубати,
Кули и патроны на вси стороны
Сталы – геть! – роскидати…

Невыносимо жаркий воздух, казалось, весь был насыщен отвратительным смешанным запахом перегоревшей водки, лука, овчинных тулупов, крепкой махорки-бакуна и испарений грязных человеческих тел. Пробираясь осторожно между людьми и с трудом удерживая мотавшего головой Таранчика, я не мог не заметить, что со всех сторон меня провожали бесцеремонные, любопытные и враждебные взгляды. Против обыкновения, ни один человек не снял шапки, но шум как будто бы утих при моем появлении. Вдруг где-то в самой середине толпы раздался пьяный, хриплый выкрик, который я, однако, ясно не расслышал, но в ответ на него раздался сдержанный хохот. Какой-то женский голос стал испуганно урезонивать горлана:

— Тиши ты, дурень… Чего орешь! Услышит…

— А что мне, что услышит? — продолжал задорно мужик. — Что же он мне, начальство, что ли? Он только в лесу у своей…

Омерзительная, длинная, ужасная фраза повисла в воздухе вместе со взрывом неистового

хохота. Я быстро повернул назад лошадь и судорожно сжал рукоятку нагайки, охваченный той безумной яростью, которая ничего не видит, ни о чем не думает и ничего не боится. И вдруг странная, болезненная, тоскливая мысль промелькнула у меня в голове: «Все это уже происходило когда-то, много, много лет тому назад в моей жизни… Так же горячо палило солнце… Так же была залита шумящим, возбужденным народом огромная площадь… Так же обернулся я назад в припадке бешеного гнева… Но где это было? Когда? Когда?..» Я опустил нагайку и галопом поскакал к дому.

Ярмола, медленно вышедший из кухни, принял у меня лошадь и сказал грубо:

— Там, паныч, у вас в комнате сидит из Мариновской экономии приказчик.

Мне почудилось, что он хочет еще что-то прибавить, очень важное для меня и неприятное, мне показалось даже, что по лицу его скользнуло беглое выражение злой насмешки. Я нарочно задержался в дверях и с вызовом оглянулся на Ярмолу. Но он уже, не глядя на меня, тащил за узду лошадь, которая вытягивала вперед шею и осторожно переступала ногами.

В моей комнате я застал конторщика соседнего

имения — Никиту Назарыча Мищенку. Он был в сером пиджачке с огромными рыжими клетками, в узких брючках василькового цвета и в огненно-красном галстуке, с припомаженным пробором посередине головы, весь благоухающий персидской сиренью. Увидев меня, он вскочил со стула и принялся расшаркиваться, не кланяясь, а как-то ломаясь в пояснице, с улыбкой, обнажавшей бледные десны обеих челюстей.

— Имею честь кланяться, — любезно тараторил Никита Назарыч. — Очень приятно увидеться… А я уж тут жду вас с самой обедни. Давно я вас видел, даже соскучился за вами. Что это вы к нам никогда не заглянете? Наши степаньские барышни даже смеются с вас.

И вдруг, подхваченный внезапным воспоминанием, он разразился неудержимым хохотом.

— Вот, я вам скажу, потеха-то была сегодня! — воскликнул он, давясь и прыская. — Ха-ха-ха-ха… Я даже боки рвал со смеху!..

— Что такое? Что за потеха? — грубо спросил я, не скрывая своего неудовольствия.

— После обедни скандал здесь произошел, — продолжал Никита Назарыч, прерывая свою речь залпами хохота. — Перебродские дивчата… Нет,

ей-богу, не выдержу… Перебродские дивчата поймали здесь на площади ведьму… То есть, конечно, они ее ведьмой считают по своей мужицкой необразованности… Ну, и задали же они ей встряску!.. Хотели дегтем вымазать, да она вывернулась как-то, утекла…

Страшная догадка блеснула у меня в уме. Я бросился к конторщику и, не помня себя от волнения, крепко вцепился рукой в его плечо.

— Что вы говорите! — закричал я неистовым голосом. — Да перестаньте же ржать, черт вас подери! Про какую ведьму вы говорите?

Он вдруг сразу перестал смеяться и выпучил на меня круглые, испуганные глаза.

— Я… я… право, не знаю-с, — растерянно залепетал он. — Кажется, какая-то Самуйлиха… Мануйлиха… или… позвольте… Дочка какой-то Мануйлихи?.. Тут что-то такое болтали мужики, но я, признаться, не запомнил.

Я заставил его рассказать мне по порядку все, что он видел и слышал. Он говорил нелепо, несвязно, путаясь в подробностях, и я каждую минуту перебивал его нетерпеливыми расспросами и восклицаниями, почти бранью. Из его рассказа я понял очень мало и только месяца два спустя восстановил всю последовательность

этого проклятого события со слов его очевидицы, жены казенного лесничего, которая в тот день также была у обедни.

Мое предчувствие не обмануло меня. Олеся переломила свою боязнь и пришла в церковь; хотя она поспела только к середине службы и стала в церковных сенях, но ее приход был тотчас же замечен всеми находившимися в церкви крестьянами. Всю службу женщины перешептывались и оглядывались назад.

Однако Олеся нашла в себе достаточно силы, чтобы достоять до конца обедню. Может быть, она не поняла настоящего значения этих враждебных взглядов, может быть, из гордости пренебрегла ими. Но когда она вышла из церкви, то у самой ограды ее со всех сторон обступила кучка баб, становившаяся с каждой минутой все больше и больше и все теснее сдвигавшаяся вокруг Олеси. Сначала они только молча и бесцеремонно разглядывали беспомощную, пугливо озиравшуюся по сторонам девушку. Потом посыпались грубые насмешки, крепкие слова, ругательства, сопровождаемые хохотом, потом отдельные восклицания слились в общий пронзительный бабий гвалт, в котором ничего нельзя было разобрать и который еще больше взвинчивал нервы

расходившейся толпы. Несколько раз Олеся пыталась пройти сквозь это живое ужасное кольцо, но ее постоянно отталкивали опять на середину. Вдруг визгливый старушечий голос заорал откуда-то позади толпы: «Дегтем ее вымазать, стерву!» (Известно, что в Малороссии мазанье дегтем даже ворот того дома, где живет девушка, сопряжено для нее с величайшим несмываемым позором.) Почти в ту же минуту над головами беснующихся баб появилась мазница с дегтем и кистью, передаваемая из рук в руки.

Тогда Олеся в припадке злобы, ужаса и отчаяния бросилась на первую попавшуюся из своих мучительниц так стремительно, что сбила ее с ног. Тотчас же на земле закипела свалка, и десятки тел смешались в одну общую кричащую массу. Но Олесе прямо каким-то чудом удалось выскользнуть из этого клубка, и она опрометью побежала по дороге — без платка, с растерзанной в лохмотья одеждой, из-под которой во многих местах было видно голое тело. Вслед ей вместе с бранью, хохотом и улюлюканьем полетели камни. Однако погнались за ней только немногие, да и те сейчас же отстали… Отбежав шагов на пятьдесят, Олеся остановилась, повернула к озверевшей толпе свое бледное, исцарапанное,

окровавленное лицо и крикнула так громко, что каждое ее слово было слышно на площади:

— Хорошо же. Вы еще у меня вспомните это! Вы еще все наплачетесь досыта!

Эта угроза, как мне потом передавала та же очевидица события, была произнесена с такой страстной ненавистью, таким решительным, пророческим тоном, что на мгновение вся толпа как будто бы оцепенела, но только на мгновение, потому что тотчас же раздался новый взрыв брани.

Повторяю, что многие подробности этого происшествия я узнал гораздо позднее. У меня не хватило сил и терпения дослушать до конца рассказ Мищенки. Я вдруг вспомнил, что Ярмола, наверно, не успел еще расседлать лошадь, и, не сказав изумленному конторщику ни слова, поспешно вышел на двор. Ярмола действительно еще водил Таранчика вдоль забора. Я быстро взнуздал лошадь, затянул подпруги и объездом, чтобы опять не пробираться сквозь пьяную толпу, поскакал в лес.

XIII

Невозможно описать того состояния, в котором я находился в продолжение моей бешеной

скачки. Минутами я совсем забывал, куда и зачем еду; оставалось только смутное сознание, что совершилось что-то непоправимое, нелепое и ужасное, — сознание, похожее на тяжелую беспричинную тревогу, овладевающую иногда в лихорадочном кошмаре человеком. И в то же время — как это странно! — у меня в голове не переставал дрожать, в такт с лошадиным топотом, гнусавый, разбитый голос слепого лирника:

Ой вышло вийско турецкое,
Як та черная хмара...

Добравшись до узкой тропинки, ведшей прямо к хате Мануйлихи, я слез с Таранчика, на котором по краям потника и в тех местах, где его кожа соприкасалась со сбруей, белыми комьями выступила густая пена, и повел его в поводу. От сильного дневного жара и от быстрой езды кровь шумела у меня в голове, точно нагнетаемая каким-то огромным, безостановочным насосом.

Привязав лошадь к плетню, я вошел в хату. Сначала мне показалось, что Олеси нет дома, и у меня даже в груди и во рту похолодело от страха, но спустя минуту я ее увидел, лежащую на постели, лицом к стене, с головой, спрятанной в подушки. Она даже не обернулась на шум отво-

ряемой двери.

Мануйлиха, сидевшая тут же рядом, на земле, с трудом поднялась на ноги и замахала на меня руками.

— Тише! Не шуми ты, окаянный, — с угрозой зашептала она, подходя ко мне вплотную. И взглянув мне прямо в глаза своими выцветшими, холодными глазами, она прошипела злобно: — Что? Доигрался, голубчик?

— Послушай, бабка, — возразил я сурово, — теперь не время считаться и выговаривать. Что с Олесей?

— Тсс… тише! Без памяти лежит Олеся, вот что с Олесей… Кабы ты не лез, куда тебе не следует, да не болтал бы чепухи девчонке, ничего бы худого не случилось. И я-то, дура петая, смотрела, потворствовала… А ведь чуяло мое сердце беду… Чуяло оно недоброе с того самого дня, когда ты чуть не силою к нам в хату ворвался. Что? Скажешь, это не ты ее подбил в церковь потащиться? — вдруг с искривленным от ненависти лицом накинулась на меня старуха. — Не ты, барчук проклятый? Да не лги — и не верти лисьим хвостом-то, срамник! Зачем тебе понадобилось ее в церковь манить?

— Не манил я ее, бабка… Даю тебе слово в этом.

Сама она захотела.

— Ах ты, горе, горе мое! — всплеснула руками Мануйлиха. — Прибежала оттуда — лица на ней нет, вся рубаха в шматки растерзана… Простоволосая… Рассказывает, как что было, а сама — то хохочет, то плачет… Ну, прямо вот как кликуша какая… Легла в постель… все плакала, а потом, гляжу, как будто бы и задремала. Я-то, дура старая, обрадовалась было: вот, думаю, все сном пройдет, перекинется. Гляжу, рука у нее вниз свесилась, думаю: надо поправить, затекет рука-то… Тронула я ее, голубушку, за руку, а она вся так жаром и пышет… Значит, огневица с ней началась… С час без умолку говорила, быстро да жалостно так… Вот только-только замолчала на минуточку. Что ты наделал? Что ты наделал с ней? — с новым наплывом отчаяния воскликнула старуха.

И вдруг ее коричневое лицо собралось в чудовищную, отвратительную гримасу плача: губы растянулись и опустились по углам вниз, все личные мускулы напряглись и задрожали, брови поднялись кверху, наморщив лоб глубокими складками, а из глаз необычайно часто посыпались крупные, как горошины, слезы. Обхватив руками голову и положив локти на стол, она

принялась качаться взад и вперед всем телом и завыла нараспев вполголоса:

— Дочечка моя-а-а! Внучечка милень-кая-а-а!.. Ох, г-о-о-орько мне, то-о-ошно!..

— Да не реви ты, старая, — грубо прервал я Мануйлиху. — Разбудишь!

Старуха замолчала, но все с той же страшной гримасой на лице продолжала качаться взад и вперед, между тем как крупные слезы падали на стол… Так прошло минут с десять. Я сидел рядом с Мануйлихой и с тоской слушал, как, однообразно и прерывисто жужжа, бьется об оконное стекло муха…

— Бабушка! — раздался вдруг слабый, чуть слышный голос Олеси. — Бабушка, кто у нас?

Мануйлиха поспешно заковыляла к кровати и тотчас же опять завыла:

— Ох, внучечка моя, ро-одная-а-а! Ох, горько мне, ста-а-рой, тошно мне-е-е-е…

— Ах, бабушка, да перестань ты! — с жалобной мольбой и страданием в голосе сказала Олеся. — Кто у нас в хате сидит?

Я осторожно, на цыпочках, подошел к кровати с тем неловким, виноватым сознанием своего здоровья и своей грубости, какое всегда ощущаешь около больного.

— Это я, Олеся, — сказал я, понижая голос. — Я только что приехал верхом из деревни… А все утро я в городе был… Тебе нехорошо, Олеся?

Она, не отнимая лица от подушек, протянула назад обнаженную руку, точно ища чего-то в воздухе. Я понял это движение и взял ее горячую руку в свои руки. Два огромных синих пятна — одно над кистью, а другое повыше локтя — резко выделялись на белой нежной коже.

— Голубчик мой, — заговорила Олеся, медленно, с трудом отделяя одно слово от другого. — Хочется мне… на тебя посмотреть… да не могу я… Всю меня… изуродовали… Помнишь… тебе… мое лицо так нравилось?.. Правда, ведь нравилось, родной?.. И я так этому всегда радовалась… А теперь тебе противно будет… смотреть на меня… Ну, вот… я… и не хочу…

— Олеся, прости меня, — шепнул я, наклоняясь к самому ее уху.

Ее пылающая рука крепко и долго сжимала мою.

— Да что ты!.. Что ты, милый?.. Как тебе не стыдно и думать об этом? Чем же ты виноват здесь? Все я одна, глупая… Ну, чего я полезла… в самом деле? Нет, солнышко, ты себя не виновать…

— Олеся, позволь мне… Только обещай сначала,

что позволишь…

— Обещаю, голубчик… все, что ты хочешь…

— Позволь мне, пожалуйста, послать за доктором… Прошу тебя! Ну, если хочешь, ты можешь ничего не исполнять из того, что он прикажет. Но ты хоть для меня согласись, Олеся.

— Ох, милый… В какую ты меня ловушку поймал! Нет, уж лучше ты позволь мне своего обещания не держать. Я, если бы и в самом деле была больна, при смерти бы лежала, так и то к себе доктора не подпустила бы. А теперь я разве больна? Это просто у меня от испугу так сделалось, это пройдет к вечеру. А нет — так бабушка мне ландышевой настойки даст или малины в чайнике заварит. Зачем же тут доктор? Ты — мой доктор самый лучший. Вот ты пришел, и мне сразу легче сделалось… Ах, одно мне только нехорошо: хочу поглядеть на тебя хоть одним глазком, да боюсь…

Я с нежным усилием отнял ее голову от подушки. Лицо Олеси пылало лихорадочным румянцем, темные глаза блестели неестественно ярко, сухие губы нервно вздрагивали. Длинные красные ссадины изборождали ее лоб, щеки и шею. Темные синяки были на лбу и под глазами.

— Не смотри на меня… Прошу тебя… Гадкая я

теперь, — умоляюще шептала Олеся, стараясь своею ладонью закрыть мне глаза.

Сердце мое переполнилось жалостью. Я приник губами к Олесиной руке, неподвижно лежавшей на одеяле, и стал покрывать ее долгими, тихими поцелуями. Я и раньше целовал иногда ее руки, но она всегда отнимала их у меня с торопливым, застенчивым испугом. Теперь же она не противилась этой ласке и другой, свободной рукой тихо гладила меня по волосам.

— Ты все знаешь? — шепотом спросила она.

Я молча наклонил голову. Правда, я не все понял из рассказа Никиты Назарыча. Мне не хотелось только, чтобы Олеся волновалась, вспоминая об утреннем происшествии. Но вдруг при мысли об оскорблении, которому она подверглась, на меня сразу нахлынула волна неудержимой ярости.

— О! Зачем меня там не было в это время! — вскричал я, выпрямившись и сжимая кулаки. — Я бы… я бы…

— Ну, полно… полно… Не сердись, голубчик, — кротко прервала меня Олеся.

Я не мог более удерживать слез, давно давивших мне горло и жегших глаза. Припав лицом к плечу Олеси, я беззвучно и горько зарыдал,

сотрясаясь всем телом.

— Ты плачешь? Ты плачешь? — в голосе ее зазвучали удивление, нежность и сострадание. — Милый мой… Да перестань же, перестань… Не мучь себя, голубчик. Ведь мне так хорошо возле тебя. Не будем же плакать, пока мы вместе. Давай хоть последние дни проведем весело, чтобы нам не так тяжело было расставаться.

Я с изумлением поднял голову. Неясное предчувствие вдруг медленно сжало мое сердце.

— Последние дни, Олеся? Почему — последние? Зачем же нам расставаться?

Олеся закрыла глаза и несколько секунд молчала.

— Надо нам проститься с тобой, Ванечка, — заговорила она решительно. — Вот как только чуть-чуть поправлюсь, сейчас же мы с бабушкой и уедем отсюда. Нельзя нам здесь оставаться больше…

— Ты боишься чего-нибудь?

— Нет, мой дорогой, ничего я не боюсь, если понадобится. Только зачем же людей в грех вводить? Ты, может быть, не знаешь… Ведь я там… в Переброде… погрозилась со зла да со стыда… А теперь чуть что случится, сейчас на нас скажут: скот ли начнет падать, или хата у кого

загорится, — все мы будем виноваты. Бабушка, — обратилась она к Мануйлихе, возвышая голос, — правду ведь я говорю?

— Чего ты говорила-то, внученька? Не расслышала я, признаться! — прошамкала старуха, подходя поближе и приставляя к уху ладонь.

— Я говорю, что теперь, какая бы беда в Переброде ни случилась, все на нас с тобой свалят.

— Ох, правда, правда, Олеся, — все на нас, горемычных, свалят… Не жить нам на белом свете, изведут нас с тобой, совсем изведут, проклятики… А тогда, как меня из села выгнали… Что ж? Разве не так же было? Погрозилась я… тоже вот с досады… одной дурище полосатой, а у нее — хвать — ребенок помер. То есть ни сном ни духом тут моей вины не было, а ведь меня чуть не убили, окаянные… Камнями стали шибать… Я бегу от них, да только тебя, малолетку, все оберегаю… Ну, думаю, пусть уж мне попадет, а за что же дитю-то неповинную обижать?.. Одно слово — варвары, висельники поганые!

— Да куда же вы поедете? У вас ведь нигде ни родных, ни знакомых нет… Наконец, и деньги нужны, чтобы на новом месте устроиться.

— Обойдемся как-нибудь, — небрежно проговорила Олеся. — И деньги у бабушки найдутся,

припасла она кое-что.

— Ну уж и деньги тоже! — с неудовольствием возразила старуха, отходя от кровати. — Копеечки сиротские, слезами облитые…

— Олеся… А я как же? Обо мне ты и думать даже не хочешь! — воскликнул я, чувствуя, как во мне подымается горький, больной, недобрый упрек против Олеси.

Она привстала и, не стесняясь присутствием бабки, взяла руками мою голову и несколько раз подряд поцеловала меня в лоб и щеки.

— Об тебе я больше всего думаю, мой родной. Только… видишь ли… не судьба нам вместе быть… вот что!.. Помнишь, я на тебя карты бросала? Ведь все так и вышло, как они сказали тогда. Значит, не хочет судьба нашего с тобой счастья… А если бы не это, разве, ты думаешь, я чего-нибудь испугалась бы?

— Олеся, опять ты про свою судьбу? — воскликнул я нетерпеливо. — Не хочу я в нее верить… и не буду никогда верить!..

— Ох, нет, нет… не говори этого, — испуганно зашептала Олеся. — Я не за себя, за тебя боюсь, голубчик. Нет, лучше ты уж об этом и разговора не начинай совсем.

Напрасно я старался разубедить Олесю, напрас-

но рисовал перед ней картины безмятежного счастья, которому не помешают ни завистливая судьба, ни грубые, злые люди. Олеся только целовала мои руки и отрицательно качала головой.

— Нет… нет… нет… я знаю, я вижу, — твердила она настойчиво. — Ничего нам, кроме горя, не будет… ничего… ничего…

Растерянный, сбитый с толку этим суеверным упорством, я наконец спросил:

— Но ведь, во всяком случае, ты дашь мне знать о дне отъезда?

Олеся задумалась. Вдруг слабая улыбка пробежала по ее губам.

— Я тебе на это скажу маленькую сказочку… Однажды волк бежал по лесу, увидел зайчика и говорит ему: «Заяц, а заяц, ведь я тебя съем!» Заяц стал проситься: «Помилуй меня, волк, мне еще жить хочется, у меня дома детки маленькие». Волк не соглашается. Тогда заяц говорит: «Ну, дай мне хоть три дня еще на свете пожить, а потом и съешь. Все же мне легче умирать будет». Дал ему волк эти три дня, не ест его, а только все стережет. Прошел один день, прошел другой, наконец и третий кончается. «Ну, теперь готовься, — говорит волк, — сейчас я начну тебя есть». Тут мой заяц и заплакал горючими слезами:

«Ах, зачем ты мне, волк, эти три дня подарил! Лучше бы ты сразу меня съел, как только увидел. А то я все три дня не жил, а только терзался!» Милый мой, ведь зайчик-то этот правду сказал. Как ты думаешь?

Я молчал, охваченный тоскливым предчувствием близкого одиночества. Олеся вдруг поднялась и присела на постели. Лицо ее стало сразу серьезным.

— Ваня, послушай… — произнесла она с расстановкой. — Скажи мне: покамест ты был со мною, был ли ты счастлив? Хорошо ли тебе было?

— Олеся! И ты еще спрашиваешь!

— Подожди… Жалел ли ты, что узнал меня? Думал ли ты о другой женщине, когда виделся со мною?

— Ни одного мгновения! Не только в твоем присутствии, но даже и оставшись один, я ни о ком, кроме тебя, не думал.

— Ревновал ли ты меня? Был ли ты когда-нибудь на меня недоволен? Не скучал ли ты со мною?

— Никогда, Олеся! Никогда!

Она положила обе руки мне на плечи и с невыразимой любовью поглядела в мои глаза.

— Так и знай же, мой дорогой, что никогда ты

обо мне не вспомнишь дурно или со злом, — сказала она так убедительно, точно читала у меня в глазах будущее. — Как расстанемся мы с тобой, тяжело тебе в первое время будет, ох как тяжело… Плакать будешь, места себе не найдешь нигде. А потом все пройдет, все изгладится. И уж без горя ты будешь обо мне думать, а легко и радостно.

Она опять откинулась головой на подушки и прошептала ослабевшим голосом:

— А теперь поезжай, мой дорогой… Поезжай домой, голубчик… Устала я немножко. Подожди… поцелуй меня… Ты бабушки не бойся… она позволит. Позволишь ведь, бабушка?

— Да уж простись, простись как следует, — недовольно проворчала старуха. — Чего же передо мной таиться-то?.. Давно знаю…

— Поцелуй меня сюда, и сюда еще… и сюда, — говорила Олеся, притрагиваясь пальцем к своим глазам, щекам и рту.

— Олеся! Ты прощаешься со мною так, как будто бы мы уже не увидимся больше! — воскликнул я с испугом.

— Не знаю, не знаю, мой милый. Ничего не знаю. Ну поезжай с богом. Нет, постой… еще минуточку… Наклони ко мне ухо… Знаешь, о чем я жалею? — зашептала она, прикасаясь губами

к моей щеке. — О том, что у меня нет от тебя ребеночка… Ах, как я была бы рада этому!

Я вышел на крыльцо в сопровождении Мануйлихи. Полнеба закрыла черная туча с резкими курчавыми краями, но солнце еще светило, склоняясь к западу, и в этом смешении света и надвигающейся тьмы было что-то зловещее. Старуха посмотрела вверх, прикрыв глаза, как зонтиком, ладонью, и значительно покачала головой.

— Быть сегодня над Перебродом грозе, — сказала она убедительным тоном. — А чего доброго, даже и с градом.

XIV

Я подъезжал уже к Переброду, когда внезапный вихрь закрутил и погнал по дороге столбы пыли. Упали первые — редкие и тяжелые — капли дождя.

Мануйлиха не ошиблась. Гроза, медленно накоплявшаяся за весь этот жаркий, нестерпимо душный день, разразилась с необыкновенной силой над Перебродом. Молния блистала почти беспрерывно, и от раскатов грома дрожали и звенели стекла в окнах моей комнаты. Часов около восьми вечера гроза утихла на несколько минут, но только для того, чтобы потом начаться

с новым ожесточением. Вдруг что-то с оглушительным треском посыпалось на крышу и на стены старого дома. Я бросился к окну. Огромный град, с грецкий орех величиной, стремительно падал на землю, высоко подпрыгивая потом кверху. Я взглянул на тутовое дерево, росшее около самого дома, — оно стояло совершенно голое, все листья были сбиты с него страшными ударами града… Под окном показалась еле заметная в темноте фигура Ярмолы, который, накрывшись с головой свиткой, выбежал из кухни, чтобы притворить ставни. Но он опоздал. В одно из стекол вдруг с такой силой ударил громадный кусок льду, что оно разбилось, и осколки его со звоном разлетелись по полу комнаты.

Я почувствовал себя утомленным и прилег, не раздеваясь, на кровать. Я думал, что мне вовсе не удастся заснуть в эту ночь и что я до утра буду в бессильной тоске ворочаться с боку на бок, поэтому я решил лучше не снимать платья, чтобы потом хоть немного утомить себя однообразной ходьбой по комнате. Но со мной случилась очень странная вещь: мне показалось, что я только на минутку закрыл глаза; когда же я раскрыл их, то сквозь щели ставен уже тянулись длинные яркие лучи солнца, в которых кружились бесчис-

ленные золотые пылинки.

Над моей кроватью стоял Ярмола. Его лицо выражало суровую тревогу и нетерпеливое ожидание: должно быть, он уже давно дожидался здесь моего пробуждения.

— Паныч, — сказал он своим тихим голосом, в котором слышалось беспокойство. — Паныч, треба вам отсюда уезжать…

Я свесил ноги с кровати и с изумлением поглядел на Ярмолу.

— Уезжать? Куда уезжать? Зачем? Ты, верно, с ума сошел?

— Ничего я с ума не сходил, — огрызнулся Ярмола. — Вы не чули, что вчерашний град наробил? У половины села жито, как ногами, потоптано. У кривого Максима, у Козла, у Мута, у Прокопчуков, у Гордия Олефира… наслала-таки шкоду ведьмака чертова… чтоб ей сгинуть!

Мне вдруг, в одно мгновение, вспомнился весь вчерашний день, угроза, произнесенная около церкви Олесей, и ее опасения.

— Теперь вся громада бунтуется, — продолжал Ярмола. — С утра все опять перепились и орут… И про вас, панычу, кричат недоброе… А вы знаете, яка у нас громада?.. Если они ведьмакам що зробят, то так и треба, то справедливое дело, а вам,

панычу, я скажу одно — утекайте скорейше.

Итак, опасения Олеси оправдались. Нужно было немедленно предупредить ее о грозившей ей и Мануйлихе беде. Я торопливо оделся, на ходу сполоснул водою лицо и через полчаса уже ехал крупной рысью по направлению Бисова Кута.

Чем ближе подвигался я к избушке на курьих ножках, тем сильнее возрастало во мне неопределенное, тоскливое беспокойство. Я с уверенностью говорил самому себе, что сейчас меня постигнет какое-то новое, неожиданное горе.

Почти бегом пробежал я узкую тропинку, вившуюся по песчаному пригорку. Окна хаты были открыты, дверь растворена настежь.

— Господи! Что же такое случилось? — прошептал я, входя с замиранием сердца в сени.

Хата была пуста. В ней господствовал тот печальный, грязный беспорядок, который всегда остается после поспешного выезда. Кучи сора и тряпок лежали на полу, да в углу стоял деревянный остов кровати…

С стесненным, переполненным слезами сердцем я хотел уже выйти из хаты, как вдруг мое внимание привлек яркий предмет, очевидно нарочно повешенный на угол оконной рамы. Это была нитка дешевых красных бус, известных в Полесье под названием «кораллов», — единственная вещь, которая осталась мне на память об Олесе и об ее нежной, великодушной любви.

1898

Куст сирени

Николай Евграфович Алмазов едва дождался, пока жена отворила ему двери, и, не снимая пальто, в фуражке прошел в свой кабинет. Жена, как только увидела его насупившееся лицо со сдвинутыми бровями и нервно закушенной нижней губой, в ту же минуту поняла, что произошло очень большое несчастие… Она молча пошла следом за мужем. В кабинете Алмазов простоял с минуту на одном месте, глядя куда-то в угол. Потом он выпустил из рук портфель, который упал на пол и раскрылся, а сам бросился в кресло, злобно хрустнув сложенными вместе пальцами…

Алмазов, молодой небогатый офицер, слушал лекции в Академии генерального штаба и теперь только что вернулся оттуда. Он сегодня представлял профессору последнюю и самую трудную практическую работу — инструментальную съемку местности…

До сих пор все экзамены сошли благополучно, и только одному Богу да жене Алмазова было известно, каких страшных трудов они стоили… Начать с того, что самое поступление в академию

казалось сначала невозможным. Два года подряд Алмазов торжественно проваливался и только на третий упорным трудом одолел все препятствия. Не будь жены, он, может быть, не найдя в себе достаточно энергии, махнул бы на все рукою. Но Верочка не давала ему падать духом и постоянно поддерживала в нем бодрость… Она приучилась встречать каждую неудачу с ясным, почти веселым лицом. Она отказывала себе во всем необходимом, чтобы создать для мужа хотя и дешевый, но все-таки необходимый для занятого головной работой человека комфорт. Она бывала, по мере необходимости, его переписчицей, чертежницей, чтицей, репетиторшей и памятной книжкой.

Прошло минут пять тяжелого молчания, тоскливо нарушаемого хромым ходом будильника, давно знакомым и надоевшим: раз, два, три-три: два чистых удара, третий с хриплым перебоем. Алмазов сидел, не снимая пальто и шапки и отворотившись в сторону… Вера стояла в двух шагах от него также молча, с страданием на красивом, нервном лице. Наконец она заговорила первая, с той осторожностью, с которой говорят только женщины у кровати близкого труднобольного человека…

— Коля, ну как же твоя работа?.. Плохо?

Он передернул плечами и не отвечал.

— Коля, забраковали твой план? Ты скажи, все равно ведь вместе обсудим.

Алмазов быстро повернулся к жене и заговорил горячо и раздраженно, как обыкновенно говорят, высказывая долго сдержанную обиду.

— Ну да, ну да, забраковали, если уж тебе так хочется знать. Неужели сама не видишь? Все к черту пошло!.. Всю эту дрянь, — и он злобно ткнул ногой портфель с чертежами, — всю эту дрянь хоть в печку выбрасывай теперь! Вот тебе и академия! Через месяц опять в полк, да еще с позором, с треском. И это из-за какого-то поганого пятна… О, черт!

— Какое пятно, Коля? Я ничего не понимаю.

Она села на ручку кресла и обвила рукой шею Алмазова. Он не сопротивлялся, но продолжал смотреть в угол с обиженным выражением.

— Какое же пятно, Коля? — спросила она еще раз.

— Ах, ну, обыкновенное пятно, зеленой краской. Ты ведь знаешь, я вчера до трех часов не ложился, нужно было окончить. План прекрасно вычерчен и иллюминован. Это все говорят. Ну, засиделся я вчера, устал, руки начали дрожать — и посадил

пятно… Да еще густое такое пятно… жирное. Стал подчищать и еще больше размазал. Думал я, думал, что теперь из него сделать, да и решил кучу деревьев на том месте изобразить… Очень удачно вышло, и разобрать нельзя, что пятно было. Приношу нынче профессору. «Так, так, н-да. А откуда у вас здесь, поручик, кусты взялись?» Мне бы нужно было так и рассказать, как все было. Ну, может быть, засмеялся бы только… Впрочем, нет, не рассмеется — аккуратный такой немец, педант. Я и говорю ему: «Здесь действительно кусты растут». А он говорит: «Нет, я эту местность знаю, как свои пять пальцев, и здесь кустов быть не может». Слово за слово, у нас с ним завязался крупный разговор. А тут еще много наших офицеров было. «Если вы так утверждаете, говорит, что на этой седловине есть кусты, то извольте завтра же ехать туда со мной верхом… Я вам докажу, что вы или небрежно работали, или счертили прямо с трехверстной карты…»

— Но почему же он так уверенно говорит, что там нет кустов?

— Ах, господи, почему? Какие ты, ей-богу, детские вопросы задаешь. Да потому, что он вот уже двадцать лет местность эту знает лучше, чем свою спальню. Самый безобразнейший педант,

какие только есть на свете, да еще немец вдобавок… Ну и окажется в конце концов, что я лгу и в препирательство вступаю… Кроме того…

Во все время разговора он вытаскивал из стоявшей перед ним пепельницы горелые спички и ломал их на мелкие кусочки, а когда замолчал, то с озлоблением швырнул их на пол. Видно было, что этому сильному человеку хочется заплакать.

Муж и жена долго сидели в тяжелом раздумье, не произнося ни слова. Но вдруг Верочка энергичным движением вскочила с кресла.

— Слушай, Коля, нам надо сию минуту ехать! Одевайся скорей.

Николай Евграфович весь сморщился, точно от невыносимой физической боли.

— Ах, не говори, Вера, глупостей. Неужели ты думаешь, я поеду оправдываться и извиняться. Это значит над собой прямо приговор подписать. Не делай, пожалуйста, глупостей.

— Нет, не глупости, — возразила Вера, топнув ногой. — Никто тебя не заставляет ехать с извинением… А просто, если там нет таких дурацких кустов, то их надо посадить сейчас же.

— Посадить?.. Кусты?.. — вытаращил глаза Николай Евграфович.

— Да, посадить. Если уж сказал раз неправду — надо поправлять. Собирайся, дай мне шляпку… Кофточку… Не здесь ищешь, посмотри в шкапу… Зонтик!

Пока Алмазов, пробовавший было возражать, но невыслушанный, отыскивал шляпку и кофточку, Вера быстро выдвигала ящики столов и комодов, вытаскивала корзины и коробочки, раскрывала их и разбрасывала по полу.

— Серьги… Ну, это пустяки… За них ничего не дадут… А вот это кольцо с солитером дорогое… Надо непременно выкупить… Жаль будет, если пропадет. Браслет… тоже дадут очень мало. Старинный и погнутый… Где твой серебряный портсигар, Коля?

Через пять минут все драгоценности были уложены в ридикюль. Вера, уже одетая, последний раз оглядывалась кругом, чтобы удостовериться, не забыто ли что-нибудь дома.

— Едем, — сказала она наконец решительно.

— Но куда же мы поедем? — пробовал протестовать Алмазов. — Сейчас темно станет, а до моего участка почти десять верст.

— Глупости… Едем!

Раньше всего Алмазовы заехали в ломбард. Видно было, что оценщик так давно привык к еже-

дневным зрелищам человеческих несчастий, что они вовсе не трогали его. Он так методично и долго рассматривал привезенные вещи, что Верочка начинала уже выходить из себя. Особенно обидел он ее тем, что попробовал кольцо с брильянтом кислотой и, взвесив, оценил его в три рубля.

— Да ведь это настоящий брильянт, — возмущалась Вера, — он стоит тридцать семь рублей, и то по случаю.

Оценщик с видом усталого равнодушия закрыл глаза.

— Нам это все равно-с, сударыня. Мы камней вовсе не принимаем, — сказал он, бросая на чашечку весов следующую вещь, — мы оцениваем только металлы-с.

Зато старинный и погнутый браслет, совершенно неожиданно для Веры, был оценен очень дорого. В общем, однако, набралось около двадцати трех рублей. Этой суммы было более чем достаточно.

Когда Алмазовы приехали к садовнику, белая петербургская ночь уже разлилась по небу и в воздухе синим молоком. Садовник, чех, маленький старичок в золотых очках, только что садился со своей семьею за ужин. Он был очень изумлен и недоволен поздним появлением за-

казчиков и их необычной просьбой. Вероятно, он заподозрил какую-нибудь мистификацию и на Верочкины настойчивые просьбы отвечал очень сухо:

— Извините. Но я ночью не могу посылать в такую даль рабочих. Если вам угодно будет завтра утром — то я к вашим услугам.

Тогда оставалось только одно средство: рассказать садовнику подробно всю историю с злополучным пятном, и Верочка так и сделала. Садовник слушал сначала недоверчиво, почти враждебно, но когда Вера дошла до того, как у нее возникла мысль посадить куст, он сделался внимательнее и несколько раз сочувственно улыбался.

— Ну, делать нечего, — согласился садовник, когда Вера кончила рассказывать, — скажите, какие вам можно будет посадить кусты?

Однако из всех пород, какие были у садовника, ни одна не оказывалась подходящей: волей-неволей пришлось остановиться на кустах сирени.

Напрасно Алмазов уговаривал жену отправиться домой. Она поехала вместе с мужем за город, все время, пока сажали кусты, горячо суетилась и мешала рабочим и только тогда согласилась ехать домой, когда удостоверилась, что дерн око-

ло кустов совершенно нельзя отличить от травы, покрывавшей всю седловинку.

На другой день Вера никак не могла усидеть дома и вышла встретить мужа на улицу. Она еще издали, по одной только живой и немного подпрыгивающей походке, узнала, что история с кустами кончилась благополучно… Действительно, Алмазов был весь в пыли и едва держался на ногах от усталости и голода, но лицо его сияло торжеством одержанной победы.

— Хорошо! Прекрасно! — крикнул он еще за десять шагов в ответ на тревожное выражение женина лица. — Представь себе, приехали мы с ним к этим кустам. Уж глядел он на них, глядел, даже листочек сорвал и пожевал. «Что это за дерево?» — спрашивает. Я говорю: «Не знаю, ваше-ство». — «Березка, должно быть?» — говорит. Я отвечаю: «Должно быть, березка, ваше-ство». Тогда он повернулся ко мне и руку даже протянул. «Извините, говорит, меня, поручик. Должно быть, я стареть начинаю, коли забыл про эти кустики». Славный он, профессор, и умница такой. Право, мне жаль, что я его обманул. Один из лучших профессоров у нас. Знания — просто чудовищные. И какая быстрота и точность в оценке местности — удивительно!

Но Вере было мало того, что он рассказал. Она заставляла его еще и еще раз передавать ей в подробностях весь разговор с профессором. Она интересовалась самыми мельчайшими деталями: какое было выражение лица у профессора, каким тоном он говорил про свою старость, что чувствовал при этом сам Коля…

И они шли домой так, как будто бы кроме них никого на улице не было: держась за руки и беспрестанно смеясь. Прохожие с недоумением останавливались, чтобы еще раз взглянуть на эту странную парочку…

Николай Евграфович никогда с таким аппетитом не обедал, как в этот день… После обеда, когда Вера принесла Алмазову в кабинет стакан чаю, — муж и жена вдруг одновременно засмеялись и поглядели друг на друга.

— Ты — чему? — спросила Вера.

— А ты чему?

— Нет, ты говори первый, а я потом.

— Да так, глупости. Вспомнилась вся эта история с сиренью. А ты?

— Я тоже глупости, и тоже — про сирень. Я хотела сказать, что сирень теперь будет навсегда моим любимым цветком…

Сентиментальный роман

Дорогой друг мой!

Опять, как и прошлой весной, я приехала сюда, на берег моря, в нашу санаторию. Даже и номер мне попался тот же самый. Только в нем зимой переменили обои, и потому в комнате до сих пор слегка пахнет клеем. Не знаю, как у других, но у меня этот запах всегда вызывает ту сладкую и тихую грусть, которая так неразрывно связана с воспоминаниями детства. Может быть, это осталось у меня еще с института. Помню, как, бывало, привозили меня туда после долгих летних каникул. Ходишь по давно знакомым дортуарам, по классам, по коридорам и везде слышишь запах клея, свежей краски, известки и лака. И чувствуешь с тревожной грустью, что опять переступаешь через какую-то новую грань жизни, и смутно жалеешь о прошедшем, оставшемся по ту сторону, — сером, будничном, неприятном, но уже потому бесконечно милом, что оно прошло и никогда-никогда не повторится… Ах, это прошлое! Какое таинственное, неотразимое обаяние сохраняет оно над нашей душой! Ведь и вам, мой дорогой, я только потому осмеливаюсь

писать, что сегодня с самого утра чувствую себя во власти прошлогодних воспоминаний.

Я сижу в настоящую минуту за письменным столом, но стоит мне оторвать от него глаза, и я вижу море, то самое море, в которое мы с вами — помните? — были так поэтически влюблены. Впрочем, даже и не глядя, я чувствую его. Оно как будто бы подымается вверх ровной, темно-синей пеленой до половины моего окна, раскрытого настежь. Над ним — голубое небо, совсем безоблачное и торжественно-спокойное. А под окном цветет яблоня. Одна из ее ветвей — такая пышная, вся сплошь покрытая нежными цветами, прозрачно-белыми на солнце и чуть-чуть розовыми в тени, — заглядывает ко мне в комнату. Когда с моря набегает легкий ветерок, она слабо раскачивается, точно кланяясь мне с тихим дружеским приветом, и еле слышно шуршит о зеленый решетчатый ставень. Я смотрю и не могу досыта насмотреться на эти плавные движения белой, осыпанной цветами ветки, которая с такой мягкой, прелестной отчетливостью, так грациозно рисуется на глубокой, могучей и радостной синеве моря… И мне просто хочется плакать от умиления перед этой незатейливой красотой.

Наша санатория тонет (простите за старенькое сравнение) в белых волнах цветущих груш, яблонь, миндаля и абрикосов. Говорят, что на языке прежних обитателей-черкесов эта очаровательная приморская деревушка называлась «Белой невестой». Какое милое и какое верное название! Так и веет от него колоритным языком восточной поэзии, чем-то выхваченным прямо из «Песни Песней» царя Соломона.

Дорожки нашего сада густо покрыты падающими с деревьев легкими белыми лепестками, а когда подымается ветер, то кажется, будто снег крупными хлопьями медленно опускается с деревьев на землю. Эти легкие снежинки залетают ко мне в комнату, осыпают письменный стол, садятся на платье и на волосы… и я не могу, да и не хочу отделаться от воспоминаний, которые волнуют меня и кружат мне голову, как старое ароматное вино…

Это было прошлой весной, на третий или на четвертый день после вашего приезда в санаторию. Было такое же тихое, прохладное, сияющее утро. Мы сидели на южной веранде, я — в кресле-качалке, крытом голубой парусиной (помните это кресло?), а вы — на перилах веранды, прислонившись к угловому столбу и обхватив его рукой.

Боже мой! Вот и сейчас, написав эти строчки, я остановилась, закрыла на несколько мгновений глаза руками, и опять передо мною с необыкновенной ясностью стало ваше тогдашнее лицо — худое, бледное, с тонкими, изящными чертами, с прядью темных волос, небрежно свесившихся на белый лоб, и с глубокими, печальными глазами. Я представляю себе даже ту задумчивую и рассеянную улыбку, которая чуть заметно трогала ваши губы, когда вы говорили, мечтательно глядя на падающие лепестки белых цветов: — Вот и яблони осыпаются… А весна ведь только в самом начале. Отчего этот быстрый и пышный расцвет южной весны всегда возбуждает во мне такое болезненное ощущение тоски и неудовлетворенности? Кажется, не далее как вчера я с волнением глядел, как наливаются первые почки, а сегодня уж облетают цветы, и знаешь, что завтра придет холодная осень. Не правда ли, как это похоже на нашу жизнь? Смолоду живешь одними надеждами, все думаешь, вот-вот настанет что-то великое, захватывающее, а потом вдруг точно проснешься и видишь, что у тебя ничего не осталось, кроме воспоминаний и тоски по прошлому, и сам не можешь сказать, в какую пору прошла твоя настоящая жизнь — полная,

сознательно прекрасная жизнь.

Видите, как хорошо я помню ваши слова. Все, что связано с вами, запечатлелось в моей душе яркими, выпуклыми образами, которыми я так дорожу, любуюсь и наслаждаюсь, как скупой своим золотом. Я вам признаюсь даже, что приехала я сюда только потому, что мне хотелось еще раз увидеть хоть из окна кусочек нашего моря и нашего неба, чувствовать тонкий аромат цветущей яблони, слышать по вечерам сухое стрекотание кузнечиков и… без конца переживать воображением те наивные, бледные воспоминания, над мелочностью которых рассмеялся бы здоровый человек. Ах, эти здоровые люди!.. С их грубым аппетитом к жизни, с бездной могучих ощущений, испытываемых их крепким телом и равнодушно расточительной душой, они даже и представить себе не могут тех неуловимо тонких, непередаваемо сложных оттенков настроений, которые постоянно испытываем мы, обреченные чуть ли не с самого дня рождения на однообразное прозябание в больницах, курортах и санаториях!..

Здесь все по-прежнему. Только вас нет, мой дорогой друг и учитель. Вы, конечно, догадываетесь, что я по газетным вестям узнала о том,

что ваше здоровье поправилось и что вы снова заняли кафедру. Наш милейший, жизнерадостный, как и всегда, доктор подтвердил это, сияя от самодовольствия. Без сомнения, он приписывает ваше выздоровление своей системе теплых ванн и изобретенному им пищевому режиму. Ни в то, ни в другое, как вам известно, я не верю, но тем не менее готова была расцеловать этого добродушного эгоиста и наивного корыстолюбца за его сообщение о вашем здоровье.

Зато мной он совсем не доволен: это я видела по тому, как он покачивал головой, морщил губы и громко, с озабоченной серьезностью, дышал носом, когда и выстукивал мою грудь. В заключение он советовал мне перебраться куда-нибудь на настоящий юг — в Ментону или даже в Каир; советовал с неуклюжей и шутливой осторожностью, плохо, однако, маскировавшей беспокойство, которое бегало в его глазах. Очевидно, он боится того плохого впечатления, которое произведет среди его пациентов моя смерть, и заранее хочет избавить их от этой неприятности. Мне очень жаль будет причинить невольно ущерб доброй репутации его заведения, но все-таки я считаю себя вправе позволить себе роскошь умереть именно в этом месте, освященном трогательной

прелестью ранней весны.

Тем более что это случится гораздо скорее, чем он предполагает; может быть, даже раньше, чем облетят последние белые лепестки с моей яблони. Скажу вам по секрету, что я уже не хожу никуда дальше веранды, да и это мне страшно трудно, хотя у меня все же хватает мужества отвечать беспечной улыбкой на тревожно-вопросительные взгляды доктора. Но не думайте, что я жалуюсь вам в себялюбивой надежде вызвать к себе сострадание. Нет! Я просто хочу воспользоваться правом умирающей говорить то, о чем из условной стыдливости молчат здоровые люди. Кроме того, мне хочется сказать вам, что смерть совсем не страшит меня и что вам, мой друг, только вам я обязана этим философским спокойствием. Я теперь вполне понимаю ваши слова: «Смерть есть наиболее простое и нормальное из всех жизненных явлений. Человек рождается на свет и живет вследствие одних случайностей, но только умирает по неизбежному закону». Этот прекрасный афоризм стал мне теперь особенно понятен.

Да, вы многому научили меня. Без вас я никогда не постигла бы тех тонких, медленных наслаждений, которые может дать прочитанная

книга, изящная и глубокая мысль творческого ума, вдохновенная музыка, красота солнечного заката, аромат цветка и, главное — самое главное, — духовное общение двух утонченных натур, у которых благодаря тяжелому недугу нервная восприимчивость доходит до степени экзальтации, а взаимное понимание принимает характер безмолвного ясновидения.

Помните ли вы наши долгие, неторопливые прогулки вдоль морского берега, под отвесными лучами солнца, в те знойные, ленивые, полуденные часы, когда все, кажется, замирает в бессильной истоме и только волны с тихим шелестом и шипением набегают на желтый горячий песок и уходят назад в сверкающее море, оставляя после себя влажную зубчатую кайму, которая так же быстро исчезает, как след от дыхания на стекле? Помните ли, как тайком от доктора, не позволявшего никому оставаться на воздухе после солнечного заката, мы пробирались в теплые лунные ночи на террасу? Свет месяца прорезывал густые шпалеры из дикого винограда и причудливым легким кружевом ложился на полу и на белой стене. В темноте мы не видели, но угадывали друг друга, и боязливый шепот, которым мы должны были из предосто-

рожности разговаривать, сообщал даже самым простым словам глубокое, интимное, волнующее значение. Помните ли, как в дождливые дни, когда море на целые сутки заволакивалось туманом, а в воздухе пахло мокрым песком, рыбою и освеженными листьями, мы забирались в мою уютную комнату и читали Шекспира, читали понемножку, как истинные лакомки, вдумчиво наслаждаясь каждой страницей, каждой искрой этого великого ума, который становился для меня еще глубже, еще проникновеннее благодаря вашим тонким комментариям. Эти книжки в мягких переплетах из нежного зеленого сафьяна и теперь со мной. В них, на некоторых страницах, до сих пор остались кое-где ваши «отметки резкие ногтей», и, когда я вновь вижу эти уцелевшие символы, так живо напоминающие мне о вашем нежном восторге перед красотами и безднами шекспировского гения, мной овладевает тихое, меланхолическое умиление.

Помните ли… Ах, я без конца готова была бы повторять этот вопрос, но я чувствую, что уже начинаю уставать, а, между прочим, мне еще хочется сказать вам так много.

Ведь вы, конечно, можете себе представить, что здесь, в санатории, я осуждена на вечное молча-

ние. Меня просто из себя выводят эти обычные, стереотипные фразы, которыми обмениваются наши больные, встречаясь поневоле за завтраком, за обедом, за чаем. Говорят все об одном и том же: один взял сегодня утром ванну двумя градусами ниже вчерашнего, другой съел винограду на фунт больше, третий взобрался, не останавливаясь, на крутой откос, ведущий к морю, и — представьте! — даже не запыхался. О своих болезнях рассказывают подолгу, с эгоистичным удовольствием, иногда с противными подробностями… Каждому непременно хочется уверить остальных, что таких необычайных осложнений и таких жестоких страданий, как у него, не может быть ни у кого другого. Беда, когда сталкиваются два конкурента, хотя бы по вопросу о простой головной боли. Тут пускаются в ход презрительные пожатия плечами, кривые иронические улыбки, высокомерные мины и самые «ледяные» взгляды: «Что вы мне говорите о своей мигрени! Ха-ха! Это, право, даже смешно! Воображаю, что бы вы сказали, если бы у вас были такие жестокие боли, какие я испытываю каждый день!» Болезнь здесь служит предметом гордости и соревнования, каким-то странным патентом на смешное самоуважение, чем-то

вроде почетного ордена. Положим, я замечала это явление и у здоровых людей, но здесь, среди больных… оно становится ужасным, отвратительным, невероятным!..

Поэтому я всегда радуюсь, когда наконец остаюсь одна в моем уютном и недоступном уголке. Впрочем, нет, — я не одна, со мной постоянно вы и моя любовь. Вот я выговорила это слово, и оно вовсе не обожгло моих губ, как это бывает в романах.

Впрочем, я и сама не знаю, можно ли называть любовью это тихое, бледное, полумистическое чувство?

Я не стану от вас скрывать, что девушки нашего круга имеют о любви гораздо более точные и реальные сведения, чем это предполагают их родители, благодушно глядя сквозь пальцы на модное ухаживание. В институте об этом предмете говорят очень много, причем любопытство придает ему какие-то таинственные, преувеличенные, даже уродливые свойства. Из романов и из рассказов замужних подруг мы узнаем о безумных поцелуях, о жарких объятиях, о ночах блаженства, о неге и бог знает о чем еще. Все это мы воспринимаем инстинктом, полусознательно и — вероятно, в зависимости

от темперамента, испорченности и догадливости — в большей или меньшей степени глубоко… В этом смысле моя любовь — не любовь, а сентиментальная и смешная игра воображения. Больная, хилая и слабая — я с самого детства питала ужас ко всем явлениям, где так или иначе выказывается физическая мощь, грубое здоровье и алчность к жизни. Быстрая езда на лошадях, вид рабочего, несущего на спине огромную тяжесть, большая толпа, громкий крик, чрезмерный аппетит, сильные запахи — все это приводит меня в трепет или вызывает во мне брезгливость. И эти же самые чувства я испытываю, когда моя мысль случайно остановится на настоящей чувственной любви здоровых людей, с ее тяжелыми, нелепыми и бесстыдными деталями.

Но если назвать любовью то исключительно тонкое духовное слияние двух людей, при котором чувства и мысли одного какими-то таинственными токами передаются другому, когда слова уступают место безмолвным взглядам, когда чуть заметное дрожание век или слабая тень улыбки в глазах говорят иной раз гораздо больше, чем длинное признание в любви у «людей шаблона» (употребляю ваше же выражение), когда, быстро встретившись глазами за общим столом

или в гостиной, при входе нового лица или после только что сказанной кем-нибудь глупости, два человека умеют без слов поделиться общим впечатлением — одним словом, если такого рода отношения можно назвать любовью, то я смело скажу, что не только одна я, но что мы оба с вами любили друг друга…

И даже… даже не той любовью, которую насмешливо называют братской. Это я знаю потому, что у меня очень ярко сохранилось воспоминание об одном случае… единственном случае, рассказывая о котором я боюсь покраснеть. Это произошло над обрывом моря, в виноградной беседке, которую и теперь, как и в прошлом году, с жеманной чувствительностью называют «беседкой любви». Было тихое-тихое утро, и море казалось зеленым, того бледного и блестящего зеленого цвета, который бывает у некоторых пород малахита; иногда по его спокойной глади медленно проползало плохое, неровное фиолетовое пятно — тень от облака. В предшествующую ночь я плохо спала, и потому встала вся разбитая, с головной болью и туго натянутыми нервами. За чаем я поссорилась с доктором, не так из-за его запрещения купаться в открытом море, как из-за его самоуверенного и пышущего здоровьем вида.

Жалуясь вам на него, в беседке, я расплакалась. Помните ли вы этот случай? Вы растерялись, говорили какие-то бессвязные, но милые, ласковые слова и осторожно гладили меня, как ребенка, по волосам. Это участие совсем растрогало меня, я прижалась головой к вашему плечу, и вы… вы поцеловали меня несколько раз подряд в висок и в щеку. И я должна сознаться (так я и знала, что покраснею на том месте письма!..), что эти поцелуи не только не были мне противны, но даже доставили мне приятное, чисто физическое удовольствие, похожее на ощущение легкой, теплой волны, пробежавшей по всему моему телу с головы до ног.

Но этот случай был единственный. Ведь вы сами, мой друг, говорили неоднократно, что для таких, как мы с вами, истощенных туберкулезом людей целомудрие является не добродетелью, а долгом.

И все-таки эта любовь, блеснувшая на мой печальный закат, была так ясна, так нежна, так болезненно прекрасна! Помнится мне, еще совсем маленькой девочкой-институткой, я лежала в лазарете, в громадной, пустой, страшно высокой комнате, лежала почему-то отдельно от других больных и невыносимо скучала. И вот

однажды мое внимание привлекла простая, но удивительная вещь: за окном, в амбразуре, из мха, покрывавшего кое-где выступы старой доекатерининской стены, вырос цветок. Это был настоящий больничный цветок, с венчиком в виде крошечной желтой звездочки и с длинным, тонким, хрупким, белесовато-зеленым стебельком. Я почти не отрывала от него глаз и чувствовала к нему какую-то жалостливую, задумчивую любовь. Дорогой мой, любимый! Этот больной, слабый желтый цветок — ведь это моя любовь к вам.

Вот и все, что я хотела сказать. Прощайте. Я знаю, что мое письмо немного растрогает вас, и это мне заранее приятно. Ведь такой любовью, именно такой, вас, наверное, никто не любил и не полюбит…

Правда, есть у меня одно желание: это видеть вас в тот таинственный час, когда завеса начнет приподыматься перед моими глазами. Не для того, чтобы цепляться за вас в бессмысленном страхе, а для того, чтобы в минуту упадка, ослабления воли, мгновенного и невольного страха, который, — почем знать? — может быть, овладеет мною, вы крепко сжали бы мои руки и сказали бы мне своими прекрасными глазами: «Смелей, мой

друг… еще несколько секунд, и ты будешь знать все!..» Но я устою против этого соблазна. Сейчас я запечатаю это письмо, напишу адрес, и вы получите его через несколько дней после того, как я перешагну «загадочную черту знания».

Последним моим чувством будет глубокая благодарность к вам, озарившему мои последние дни любовью. Прощайте. Не тревожьтесь за меня, мне хорошо… Вот я закрыла глаза, и по моему телу опять бежит теплая, сладостная волна, как и тогда… в виноградной беседке… Голова так тихо и приятно кружится. Прощайте!



Михаил Пришвин

В краю непуганых птиц
Избранные рассказы
Вопленица

Кто никогда не бывал в нетронутых культурой уголках нашего Севера и знает родной народ только по представителям, например, черноземного района, того поразит жизнь северных людей. Поразят эти остатки чистой, не испорченной рабством народной души.

Сначала кажется, что вот наконец найдена эта страна непуганых птиц: так непривычна эта простота, прямота, ласковость, услужливость, милая, непосредственная. Душа отдыхает, встретив в жизни то, что давно уж забыто и разрушено, как иллюзия.

Хорошо быть таким путешественником, чтобы скользить по жизни и уносить с собою, не задумываясь, такие прекрасные, радостные настроения. Но я себе выбрал неудачную в этих целях систему наблюдения края посредством внимательного разглядывания одного маленького, но характерного его уголка. На месте не нужно задерживаться, а ехать и ехать; тогда непремен-

но получится веселая и пестрая картина.

Задержавшись на месте, приживаешься, свыкаешься и понемногу уходишь в глубину человеческих, мелких, скрещенных интересов. Не успеешь оглянуться — исчезла иллюзия, исчезла страна непуганых птиц: живут себе люди как люди.

Одна баба украла житную муку. Другая, хотя и «по тяжелой душе», но доказала. Воровку с мешком на шее и со сковородой на спине провели по деревне. В сковороду стучали, перед каждой избой заставляли женщину кланяться. А вот Акулина, у нее что-то неладно: муж в бурлаках, а она Максимку чаем поила. Собрались кумушки и постановили: «За Акулиной присматривать». Про Дашку и говорить нечего: эта «вольная», одна только и есть такая в деревне. Конечно, совсем худого за ней никто не знает ничего. Послужила она в Шуньге горничной и явилась не в сарафане, а в городском платье, с мужиками вертится, мужики ее вертят, что совестно смотреть. Да оно и понятно. Раз, главное, отец гулящий, худой был, на сплавах и на море загуливал, да и мать тоже… все знают, какая была. У всех на памяти, как из-за нее в Петров день вся деревня передралась. Лодочник Кожин поспорил из-за

лодки с заказчиком на улице. Стали ругаться крепче и крепче. Лодочник и скажи при народе: «Я не жена твоя, что даром с мужиков деньги берет». И поднялось! Откуда ни возьмись у бабы кол, колом она его по лбу. А за лодочника его бабы и ребята вступились, за ребятами матерые люди. Полетели камни, всю огороду на колья разобрали. И много-много всего увидишь и узнаешь, как обживешься. В деревне все на виду, каждый с удовольствием расскажет всю подноготную про своего соседа порядового. Слушаешь, слушаешь, наконец станет обидно за человека. «Да есть ли кто у вас, кого не коснулись эти людские пересуды?» — «Как же, как же, — скажут, — есть, есть такие». И так скажут это «есть», что успокоишься. Непременно есть в деревне такие люди.

Вот такой-то исключительный человек на Карельском острове — вопленица Степанида Максимовна.

— Максимовна — это особое дело. Максимовна у нас горюша, хлебнула она горя, бедная.

Но прежде чем рассказать о Степаниде Максимовне, я должен сообщить здесь то, что знаю о вопленицах и их назначении, потому что Максимовна — известная по всему Выг-озеру

вопленица, плакальщица или подголосница.

* * *

На Севере, знакомясь с народными верованиями, надгробными плачами и похоронными обрядами, можно почувствовать себя вдруг среди славян-язычников. Множество признаков здесь говорит о них. Во многих, например, местах Архангельской и Олонецкой губерний в Ильин день перед церковью закалывают быка. Часто можно услыхать, как женщина, увидав бабочку, скажет: «Вот чья-то душка летает»; точно так же скажут иногда и про голубя, утку, про заюшку и горностаюшку, — несомненные следы верований в переселение душ в животных. Иногда почему-то кладбище представляет собой своеобразную картину: крестов на нем почти нет, но зато на каждой могиле лежит лопата и стоит обыкновенный печной горшок, возле горшка рассыпаны угли. Этот обычай, без сомнения, языческого происхождения и введен, вероятно, старообрядцами. Если же ознакомиться с надгробными плачами, то тут раскроется величайшая глубина и поэзия народной души. Правда, искренность, чистота сердечных движений при утрате близких, родных несомненны, а потому и плачи дают богатый

материал как для науки, так и вообще для понимания жизни народа.

В этих плачах разработана одна великая драма: борьба со смертью. И борьба не в каком-либо переносном значении, а настоящая борьба, потому что для язычника смерть не успокоение и радость, как для христианина, а величайший враг. Человек мог бы жить вечно, но вот является это чудовище и поражает его.

Прежде всего являются зловещие признаки приближения этого величайшего и непобедимого врага. На крышу избы садится птица — филин, ворон или сова — и укает по-звериному, свищет по-змеиному. Человек готов вступить с ними в борьбу, он готов отдать все свои силы, лишь бы избавить любимое существо от смерти. Но злодейка-душегубица идет крадучись: по крылечку идет молодой женой, по сеням красной девушкой, или залетит птицею-вороном, или зайдет каликой перехожею. Перед вечным врагом бессильно опускаются руки. Остается умилостивить, вступить с нею в сделку. Чего-чего только не предлагается ей: и жемчужная подвесочка, и платочки левантеровы, и сбруя золоченая, и золотая казна, и гулярно цветно платьице, и любимая скотинушка. Но смерть, или судина,

не только неумолима, но даже радуется страданиям, с наслаждением плещет в длани, водит ужасно голосом и поражает жертву смертельным ударом.

Человек умирает, вроде как «солнышко за облачком теряется, светел месяц поутру закатается или как меркнет звезда поднебесная».

Душа умершего человека селится в особом домовище или улетает в надзвездный мир, в царство вечного света, тепла. В этом мире души умерших парят, сходятся и расходятся, легкие, свободные, как облака: «Стане облачко с облачком сходитися, може друг с другом на стрету постретаетесь».

Все эти изначальные народные верования сохраняются и до сих пор на Севере. «Из среды народа, — говорит Барсов[17], — выступают личности, которые еще долго являются носителями древней погребальной причеты, известные под именем плакальщиц, или вопленицъ; в данном случае они пользуются едва ли не священным уважением в народе; и долг в отношении умерших, и тяжелое чувство дорогой потери, ищущее облегчения в ясно сознанных думах и слововы-

[17] Сноски: 17
Е. Барсов. Причитания Северного края.

ражениях, долгое время поддерживают еще их существование. Благодаря своим природным дарованиям вопленицы живо усвояют, сохраняют и преемственно передают друг другу формы и отчасти содержание древней священной причеты. Время и история мало-помалу стирают содержание плачей, но они еще долго не могут осилить присущей им свежести и силы живых явлений природы и совсем уничтожить их воздействие на человеческую душу. Вопленица по преимуществу является истолковательницей семейного горя; она входит в положение осиротевших; она думает их думами и переживает их сердечные движения; чем богаче ее запас готовых оборотов и древних эпических образов, чем лучше она обрисовывает думы и чувства в животрепещущих явлениях природы, тем умильнее и складнее ее причитания, тем большим пользуется она влиянием и уважением среди народа. Отдать последний долг умершему собираются иногда целые селения, а потому мы не вполне определим значение вопленицы, если будем представлять ее истолковательницей чужого горя; влияние ее шире: она объявляет во всеуслышание нужды осиротевших и указывает окружающим на нравственный долг поддержки, она поведает

нравственные правила жизни, открыто высказывает думы и чувства, симпатии и антипатии, вызываемые таким или другим положением семейной и общественной жизни».

* * *

С вопленицей Степанидой Максимовной я познакомился таким образом.

Раз ночью не спалось. Непривычному человеку трудно приспособиться нормально спать такою ночью, когда так светло, что далеко от окна можно свободно читать и писать. Помню, мне показалось, что на небе сверкают какие-то полосы, похожие на радугу. Меня очень заинтересовало это явление: ночью, в двенадцать часов — радуга! Я подошел к окну и стал разглядывать. Явление это для меня так и осталось неразгаданным, но дело не в том. Когда я разглядывал из окна яркие полосы, то до меня отчетливо доносился разговор снизу. Говорили две женщины.

— Раз и мне пришлось его видеть.

— Ну, какой же он из себя?

— Да на моего хозяина схож, тоже в красной рубашке показался, борода большая, сам маленький, лучинка в руке.

— А где же ты его видела?

— Да в хлеву.

— Ну, так это не домовой, это дворовой хозяин. Домовой не показывается: его только во сне можно видеть или если истомишься и забудешься. Вот мне пришлось его видеть, как муж помер. Ходила я тогда, матушка, вопеть на могилку. И так-то я порато вопела, что задрожишь вся. Тут-то он мне и стал показываться. Стала я с лица спадать. Домашники замечают, а не знают отчего, думают — с тоски по мужу. Раз я так навопелась, подоила коровушку, да и вошла в избу. Темно, тихо, ребятишки спят, только слышно, как на печи старичок, странник захожий, кряхтит и стонет. Хотела я лучинку зажечь, да что-то неможно стало, и прилегла на лавочку. И забылась. Сплю не сплю, сама не знаю. Слышу, дверь отворилась… вошел… идет ближе, ближе… А шевельнуться не могу. Вижу, стоит… темно… разглядеть не могу, и так-то он гораздо и горячо дышит. Наклонился ко мне и за руку взял… Шерстн-о-о-й!

— Шерстной, говоришь?!

— Шерстной, матушка, прешерстной. Кричу: «Дедушка, слезь с печи!» — «Что с тобой, — байт, — дитятко?» Заплакала я тут: «Не хочу, — говорю, — умирать». А потом и согрешила: «Дедуш-

ка, — говорю, — умри за меня!» — «Рад бы, — говорит, — душка дорогая, рад, да это дело Божье».

Я взглянул в окно и посмотрел вниз, на говоривших; меня заметили и перестали разговаривать. На другой день, когда старичок, мой хозяин, привел меня в дом Степаниды Максимовны, чтобы послушать ее воп, я узнал в хозяйке ночную рассказчицу. Небольшого роста, живая старушка, с ясными, чуть заволоченными дымкой грусти и горя голубыми глазами. Бесчисленное множество детей окружало ласковую старушку. Дети и на лавках, и под лавками, на полу, дети держатся за юбку старушки, выглядывают из-за ее спины, дети пищат в трех зыбках. Кажется — все… но, смотришь, где-нибудь у печки копошится в золе совершенно голенький; оглянулся — там еще и еще…

— Вот, Максимовна, гостя тебе привел, хочет твой воп послушать, — сказал старик.

— Милости просим, милости просим, гость дорогой, только вопеть-то уж я как будто и стара.

Кое-как мы уломали Максимовну. Она села на лавочку и, уставившись в какую-то далекую точку, стала причитывать… И мне стало неловко… У старушки катились по щекам слезы, она обнажала свое горе искренне, просто и красиво.

Я оглянулся на старика — он плакал. Улыбаясь сквозь слезы стыдливо и виновато, он мне потихоньку сказал:

— Не могу я этого ихнего вопу слышать. Как услышу, так и сам завоплю. Дома, как завопят бабы, я гоню их вон чем попало… Не могу…

Все женщины в избе плакали. И даже молодой парень как-то уж очень неестественно повернул свое лицо в угол. Мне было неловко… Знал бы я, что даже в обыденной жизни надгробная песня может вызвать такое серьезное чувство, то, конечно, не стал бы просить Максимовну вопеть при людях. Но она все вопела и вопела…

Вслушиваясь в плач вдовы по мужу, я понял, что тоскливое чувство вызывала главным образом маленькая пауза в каждом стихе. Спев несколько слов, вопленица останавливалась, всхлипывала и продолжала. Но, конечно, много значили и слова.

Надгробные песни Степаниды Максимовны — образцовые произведения народной поэзии. Вот одна из них.

Плач вдовы

Уж как сесть горюше на белую брусовую

на лавочку,
Уж ко своей-то милой, любимой семеюшке,
Ко своей-то милой венчальной державушке.
Ты послушай, моя милая, любимая семеюшка,
Уж по сегодняшнему Господнему Божьему денёчеку,
Как по раннему утру утреннему
Вдруг заныло мое зяблое ретивое сердечушко,
Вдруг налетела малолетна мала птиченька,
Стрепенулась на крутом на складном сголовьице.
«Ты долго спишь, вдова, сирота бесприютная!
Как на раскат горе на высокой
Там рассажен сад, виноградье зеленое,
Там построено теплое витое гнездышко,

Там складены теплые кирпичные печеньки,
Там прорублено светлое косящато окошечко;
Там поставлены столы белодубовы,
Там скипячены самоварчики луженые,
Там налиты чашечки фарфоровы,
Там дожидает тебя милая любимая семеюшка».
Так уж будь проклята малолетна мала
птиченька!
Обманула меня, победну вдову,
горе горькое.
Как на той на могилочке на умершей
Не поставлено дивно хоромно строеньице
Там повыросла только белая березка кудрявая,
Там не дожидает меня милая венчальная державушка:
Видно, уж отпало желанье великое…

Да уж как я подумаю, вдова,
сирота бесприютная:
Уж как порозольются быстрые,
струистые реченьки,
Уж пробегут эти мелки, мелки
ручееченьки,
Уж как порозольется славно широко
озерушко,
Уж как повыйдут эти мелкие белые
снежечеки,
Я проторю путь торну широку доро-
женьку
Я на раскат на гору на широкую
Да ко той-то милой умершей семеюш-
ке.
Уж вы завийте, тонкие сильные
ветрушки,
Уж разнесите эти мелкие желтые
песочики,
Раскались и эта нова гробова доска,
Раскалитесь, распахнитесь, белы са-
ваны,

Уж покажись, моя милая любимая семеюшка!
Уж ты заговори со мной тайное единое словечушко,
Уж поразбавь, поразговори, самоцветный лазуревый камешек.
Уж как придет темная зимняя ночень-ка,
Уж я заберу моих милых сердечных детушек,
Уж как закутаю теплым собольим одеялышком.
Уж как погляжу на это умноженное стадо детиное –
Пуще злее досаждает, одоляет тоска-кручина великая.
Погляжу я в это светло косящато окошечко,
Как на эту раскатну гору на высокую:
Уж нейдет, не катится моя милая любимая семеюшка,
Уж, видно, так мне проживать-коро-

тать
свою молодость,
Не порой пройдет да не времечком,
А пройдет молодость горючими слезьми.

Вопленицей, истолковательницей чужого горя, Максимовна сделалась не сразу. Чтобы понимать чужое горе, нужно было выпить до дна полную чашу своего собственного. «Сама я, — говорит Максимовна, — от своего горя научилась. Пошло мне обидно, поколотно, несдачно, вот и научилась».

И все объяснение. Простой народ о своем таланте не станет кричать. Между тем Максимовна несомненный и в своем месте общепризнанный талант. В девушках она была первой «краснопевкой» на Выг-озере, в детстве знала и пела всякие байканья, укачивая в зыбке детей. Постепенно, шаг за шагом, жизнь изменяла невинные игривые детские песенки Степки Максимовой в девичьи песни краснопевки Степанидушки, потом в свадебные прощальные заплачки невесты, в надгробный плач вдовы по мужу и, наконец, в причитания плакальщицы Степаниды Максимовны. Вот почему жизнь ее достойна описания.

Родилась Степанида Максимовна вблизи Выгозерского погоста, на пожне. Мать ее при этом случае косила в сторонке от своих, бросила косу, ухватилась за сосновый сук и родила. Она завернула ребенка в юбку и принесла домой.

Из детства Максимовна помнит, как «по тихой красотушке» она ездила в праздник в лес за ягодами, как сопровождала мать на рыбную ловлю и выкачивала плицей набежавшую в худую лодку воду, помнит, как укачивала ребенка, когда мать уезжала на сенокос. На ней, пятилетней девочке, тогда оставалось все хозяйство. Сделает она, бывало, штейницу, кашку из житной муки, молока и воды, покормит ребенка и целый день качает его и поет байканья. Больше всего у ней осталось впечатлений от поездок в лес за морошкой. Эти поездки не забава, а серьезное дело, потому что морошка такая же пища, как и хлеб и рыба, в особенности если ее набрать побольше и зарыть на болоте. Там она хорошо сохраняется до зимы. В лесу, когда собирали морошку, девочки старались не отходить далеко от матери, а то мало ли как может пошутить Шишко! В этого Шишко и вообще во всю лесовую силу Максимовна и теперь глубоко верит и не допускает малейшего сомнения в их существо-

вании.

Раз был такой случай.

Теткины девочки уехали на Медвежий остров за ягодами да долго не возвращались. Вот тетка и скажи: «Черт вас не унесет, ягодницы!» А девочки в это время собрали по корзинке ягод и вышли на лядинку. Смотрят, дедушка старый стоит на той же лядинке и дожидается их. «Пойдемте, — говорит, — девицы, со мной». Они и пошли вслед. Вот он их повел по разным глухим местам, где на плечо вздымет, где спустит. Как только девочки сотворят молитву, он им сейчас: «Чего вы ругаетесь! Перестаньте!» И привел он их в свой дом, к своим ребятам: человек восемь семейство, ребята черные, худые, некрасивые.

Спохватились дома — нет девиц. Поискали, поискали и бросили; пошли на Лексу в скит к колдунье. Та отведать долго не могла; так они и выжили двенадцать дней у лесовика. И всего-то им там пищи было, что заячья да беличья говядина; истощали девки, краше в гроб кладут.

Когда колдунья лесовика отведала, он и принес их на плечах к реке. Одну за ухо схватил и перекинул через речку, так что мочку на ухе оторвал, а другую, старшую, на доске отправил. Две недели девицы лежали, не могли ни есть, ни пить.

Много случаев помнит Максимовна, когда и ее пугал Шишко, но всего не перескажешь.

В детском кругу Степку с десяти лет уж стали все называть «краснопевкой», то есть, по-городскому, редкой талантливой певицей. Бывало, как соберутся к празднику на погост, в Койкинцы, на Карельский остров или в другие деревни, — в каждой деревне свой праздник раз в год, — Степка всегда первая в хороводах, все песни она запевает: утошные, парками, шестерками, круговые. Да не такие песни, что теперь поют, частенькие да коротенькие, а настоящие досюльные, хорошие песни. Парочка подбиралась в величайшей тайне от всех. Но где тут укрыться! От деревни к деревне, от праздника к празднику идет слушок. И ему придают значение не только дети, но снисходительно прислушиваются и матери. Почему Гаврюшка и Степка рядом в церкви стоят, почему играют вместе? Дети стали укрываться от слушка. Разве только Гаврюшка с воза рукой махнет или передаст на пожнях конфетку. И так шло год за годом.

Степанидушка стала известной красавицей из зажиточного дома. Настало время, когда идеальная связь Гаврилы и Степаниды должна была получить жизненное испытание. Гаврило услы-

хал, что «Боровик губастый» послал к Степаниде сватов. Как услыхал, сейчас же сел на лодку — и на погост. Вечером подкараулил Степаниду. И как же плакала, бедняжка! Да еще бы не плакать: первая красавица, а жених немолодой, рябой, губастый, и прозвище «Боровик».

— Если ты мной не брезгаешь, — сказал Гаврило, — останься до весны: меня тогда обязательно женить будут, потому что у нас работать некому. Чем казачку (работницу) нанимать да платить, лучше уж свою взять, а так не уберутся.

— Не знаю, — сказала Степанида. — Если нам на этом остаться, мать не поверит… отдаст…

Задумался Гаврило.

А Степанида, как вернулась в избу, так и уперлась на своем: не пойду и не пойду.

— Знаю, — сказала мать, — на Гаврюшку надеешься. Понадеешься, да и будешь сидеть в вековухах. Что мне, в щах тебя варить, что ли? Ольгина мать тоже жарила, жарила Егору яичницу… зятек, зятек… а зятек другую взял. Вот и пошла Ольга за вдовца.

Но Степанида не сдавалась.

«Что я, враг, что ли, ей?» — подумала мать, надела шубу да и на Карельский, к Радюшиным. Приплыла только вечером. Сидят паужинают.

— Хлеб да соль!

— Хлеба кушать! Милости просим. Садись, хвастай!

— Спасибо, я в лодке поела, не хочу.

— Ничего, хлеб на хлеб валится.

И села. А сама незаметно все на Гаврюшку поглядывала, да и махнула ему пальцем.

Смекнул Гаврюшка и вышел помочь ей кошель до лодки донести.

— Ты что же это мою Степку сбиваешь?.. Куй железо, пока горит, а девицу отдавай, пока сваты бьются… Знаешь Ольгу Егорову? Так нельзя. Хочешь взять, так помолились бы Богу, что ли…

И опять задумался Гаврило. Сказать страшно. Не пил, не ел, стали домашники замечать. Раз ночью подошла мать.

— Ты чего не спишь?

— Да кусает, матушка.

— А чего же раньше не кусало? Знаю, знаю, по ком вздыхаешь. Сказать, что ль, отцу?

— Боюсь.

— Чего бояться? Мы нынче живы, а завтра Бог знает. Вам жить, а не нам. Скажу.

Отец согласился. Степаниде Максимовне выпало счастье: пришлось выходить замуж по желанию.

* * *

Вот тут-то и началась церемония, о которой с величайшей готовностью во всех подробностях рассказала мне Степанида Максимовна.

Совершенно так же, как и в новгородскую старину, сватом сходил крестный отец. Хотя и сяжно было, но не сразу согласились невестины родители. «Позвольте, — сказали они, — думу подумать, вот родня соберется».

И другой раз сходил сват. На третий привели жениха пить рукобитье.

Затянули столы скатертями, хлеб-соль положили, у иконы свечку затеплили, утиральник повесили. Помолились Богу и выпили рукобитье.

В это время и научилась Степанида вопеть по-свадебному, или «стихи водить». Ей казалось, что свадебные причитания сами собой пришли ей в голову, как понадобилось. Но на самом деле, незаметно для себя, она из года в год постигала эту премудрость, прислушиваясь к «голосу» других невест. Многое, конечно, создалось и так, как думает Степанида Максимовна, то есть непосредственно вылилось.

Сначала она вопела отцу:

Становилась подневольна косата
голубушка
На одну мостиночку дубовую…
Уж не катитесь, мои горькие
слезы горючие,
По моему блеклу лицу, не румяному…

Вся в слезах, благодарила она отца и приносила ему покор, благодарность великую, что не жалел он для нее «казны собенной несчетной», покупал ей «цветно платьице лазурево», «снаряжал и отправлял ее по честным владычным праздничкам». Теперь она просила его не пожалеть скорой скороступчатой лошадушки и собрать всю родню к последним столам белодубовым.

Почти целую неделю Степанида гостила и вопела у всех кумушек, сестреюшек и даже у соседей. Придет, бывало, к кому-нибудь, а уж там для нее самовар согрет, на столе тарелка с пряниками, со всем, что найдется. Посидят, побеседуют, а на прощании невеста вопит «легоньким вопом»:

Отпустите на мою слезну слезливу
на свадебку,
Когда я буду расставаться
с своей вольной волюшкой.

Всех обошла Степанида и вдруг вспомнила про свою любимую подруженьку, теперь покойницу:

Уж вы повийте, тонкие ветры холодные,
Из-под холодной из-под северной сторонушки…
Раскатитесь, пенья, колодья валючии,
И повыстань, моя красная красивая подруженька…

Но час-часочек коротается. От жениха стали приходить дружки, торопить. Бывало, придут:

— Бог помощь, живите здорово, Петр Герасимович, Марья Ивановна, Степанида Максимовна, вси крещеные. Как здорово живете?

— Просим милости, подьте, пожалуйста, проходите, садитесь.

Посидят, отдохнут, отдадут жениховы гостинцы, да и скажут:

— Недосуг нам проживаться да прокармливаться, немощно ли как поскорее?

— Ну, ладно, — отвечают им, — поноровите, дайте волю, мы вас дольше ждали.

Между тем в семье происходило прощанье

невесты с отцом, с матерью, с братьями, с подруженьками и, наконец, с своей русой косой красовитою.

Утром подруженьки будили ее песней и мало хорошего ей сулили:

Ты чего спишь, глупая белая лебедушка,
Как в ногах стоит страшная
гора страховитая,
А в головах стоит женское житье
подначальное.

Проснувшись, она просила принести холодной свежей водушки с этого Выг-озера страховитого. Но эта вода оказывалась со мутом и ржавчиной. Подруженьки приносили со струистой быстрой реченьки, но и эта вода была бессчастной. Наконец, водушка из темного леса из колодечка оказалась счастливой и могучей.

Тогда Степанида просила мать взять частозубчатый гребешок и расчесать дорогу вольну волюшку, свою косу красовитую по единому по русому по волосу и завязать семью шелковыми ленточками.

Это время самое интимное, самое священное для девушки: красование.

Тут отец, мать, братья, вся порода родитель-

ская. Невеста, разукрашенная, разодетая, ходила «по одной дубовой мостиночке».

Благословите, жалки желанны родители,
Уж мне пойти ко теплому витому гнездышку,
Уж мне расстаться с моим дорогим привольным девичеством.

Долго-долго причитывала невеста. Все спрашивала, куда бы положить свою вольную волюшку: обернуть заюшкой, водоплавной утушкой, повесить на липовой жердочке или у матери в виноградном зеленом саду? Но везде ее воле было не место и не местечко. Осталось разделить ее между подружками советными.

Утром в день венчания явились, наконец, поезжане: жених, его родители, тысяцкий, брюдьга. Их встретили подруженьки свадебными песнями.

Когда все расселись по порядку: ближняя родня повыше, дальняя пониже, тысяцкий постучал батожком по грядке и сказал, обращаясь к дружкам:

— Господи Иисусе Христе, а подайте нам, за чем мы пришли!

А дружки сходили к невесте и сказали:

— Есть в дороге, да пала погода, занесло дорогу порато.

Наконец появилась Степанида, поднесла «князю» на подносе платок, а он положил ей денег, мыло, зеркало и гребень. Началась церемония продажи невесты. За нее просили денег, торговались, уверяли, что она им стоила дорого, что ее кормили, поили, одевали. Наконец Степаниду продали и пропили. Одним словом, разыграли комедию, взятую из старинных времен языческого славянского быта. После этого оставалось отдать долг и новейшим христианским временам — повенчаться в церкви.

Но не так легко язычникам стать христианами. Уже в то время, как отец и мать благословляли Степаниду иконой, принимались всякие меры, чтобы враг не испортил молодых, не бросил бы чего между ними. Был приглашен специально для этого даже колдун с Химьих песков. Особенно стерегли молодых, когда сажали в сани. Усадивши, их хорошо закутали и отвезли в церковь.

После венчания поплыли на лодках, так же, как и в Венеции, на Карельский остров к жениху. Там молодых обсыпали хлебными зернами, молились, здоровались, обходили столы. Тут собралось

народу «лик ликом», было последнее столование. Пили «горько», клали деньги в рюмки. Наконец, молодых увела проводница спать. На глазах ее молодая сняла у князя сапог, и он положил ей в него деньги…

Утром вытопили байню, и проводница сводила в нее молодых. Для посторонних тем дело и кончилось, но для молодых только началось.

* * *

Стали жить и поживать. За старшим сыном женили другого, и так — всех шестерых. Старика соседи укоряли, что девок по виду выбирал, а на природу не смотрел. Между тем первое дело природа. С виду девка будто бы и хороша, а, глядишь, у свекрови над головой горшок разбила. Почему? Потому что вся ее природа была хитрая да воровитая. В девках все хороши, всякая жениха хочет и себя смиренницей ставит, поди ее раскуси. А вот как завязали рога на голове, так и скажет: «Теперь моя голова прикрыта, знать я никого не хочу».

Еще при жизни старика пошли несогласия между братьями из-за баб. «Напрасно старик большой дом выстроил, — говорили дальновидные люди, — не жить им вместе».

Помер старик. Словно предчувствуя беду, сильно убивалась старуха. Где уж ей теперь справиться, удержать вместе такую семью! Одна надежда оставалась теперь на Гаврилу, к которому переходила отцовская власть, и на большуху Степаниду.

Братья еще кое-как держались, но женки так и шипели: «Кончился лиходей наш, комом ему земля, не работал, а только распоряжался хозяйскими деньгами. Теперь хоть свет увидим. Вот когда бы только эта змея кончилась». Но старуха отлично понимала, что ей не справиться с ними, и передала хозяйство Степаниде. Еще на похоронах она вопела:

Уж ты у дверей будешь придверница,
У ворот будешь приворотница,
У замков будешь замочница,
Во дому будешь большухою.

Трудное дело большухи в таком доме, где все врозь лезет. Ко всей хозяйственной суете можно привыкнуть: пораньше вставать, хлопотать у печи, будить, распределять работу, вечно толкаться из стороны в сторону и не знать себе покоя. Но самое трудное дело — это ладить со всеми. На лов ли ехать, на пожни, к празднику, тут

уж нельзя свой нос вперед совать. Нужно помалешеньку выведать, кто как думает, а потом и предложить на совет. Но человек — не машина: раз удалось, два удалось, а на третий и сорвалось. А тут меньшуха такая попалась, что раскопала всю семью. Всем-то она недовольна, дела не делает, а только и знает, что гнусит под палец. Она всегда может уязвить большуху тем, что у той шесть человек детей, значит, шесть ложек, а у нее только две: она сама да муж. Наконец не стерпела Степанида:

— Ах ты, нищая, с голодухи мы тебя и в дом-то взяли!

— А я не просила, — ответила меньшуха, — у ворот не стояла. Я вот тут одна с мужем, а ты в шесть ложек ешь!

Меньшуха сказала, другие молчали, но словно стали коситься и замечать, что Степанида-большуха в шесть ложек ест. И день ото дня стало все хуже и хуже. Раз пришли на пожню. Взяла большуха, как водится, батожок, разделила на шесть полос, чтобы каждый свое дело знал. А меньшуха тоже взяла батожок, отделила шесть частей большухе, а одну — для себя.

— Вот, — сказала она, — тебе шесть частей, у тебя шесть ложек.

— Да как ты смеешь? Я тебя косой!

Но меньшуха как сказала, так и сделала: скосила свою часть, а потом легла на сено и пролежала так до вечера.

Тут уж все подумали: «Не жить вместе».

Пришли домой, сели паужинать молча. Словно гроза собиралась. Протянул было Мишутка большухин ложку к ухе, а меньшуха как его по руке ударит! Всех так и взорвало. Стали ругаться, кричать, собрались в кучу, не расходятся. У кого в руках кочерга, у кого скалка, у кого нож.

— Начинай!

— Нет, ты начинай!

— Ну, тронь!

— Тронь ты!

Стали по судам ездить, жалобы за жалобой. А раз чуть большака не убили.

Пошла Степанида коров посмотреть, слышит — в избе крик и шум. Прибежала назад к избе, а дверь заперта. Смекнула, в чем дело, бросилась к дровам, захватила охапку поленьев, стала швырять в окно поленьями и разогнала мужиков.

Бывало и так, что схватят двое-трое одного и тянут в разные стороны. Раз люльку с ребенком в окно вышвырнули, так что ребенок на всю жизнь остался с кривым ртом. И много было

всякого греха.

Наконец решили делиться.

Разделили соленое лосиное мясо, рассыпали рожь, развесили муку, поделили скот, сено, солому, горшки, — все разделили. Неразделенным остался только дом, потому что зимой нельзя строиться. После этого стали жить в шесть семей в одной избе. В одном углу поместились Гавриловы, в другом — Семеновы, третий угол занят печью, четвертый красный. Остальные четыре семейства разместились на лавках, на кроватях. Один уголок парусом завесили. Решили так и коротать зиму.

С внешней стороны как будто бы и печальная, даже мрачная картина разрушения. Но это только на вид; с внутренней стороны в этой жизни было столько счастья, перспектив на будущее, что если бы знали даже самые предовольные соседушки, то уж, конечно, позавидовали бы или, самое меньшее, задумались о суете мирской, о ничтожестве всего земного.

Счастье так и блистало во время обеда, когда каждый из шестерых отцов, теперь сам большой, поглаживая бороду, дожидался на кровати своего собственного горшка. Раньше, бывало, большуха истолчет вареное мясо и распустит в горшке, а те-

перь всякий ест, как хочет. И как довольна мать, когда, выделив косточку, подзовет своего любимого Мишеньку или Сереженьку поглодать.

Бывало раньше, кто-нибудь один нехотя погонит скотину к озеру на водопой. Теперь же всякая хозяйка. У своего хвоста спешит с любовью и гордостью исполнить свои обязанности. Дивились соседи и смеялись.

Не без того, конечно, чтобы семейное счастье иногда не нарушалось. Сидят ребятишки на кровати, а под кроватью горшки наставлены, квашня. Вдруг влетает в избу поросенок из другого семейства — и под кровать: повалил горшки, попал в квашню. Прибежала женка, стала его хворостиной стегать, а хозяйка поросенка заступаться. Визг, крик, скандал.

А как теперь кур кормить? Птица, как известно, не сеет, не жнет и не признает чужой собственности. А сколько неприятностей у печи! Раньше ставилось в печь всего два больших чугуна, для каши и для ухи, и хозяйство вела одна большуха. А теперь в печи ежедневно грелось двенадцать горшков, а у печи шесть хозяек. Как же тут не зацепить, не повалить?

Но все эти неприятности пробегали легко, игриво, как случайные ветерки на озере в ясный

и тихий день. Впереди весна, когда всякий заживет своей собственной, отдельной и довольной жизнью.

И весна пришла. Стали строиться. В одно лето на Карельском острове прибавилось пять новых дворов. Все стали жить по-своему, отдельно, хорошо. Одни только лошади, по привычке, долго ходили на старый двор.

* * *

Вскоре после раздела, когда жизнь только начала налаживаться, на озере потонул Гаврило. Степанида Максимовна, еще молодая женщина, осталась одна «со умноженным со стадом со детиныим». С тех пор ее жизнь, вплоть до тех пор, пока ей не удалось вырастить детей, была сплошным испытанием.

По мужу она так вопела, что падала в судорогах, дрожала, хрипела. Ее поднимали, оттирали, отпаивали молоком, и она снова принималась вопеть. Наконец, ее решили протащить под гробом мужа, что, по местным верованиям, помогает.

— И вот, — рассказывает теперь Максимовна, — когда меня волочили, я хребтом в гроб упиралась. Упрусь и шепчу: «Ходи ко мне, ходи!» А когда последний раз прощалась, так в голые губы поце-

ловала, холодные, и слезу на лицо ронила, а сама шептала: «Ходи ко мне, ходи». Он и стал ко мне ходить, да так часто, что и не прилюбилось. Навопелась раз я, — а я каждое воскресенье к нему на могилу вопеть ходила, — и надела мужнину шубу да в одевальницу закуталась, а то после вопу-то дрожь брала. Поехала за сеном. И только проехала сенной наволок, вдруг рапсонуло мне на воз. Гляжу — муж в жилецком платье, шепчет мне: «Пусти, пусти, не кричи, я не мертвый, я живой!» Думаю я, какой мне-ко разум пришел, и одурно стало, дрожь на сердце пала, и будто кожу сдирают. А уж как гугай-то (филин) в лесу кричит, да собачка лает, да вся эта лесовая-то сила — страсть! А по снегу все кубани (тени), все кубани бегают! Кричу я сыну: «Микитушка, подь ко мне на воз!» Сидим на возу: я вижу, а он не видит. И сказать боюсь, парень пугаться будет. Думаю, дай-ко стану на воз, может, отстанет. Стала, да тут же и пала. Так без памяти и без языка сколько-то времени лежала. Снегом меня оттирали, чаем поили, на печь положили, отжила.

Так от собственного горя и научилась вопеть Степанида Максимовна. Стала ходить вопеть и по людям, подголосничать на свадьбах.

Такая же судьба, или приблизительно такая,

бывает, вероятно, у всякой вопленицы. На Выгозере я знал несколько вопленицы, и все они были вдовицы, горюши, горе горькое, как и Максимовна. Раз только меня удивила своим веселым, жизнерадостным видом здоровенная и хитренькая плакальщица бабушка Устинья. Чтобы вызвать в ней профессиональное соревнование, я принялся ей хвалить Максимовну.

— Так уж, верно, она тебе мужнин воп сказывала? — осведомилась она. — Ну, по мужу-то легко брюхо валить. Она повопела бы по детям да по родителям.

И веселая бабушка Устинья стала серьезной. Оказалось, что двадцать лет тому назад у нее умер любимый сын, и она по нем восемь лет вопела. Всякую причеть она передавала мне просто и довольно равнодушно: и по мужу, и по родителям, и по хорошей свекрови, и по плохой, но когда стала вопеть по сыну, расплакалась.

После, при встрече с Степанидой Максимовной, я передал ей разговор с Устиньей. Но бесконечно добрая, независтливая вопленица горячо поддержала Устинью.

— Всякие жены есть, — сказала она, — хоть по мужу-то и порато повопишь, а по деточкам по желанию.

«Родна матушка плачет
до гробовой доски, до могилушки.
А молода жена до нова мужа.
А родимая сестра плачет,
как роса на траве».

Колдуны

Когда один из ангелов восстал на Бога, а с ним и многие другие ангелы, то Бог прогнал их с неба. Стесненные на краю неба, восставшие ангелы полетели вниз. Одни из них, страшно изувеченные, с своим начальником Сатаною упали в подземное царство, в ад, другие пали на землю и поселились кто в воде, кто в домах, кто в лесу.

Так объясняет себе олончанин происхождение лесовиков, водяников и домовых, в которых он верит беззаветно.

Уже в Повенце мне пришлось из-за этих верований иметь небольшие неприятности. В этом городке нет гостиницы, и мне пришлось остановиться на постоялом дворе, а так как это было ночью, долго стучаться. Наконец мне отворили дверь и уложили спать. Ночью переполох в доме разбудил меня. Оказалось, что околела овца,

и огорченные хозяева суетились. Проснувшись утром, слышу разговор хозяйки с кем-то в сенях.

— Пришел он ко мне страшный такой, большой. «Ой, Акулинушка, — говорит, — не сбыть без убытку…» Слышу, стучат под окошком. Кричу: «Что вам, крещеные?» — «Ночевать», — говорят. Уложила я их. Только легла, а он опять пришел: «Ой, Акулинушка, не сбыть без убытку». Я тут выстала, зажгла лучинку да в хлев: смотрю, лежит овца гора горой…

Вот так я и попал в колдуны с первых шагов. Хозяева на меня косились и хмурились.

Однажды я рассказал это приключение одному деревенскому фельдшеру, идейному, прекрасному молодому человеку.

— Это пустяки, — сказал он. — Если бы вы знали, что только мне приходится проделывать в борьбе с этими верованиями! У них в каждой деревне есть своя знаменитость: в Тиковницах рыбный колдун, в Коросозере — скотский, у нас — ружейный и свадебный. А сколько тут знахарей, ворожей!

— Как же вы с ними боретесь? — поинтересовался я.

— Да как придется. Вот на днях пришел ко мне мужик кровь унять: ему разрубили топором жи-

лу, и знахарь ничего не мог сделать. Я сейчас же послал сторожа собрать всех наших знахарей и колдунов унимать руду. Собрались, никто не может. А я приложил арнику на вате, кровь сразу и унялась. Кажется, после этого можно бы сдаться колдунам. «Нет, — говорят, — в присутствии фельдшера заговоры не действуют...» А то вот еду раз на лодке, со мной человек десять народу. Вынул я из кармана «Олонецкие губернские ведомости», где напечатан был коровий заговор, так называемый «отпуск», и стал читать. Думаю, узнают, что это не только колдунам, а и всем известно, перестанут верить. Так что же вы думаете? Только кончил я читать, сразу несколько голосов: «Прочти, прочти еще раз, не запомнили, да пореже читай...» Вот и судите сами, как тут бороться. Заболеет ребенок оспой, все идут, кланяются больному: «Оспа матушка, — говорят, — смилуйся, уходи!» И разносят болезнь по своим детям. Ну, что я с своей медициной сделать могу? А какие расстояния! Иногда позовут верст за семьдесят. Едешь на лошади, едешь водой, идешь пешком. Пришел, посмотрел, дал порошок — и кончено. Я не уверен даже, что этот порошок не очутится где-нибудь за божницей.

Но самые лютые враги науки, по словам фельд-

шера, не местные колдуны, а мезенские коновалы. Как только осенью на Мезени закончатся работы, сотни этих знахарей расходятся по Олонецкой и Архангельской губерниям. Они лечат все: людей, животных. Они знают всевозможные заговоры. Колдуны — это жрецы, языческие священники, а мезенские коновалы — специалисты медики. И каким уважением они пользуются в народе! Двери всякого дома перед ними открыты, везде они едят, пьют, живут на одном месте иногда месяц, два и нигде никогда не платят, да и в голову никому не приходит брать с них деньги.

Так рассказывал мне представитель медицины о колдунах. Скоро после этого разговора, благодаря знакомству со сказочником Мануйлой, мне удалось проникнуть к знаменитому колдуну Микулаичу Ферезеину. Но прежде чем говорить об этом колдуне, необходимо познакомиться с Мануйлой. Этот даровитый человек больше всех других моих знакомых на Выг-озере обладает чистой, непосредственной верой во все чудесное.

* * *

Сказочник Мануйло — человек высокого роста, с густой бородой, на вид серьезный, строгий.

И только когда он начнет рассказывать свои сказки, «манить», в лице его мелькает что-то такое легкомысленное, такое неподходящее к этому строгому лицу и бороде, что становится смешно. Душа у Мануйлы не простая, а поэтическая, он испытывает приступы тоски, имеет неопределенные желания, его тянет куда-то. Ходит он в лес по мошникам не как простой полесник-ремесленник, а любитель-охотник. Охотой и сказками он до некоторой степени удовлетворяет себя. Но самая заветная мечта, которую он никак не может решиться осуществить, это сходить в Иерусалим.

— Почему же именно в Иерусалим? — спросишь его, бывало.

— А потому, что это пуп земли и там все, — скажет Мануйло.

Чтобы осуществить эту мечту, не нужно и денег, а только решиться идти и просить по дороге милостыню. Но решиться Мануйло не может, слаб.

Мануйло — человек необыкновенно общительный, любит людей. Живет он в полуразрушенной избушке у самой дороги, по которой идут соловецкие богомольцы. Они все находят радушный приют у сказочника. Для них Мануйло уже три

самовара сжег. Вслушиваясь в их разговоры, Мануйло узнает о каком-то удивительно сложном и прекрасном мире. Все эти сведения в поэтической душе перерабатываются и потом подносятся односельчанам когда-нибудь в зимние вечера на вывозке в лесных избушках. Мануйло мастер «манить», снисходительно говорят односельчане, не понимая, что эти сказки и есть единственная красота их «загнанной» жизни. Результаты творчества Мануйлы достаются им даром, они оставляют жить своего поэта в жалкой, полуразрушенной избушке.

Сам Мануйло скромен; он думает, что для сказок нужна только «недырявая память». Однако были в его жизни случаи, которые убедили его, что сказка не совсем пустое занятие. Прежде всего она годится в бурлаках. Приказчики любят сказки и работу не спрашивают.

— Мне легко в бурлаках, — говорит он. — Сижу я на бревне да покуриваю. Подходит приказчик, раз посмотрит, два посмотрит. «Ты что, — говорит, — Мануйло?» А я ему в ответ: «Да ничего». — «Хо-хо-хо, — засмеется, — ну, приходи вечером сказывать». Вечером придешь, чаем напоит.

Может принести сказка пользу и когда из-за озер и лесов, из больших блестящих городов

в этой лесной глуши появляется барин. Он требует лошадей, требует лодку, покупает кур и яйца, снимает планы, вымеряет леса. Кто он такой? Бог его знает. Господа бывают разные.

— Они думают, — говорит Мануйло, — что господа одинаковые.

«Они» — это вся серая масса крестьян, противоположная сказочнику Мануйле, они — это филистеры.

— Они думают, что господские одежи — и все тут. Н-е-ет, брат! Господа бывают разные. Другой раз на лодке сидишь день-другой, везешь его. И бывает такой барин, что сидит себе в лодке, на солнышке, поглядывает, в книжку записывает и молчит. Двое суток с тобой проедет и слова не скажет. Такие крепкие бывают господа! Они не знают, что из господ и немцы и поляки бывают. Зато попадет другой в разговор, он-то тебя повыспросит, напоит, накормит. Один попался, так суток трое мои сказки слушал. Всякие господа бывают.

«Они» не ценят сказок Мануйлы, а как дойдет дело рассказать что-нибудь от общества барину — сейчас Мануйлу. Вот тут только и сорвет Мануйло с них на бутылку.

В семейной жизни Мануйло был несчастлив:

единственная его дочь — безумная. Всякого гостя эта безумная полуобнаженная девушка встречает диким хохотом и пристает к нему, пока отец не уймет. Эта девушка испорчена еще девочкой, с ней что-то сделал лесовик, и даже знаменитый колдун Микулаич Ферезеин не мог отколдовать. Вот как рассказывает об этом сам Мануйло:

— В этот год у нас в Маткозере рыбы совсем не было, вся перешла в Выг-озеро. Старухи рассказывают, будто видели, как на Поповом камне маткозерский водяник с выг-озерским в карты играли. Вот и думаем, что наш хозяин свою рыбу проиграл. Не было рыбы весной, а летом так даже окуни на уду не шли. Осенью маялись-маялись с неводами, себя и баб замучили, а ничего не поймали. Ну, думаю, надо в лесу дело поправлять белками да мошниками. Взял собаку, ружье, надел кошель и пошел в лес. А девчонка моя и говорит: «Тятенька, позволь, я с тобой малешенько по лесу пройду». Да так и увязалась со мной. Только вошли в лес, слышу, собака так-то часто и гораздо лает. Ну, думаю, белку облаяла. За беличью шкурку в тот год по двугривенному платили, где тут о девчонке помнить! Как услыхал, что по белке лает, сейчас в лес. Лает, как бешеная, а белки нет. Нечего делать, срубил дерево, срубил

другое. Смотрю, сидит на чистом месте на веточке, хвост на спине. Расставил я шагарку, стал прицеливаться. Хлоп! Нету ни белки, ни сука, и дерево это на другом месте стоит, и собака не лает. Тут-то я и вспомнил про девчонку. Оглянулся назад — нету ее. Ну, думаю, домой ушла, сотворил молитву — и в лес. Дня два проходил, прихожу домой, жена ругает: «Что ты, — говорит, — девчонку по лесу водишь?» А она с тех пор домой не приходила. Тут я и понял: он белку-то мне показал, а девчонку закрыл. Делать нечего! Посоветовали, посоветовали со старухой, и поехал я к Микулаичу, к колдуну, отведать девчонку. Сутки я к нему плыл да сутки пеший шел… «Ничего, — говорит, — старик, он ее восемь суток водить будет, на девятые нам только попасть туда нужно». Пришли мы с ним в лес на девятые сутки в полночь. «Становись, — говорит, — за вересиной, а я за камнем стану. И что бы ни было, стой, не шевелись, не бойся». Не мне бы ему говорить: в лесу ходишь, так нужно, чтобы запятая была твердая… Стою… Вижу, будто волокут мою девчонку два мужика, ножик вынимают… Стою, молчу… Кричит: «Тятенька!» Стою, молчу. А потом вижу: карета едет, везут девочку мимо. Тут старик вышел из-за камня. «Пойдем, — гово-

рит, — она теперь дома». Пришли, девчонка дома, вся синяя, дрожит. Девять суток он ее водил, а уж что с ней делал, не знаем. Так и осталась немая и глупая.

Вот этот-то Мануйло и познакомил меня с колдуном Микулаичем. Ему зачем-то нужно было в Коросозеро, да кстати он хотел и ружье помыть у колдуна, а то оно стало недостреливать. Только что мы отплыли верст пять по Выг-озеру, вижу, Мануйло встревожился, стал приглядываться вдаль, наконец уверенно произнес:

— Пакость!

Скоро и я увидал, что на маленьком голом острову стояла кучка лошадей, она-то и возбуждала внимание Мануйлы. Этих лошадей, очевидно, перегнал с Янь-острова медведь. В это время в стороне показалась лодка, нам кричали, можно было ясно разобрать слова:

— Па-а-кость! На Коросозере четырех ронил! Когда лодка подъехала, между Мануйлой и двумя ловцами начался непонятный для меня разговор:

— У нас вся скотина в отпуску… Сам Микулаич отпущал… Пакость! Четырех из отпущенного стада ронил… Ослеп. Видно, у него путаться началось… Дьявола-то жмут… Напущенный…

Максимка напустил…

Кое-как мне удалось установить такой смысл этих слов: скотина, которую ронил медведь, была заговорена знаменитым колдуном Микулаичем, или «отпущена». И вот, несмотря на это, случилось что-то неслыханное: медведь съел заговоренную, «отпущенную» скотину. Объяснялось это тем, что Микулаич стал стар, ослеп, дьяволы его жмут, и оттого в голове его начало что-то путаться.

— Эх, а хороший колдун был Микулаич! — сказал мне Мануйло. — По всем деревням от Данилова до Поморья отпускал скотину. Привезут, отвезут на своей лошади, поят, кормят, соберут рыбников, калиток целый воз, надают денег… Пастухи к нему со всех мест за отпусками ходили.

Мануйло не верил, что у Микулаича путаться начало, и объяснял это тем, что «он», то есть медведь, напущен другим завистливым колдуном Максимкой и что следовало бы опять попробовать его утопить. Оказывалось, что этого Максимку уже не раз топили, но не удавалось, — он всплывает и начинает со злости пакостить, то есть напускать «звиря».

Наконец мы добрались до колдуна Микулаича.

Он сидел возле своей избушки, грелся на солнце. Этот старый слепой старик, с благообразным лицом и седой длинной бородой, вовсе не походил на колдуна; скорее это был пастырь, священник. Узнав о том, что у Мануйлы ружье недостреливает, он сказал:

— Ну, давай ружье, я тебе наставлю.

После этого мы пошли к озеру. Старик стал на колени. У самой воды разобрал ружье и, продувая ствол, три раза погрузил его в воду.

Старик совершал обряд с полной верой в его значение, у него было торжественное, серьезное лицо. Мануйло смотрел на него, как смотрит простой верующий человек на священника. Озеро было тихое, красивое, и во мне шевельнулось что-то, требующее уважения к обряду.

— Это, видишь ли, — объяснял мне потом в своей немного мрачной избе Ферезеин, — больше от себя. Когда с ружьем ходишь полесовать, так нужно вести себя строго. Другой раз нагрешат, трудно бывает поправить, ну раз и не сделаю, а другой уж наставлю.

С большой осторожностью я перевел разговор на медведей, скот и, наконец, на то, что медведь съел отпущенную им скотину. Микулаич просто и спокойно объяснил мне, что медведь

этот не простой: если бы он был простой, то пришел бы на то же место и стал бы есть скотину; а если он не пришел, то для чего же он ее ронил? Нет, этот медведь напущенный. Но кто напустил, он не знает; говорят, что Максимка, но это неизвестно, а он теперь не может отведать колдуна, потому что ослеп. Для того чтобы отведать, нужно собрать из трех мест лагунной воды и смотреть в нее, пока не покажется враг.

— Я, — говорил старик, — годов с полсотни скотину отпущал, и никто не слыхал, чтобы мою скотину медведь сшиб. Эх, если бы глаза, я б ему показал! Не по разуму стряпню затеял. Вот раз это было… годов уж пятьдесят прошло. Тоже, как и теперь, каргопольский колдун стал повенецкому пакостить. Сошлись они на Коросозере. Наш-то и говорит: «Видишь вон чугун в печи? Пусть подойдет ко мне».

Бился-бился каргопольский, чугун ни с места.

— А вот тебе шуба на пороге, — говорит он нашему, — пусть сюда придет…

Не успел сказать, шуба и поползла, и поползла…

С тех пор шабаш, потерял силу каргопольский колдун.

— Эх, если бы не глаза, показал бы я этому

Максимке!

Положение старика было, в самом деле, печально: всю жизнь он занимался отпусками, тем и кормился, и вот на старости приходится дело бросать. Он погрузился в воспоминания и рассказывал мне, как он отпускал скотину.

Бывало, Троица подходит, со всех мест шлют, успевай только ездить и отпускать. Приедет в деревню, а там уж ждут, скотина в поле, в загоне, пастух с трубой. Микулаич ставит в землю батожок и даст пастуху записку с отпуском. Если грамотный, то читает ее, обходя скотину три раза вправо от батожка; если неграмотный, то за пастухом идет кто-нибудь и читает отпуск. После этого Микулаич берет хлебный колобок, режет его на кусочки, чтобы каждой скотине досталось.

Но теперь старик ослеп, его, несомненно, жмут дьяволы, и он ничего не может поделать с пакостником Максимкой. Я упросил старика дать мне отпуск. Он достал из сундука бумажку и заставил меня три раза прочесть вслух. И нужно было видеть торжественное лицо старика, когда я читал. Он словно благословлял меня.

— Этот отпуск хороший, — говорил он, — этим отпуском сто коров отпущено и сорок лошадей.

Теперь пиши, верно пиши.



Антон Чехов

На даче

«Я вас люблю. Вы моя жизнь, счастье — всё! Простите за признание, но страдать и молчать нет сил. Прошу не взаимности, а сожаления. Будьте сегодня в восемь часов вечера в старой беседке… Имя свое подписывать считаю лишним, но не пугайтесь анонима. Я молода, хороша собой… чего же вам еще?»

Прочитав это письмо, дачник Павел Иваныч Выходцев, человек семейный и положительный, пожал плечами и в недоумении почесал себе лоб.

«Что за чертовщина? — подумал он. — Женатый я человек, и вдруг такое странное… глупое письмо! Кто это написал?»

Павел Иванович повертел перед глазами письмо, еще раз прочел и плюнул.

«„Я вас люблю“… — передразнил он. — Мальчишку какого нашла! Так-таки возьму и побегу к тебе в беседку!.. Я, матушка моя, давно уж отвык от этих романсов да флер-д’амуров… Гм! Должно быть, шальная какая-нибудь, непутевая… Ну, народ эти женщины! Какой надо быть, прости господи, вертихвосткой, чтобы написать такое

письмо незнакомому, да еще женатому мужчине! Сущая деморализация!»

За все восемь лет своей женатой жизни Павел Иваныч отвык от тонких чувств и не получал никаких писем, кроме поздравительных, а потому, как он ни старался хорохориться перед самим собою, вышеприведенное письмо сильно озадачило его и взволновало.

Через час после получения его он лежал на диване и думал:

«Конечно, я не мальчишка и не побегу на это дурацкое рандеву, но все-таки интересно было бы знать: кто это написал? Гм… Почерк, несомненно, женский… Письмо написано искренне, с душой, а потому едва ли это шутка… Вероятно, какая-нибудь психопатка или вдова… Вдовы вообще легкомысленны и эксцентричны. Гм… Кто бы это мог быть?»

Решить этот вопрос было тем более трудно, что во всем дачном поселке у Павла Ивановича не было ни одной знакомой женщины, кроме жены.

«Странно… — недоумевал он. — „Я вас люблю“… Когда же это она успела полюбить? Удивительная женщина! Полюбила так, с бухты-барахты, даже не познакомившись и не узнавши, что я

за человек… Должно быть, слишком еще молода и романтична, если способна влюбиться с двух-трех взглядов… Но… кто она?»

Вдруг Павел Иваныч вспомнил, что вчера и третьего дня, когда он гулял на дачном кругу, ему несколько раз встречалась молоденькая блондиночка в светло-голубом платье и с вздернутым носиком. Блондиночка то и дело взглядывала на него и, когда он сел на скамью, уселась рядом с ним…

«Она? — подумал Выходцев. — Не может быть! Разве субтильное, эфемерное существо может полюбить такого старого, потасканного угря, как я? Нет, это невозможно!»

За обедом Павел Иваныч тупо глядел на жену и размышлял:

«Она пишет, что она молода и хороша собой… Значит, не старуха… Гм… Говоря искренне, по совести, я еще не так стар и плох, чтобы в меня нельзя было влюбиться… Любит же меня жена! И к тому же, любовь зла — полюбишь и козла…»

— О чем ты задумался? — спросила его жена.

— Так… голова что-то болит… — соврал Павел Иваныч.

Он порешил, что глупо обращать внимание на такую безделицу, как любовное письмо, сме-

ялся над ним и его авторшей, но — увы! — враг человеческий силен. После обеда Павел Иваныч лежал у себя на кровати и вместо того, чтобы спать, думал:

«А ведь она, пожалуй, надеется, что я приду! Вот дура-то! То-то, воображаю, будет нервничать и турнюром своим дрыгать, когда меня не найдет в беседке!.. А я не пойду… Ну ее!»

Но, повторяю, враг человеческий силен.

«Впрочем, так разве, пойти из любопытства… — думал через полчаса дачник. — Пойти и поглядеть издалека, что это за штука… Интересно поглядеть! Смех да и только! Право, отчего не посмеяться, если подходящий случай представился?»

Павел Иваныч поднялся с постели и начал одеваться.

— Ты куда это так наряжаешься? — спросила его жена, заметив, что он надевает чистую сорочку и модный галстух.

— Так… хочу пройтись… Голова что-то болит… Кгм…

Павел Иваныч нарядился и, дождавшись восьмого часа, вышел из дому. Когда перед его глазами, на ярко-зеленом фоне, залитом светом заходящего солнца, запестрели фигуры разряжен-

ных дачников и дачниц, у него забилось сердце.

«Которая из них? — думал он, застенчиво косясь на лица дачниц. — А блондиночки не видать… Гм… Если она писала, то, стало быть, уж в беседке сидит…»

Выходцев вступил на аллею, в конце которой из-за молодой листвы высоких лип выглядывала «старая беседка»… Он тихо поплелся к ней…

«Погляжу издалека… — думал он, нерешительно подвигаясь вперед. — Ну, что я робею? Ведь я же не иду на рандеву! Этакий… дурень! Смелей иди! А что, если б я вошел в беседку? Ну, ну… незачем!»

У Павла Иваныча еще сильнее забилось сердце… Невольно, сам того не желая, он вдруг вообразил себе полумрак беседки… В его воображении мелькнула стройная блондиночка в светло-голубом платье и с вздернутым носиком… Он представил себе, как она, стыдясь своей любви и дрожа всем телом, робко подходит к нему, горячо дышит и… вдруг сжимает его в объятиях.

«Не будь я женат, оно бы еще ничего… — думал он, гоня из головы грешные мысли. — Впрочем… раз в жизни не мешало бы испытать, а то так и умрешь, не узнавши, что это за штука… А жена… ну, что с ней сделается? Слава богу, восемь

лет ни на шаг не отходил от нее… Восемь лет беспорочной службы! Будет с нее… Досадно даже… Возьму вот, назло и изменю!»

Дрожа всем телом и задерживая одышку, Павел Иваныч подошел к беседке, увитой плющом и диким виноградом, и заглянул в нее… На него пахнуло сыростью и запахом плесени…

«Кажется, никого…» — подумал он, входя в беседку, и тут же увидел в углу человеческий силуэт…

Силуэт принадлежал мужчине… Вглядевшись в него, Павел Иваныч узнал в нем брата своей жены, студента Митю, жившего у него на даче.

— А, это ты?.. — промычал он недовольным голосом, снимая шляпу и садясь.

— Да, я… — ответил Митя.

Минуты две прошло в молчании…

— Извините меня, Павел Иваныч, — начал Митя, — но я просил бы вас оставить меня одного… Я обдумываю кандидатское сочинение, и… и присутствие кого бы то ни было мне мешает…

— А ты ступай куда-нибудь на темную аллейку… — кротко заметил Павел Иваныч. — На свежем воздухе легче думать, да и… того — мне хотелось бы тут на скамье соснуть… Здесь не так жарко…

— Вам спать, а мне сочинение обдумывать… — проворчал Митя. — Сочинение важней…

Опять наступило молчание… Павел Иваныч, который дал уже волю воображению и то и дело слышал шаги, вдруг вскочил и заговорил плачущим голосом:

— Ну, я прошу тебя, Митя! Ты моложе меня и должен уважить… Я болен и… и хочу спать… Уйди!

— Это эгоизм… Почему непременно вам здесь быть, а не мне? Из принципа не выйду…

— Ну, прошу! Пусть я эгоист, деспот, глупец… но я прошу тебя! Раз в жизни прошу! Уважь!

Митя покрутил головой…

«Какая скотина… — подумал Павел Иваныч. — Ведь при нем не состоится рандеву! При нем нельзя!»

— Послушай, Митя, — сказал он, — я прошу тебя в последний раз… Докажи, что ты умный, гуманный и образованный человек!

— Не понимаю, чего вы пристаете… — пожал плечами Митя. — Сказал: не выйду, ну, и не выйду. Из принципа здесь останусь…

В это время вдруг в беседку заглянуло женское лицо с вздернутым носиком…

Увидев Митю и Павла Иваныча, оно нахмури-

лось и исчезло…

«Ушла! — подумал Павел Иваныч, со злобой глядя на Митю. — Увидала этого подлеца и ушла! Все дело пропало!»

Подождав еще немного, Выходцев встал, надел шляпу и сказал:

— Скотина ты, подлец и мерзавец! Да! Скотина! Подло и… и глупо! Между нами все кончено!

— Очень рад! — проворчал Митя, тоже вставая и надевая шляпу. — Знайте, что вы сейчас вашим присутствием сделали мне такую пакость, какой я вам до самой смерти не прощу!

Павел Иваныч вышел из беседки и, не помня себя от злости, быстро зашагал к своей даче… Его не успокоил и вид стола, сервированного для ужина.

«Раз в жизни представился случай, — волновался он, — и то помешали! Теперь она оскорблена… убита!»

За ужином Павел Иваныч и Митя глядели в свои тарелки и угрюмо молчали… Оба всей душой ненавидели друг друга.

— Ты чего это улыбаешься? — набросился Павел Иваныч на жену. — Только одни дуры без причины смеются!

Жена поглядела на сердитое лицо мужа и прыс-

нула…

— Что это за письмо получил ты сегодня утром? — спросила она.

— Я?.. Я никакого… — сконфузился Павел Иваныч. — Выдумываешь… воображение…

— Ну да, рассказывай! Признайся, получил! Ведь это письмо я тебе послала! Честное слово, я! Ха-ха!

Павел Иваныч побагровел и нагнулся к тарелке.

— Глупые шутки, — проворчал он.

— Но что же делать! Сам ты посуди… Нам нужно было сегодня полы помыть, а как вас выжить из дому? Только таким способом и выживешь… Но ты не сердись, глупый… Чтобы тебе в беседке скучно не показалось, ведь я и Мите такое же письмо послала! Митя, ты был в беседке?

Митя ухмыльнулся и перестал глядеть с ненавистью на своего соперника.

Дачники

По дачной платформе взад и вперед прогуливалась парочка недавно поженившихся супругов. Он держал ее за талию, а она жалась к нему, и оба были счастливы. Из-за облачных обрывков глядела на них луна и хмурилась: вероятно, ей было завидно и досадно на свое скучное, никому не нужное девство. Неподвижный воздух был густо насыщен запахом сирени и черемухи. Где-то, по ту сторону рельсов, кричал коростель…

— Как хорошо, Саша, как хорошо! — говорила жена. — Право, можно подумать, что все это снится. Ты посмотри, как уютно и ласково глядит этот лесок! Как милы эти солидные, молчаливые телеграфные столбы! Они, Саша, оживляют ландшафт и говорят, что там, где-то, есть люди… цивилизация… А разве тебе не нравится, когда до твоего слуха ветер слабо доносит шум идущего поезда?

— Да… Какие, однако, у тебя руки горячие! Это оттого, что ты волнуешься, Варя… Что у нас сегодня к ужину готовили?

— Окрошку и цыпленка… Цыпленка нам на двоих довольно. Тебе из города привезли сардины и балык.

Луна, точно табаку понюхала, спряталась за облако. Людское счастье напомнило ей об ее одиночестве, одинокой постели за лесами и долами…

— Поезд идет! — сказала Варя. — Как хорошо!

Вдали показались три огненные глаза. На платформу вышел начальник полустанка. На рельсах там и сям замелькали сигнальные огни.

— Проводим поезд и пойдем домой, — сказал Саша и зевнул. — Хорошо нам с тобой живется, Варя, так хорошо, что даже невероятно!

Темное страшилище бесшумно подползло к платформе и остановилось. В полуосвещенных вагонных окнах замелькали сонные лица, шляпки, плечи…

— Ах! Ах! — послышалось из одного вагона. — Варя с мужем вышла нас встретить! Вот они! Варенька!.. Варечка! Ах!

Из вагона выскочили две девочки и повисли на шее у Вари. За ними показались полная пожилая дама и высокий, тощий господин с седыми бачками, потом два гимназиста, навьюченные багажом, за гимназистами гувернантка, за гувернанткой бабушка.

— А вот и мы, а вот и мы, дружок! — начал господин с бачками, пожимая Сашину руку. — Чай,

заждался! Небось, бранил дядю за то, что не едет! Коля, Костя, Нина, Фифа… дети! Целуйте кузена Сашу! Все к тебе, всем выводком, и денька на три, на четыре. Надеюсь, не стесним? Ты, пожалуйста, без церемонии.

Увидев дядю с семейством, супруги пришли в ужас. Пока дядя говорил и целовался, в воображении Саши промелькнула картина: он и жена отдают гостям свои три комнаты, подушки, одеяла; балык, сардины и окрошка съедаются в одну секунду, кузены рвут цветы, проливают чернила, галдят, тетушка целые дни толкует о своей болезни (солитер и боль под ложечкой) и о том, что она урожденная баронесса фон Финтих…

И Саша уже с ненавистью смотрел на свою молодую жену и шептал ей:

— Это они к тебе приехали… черт бы их побрал!

— Нет, к тебе! — отвечала она, бледная, тоже с ненавистью и со злобой. — Это не мои, а твои родственники!

И обернувшись к гостям, она сказала с приветливой улыбкой:

— Милости просим!

Из-за облака опять выплыла луна. Казалось, она улыбалась; казалось, ей было приятно, что

у нее нет родственников. А Саша отвернулся, чтобы скрыть от гостей свое сердитое, отчаянное лицо, и сказал, придавая голосу радостное, благодушное выражение:

— Милости просим! Милости просим, дорогие гости!

От нечего делать
Дачный роман

Николай Андреевич Капитонов, нотариус, пообедал, выкурил сигару и отправился к себе в спальную отдыхать. Он лег, укрылся от комаров кисеей и закрыл глаза, но уснуть не сумел. Лук, съеденный им вместе с окрошкой, поднял в нем такую изжогу, что о сне и думать нельзя было.

«Нет, не уснуть мне сегодня, — решил он, раз пять перевернувшись с боку на бок. — Стану газеты читать».

Николай Андреич встал с постели, набросил на себя халат и в одних чулках, без туфель, пошел к себе в кабинет за газетами. Он и не предчувствовал, что в кабинете ожидало его зрелище, которое было гораздо интереснее изжоги и газет!

Когда он переступил порог кабинета, перед его глазами открылась картина: на бархатной кушетке, спустив ноги на скамеечку, полулежала его жена, Анна Семеновна, дама тридцати трех лет; поза ее, небрежная и томная, походила на ту позу, в какой обыкновенно рисуется Клеопатра египетская, отравляющая себя змеями. У ее

изголовья, на одном колене, стоял репетитор Капитоновых, студент-техник 1-го курса, Ваня Щупальцев, розовый, безусый мальчик лет 19–20. Смысл этой «живой» картины нетрудно было понять: перед самым входом нотариуса уста барыни и юноши слились в продолжительный, томительно-жгучий поцелуй.

Николай Андреевич остановился как вкопанный, притаил дыхание и стал ждать, что дальше будет, но не вытерпел и кашлянул. Техник оглянулся на кашель и, увидев нотариуса, отупел на мгновение, потом же вспыхнул, вскочил и выбежал из кабинета. Анна Семеновна смутилась.

— Пре-екрасно! Мило! — начал муж, кланяясь и расставляя руки. — Поздравляю! Мило и великолепно!

— С вашей стороны тоже мило… подслушивать! — пробормотала Анна Семеновна, стараясь оправиться.

— Merci! Чудно! — продолжал нотариус, широко ухмыляясь. — Так все это, мамочка, хорошо, что я готов сто рублей дать, чтобы еще раз поглядеть.

— Вовсе ничего не было… Это вам так показалось… Глупо даже…

— Ну да, а целовался кто?

— Целовались — да, а больше… не понимаю даже, откуда ты выдумал.

Николай Андреевич насмешливо поглядел на смущенное лицо жены и покачал головой.

— Свеженьких огурчиков на старости лет захотелось! — заговорил он певучим голосом. — Надоела белужина, так вот к сардинкам потянуло. Ах ты, бесстыдница! Впрочем, что ж? Бальзаковский возраст! Ничего не поделаешь с этим возрастом! Понимаю! Понимаю и сочувствую!

Николай Андреевич сел у окна и забарабанил пальцами по подоконнику.

— И впредь продолжайте… — зевнул он.

— Глупо! — сказала Анна Семеновна.

— Черт знает какая жара! Велела бы ты лимонаду купить, что ли. Так-то, сударыня. Понимаю и сочувствую. Все эти поцелуи, ахи да вздохи — фуй, изжога! — все это хорошо и великолепно, только не следовало бы, матушка, мальчика смущать. Да-с. Мальчик добрый, хороший… светлая голова и достоин лучшей участи. Пощадить бы его следовало.

— Вы ничего не понимаете. Мальчик в меня по уши влюбился, и я сделала ему приятное… позволила поцеловать себя.

— Влюбился… — передразнил Николай Андре-

ич. — Прежде чем он в тебя влюбился, ты ему небось сто западней и мышеловок поставила.

Нотариус зевнул и потянулся.

— Удивительное дело! — проворчал он, глядя в окно. — Поцелуй я так же безгрешно, как ты сейчас, девушку, на меня черт знает что посыплется: злодей! соблазнитель! развратитель! А вам, бальзаковским барыням, все с рук сходит. Не надо в другой раз лук в окрошку класть, а то околеешь от этой изжоги... Фуй! Погляди-ка скорей на твоего обже! Бежит по аллее бедный финик, словно ошпаренный, без оглядки. Чай, воображает, что я с ним из-за такого сокровища, как ты, стреляться буду. Шкодлив, как кошка, труслив, как заяц. Постой же, финик, задам я тебе фернапиксу! Ты у меня еще не этак забегаешь!

— Нет, пожалуйста, ты ему ничего не говори! — сказала Анна Семеновна. — Не бранись с ним, он нисколько не виноват.

— Я браниться не буду, а так только... шутки ради.

Нотариус зевнул, забрал газеты и, подобрав полы халата, побрел к себе в спальную. Повалявшись часа полтора и прочитавши газеты, Николай Андреич оделся и отправился гулять. Он ходил по саду и весело помахивал своей

тросточкой, но, увидав издалека техника Щупальцева, он скрестил на груди руки, нахмурился и зашагал, как провинциальный трагик, готовящийся к встрече с соперником. Щупальцев сидел на скамье под ясенью и, бледный, трепещущий, готовился к тяжелому объяснению. Он храбрился, делал серьезное лицо, но его, как говорится, крючило. Увидав нотариуса, он еще больше побледнел, тяжело перевел дух и смиренно поджал под себя ноги. Николай Андреич подошел к нему боком, постоял молча и, не глядя на него, начал:

— Конечно, милостивый государь, вы понимаете, о чем я хочу говорить с вами. После того, что я видел, наши хорошие отношения продолжаться не могут. Да-с! Волнение мешает мне говорить, но… вы и без моих слов поймете, что я и вы жить под одной крышей не можем. Я или вы!

— Я вас понимаю, — пробормотал техник, тяжело дыша.

— Эта дача принадлежит жене, а потому здесь останетесь вы, а я… я уеду. Я пришел сюда не упрекать вас, нет! Упреками и слезами не вернешь того, что безвозвратно потеряно. Я пришел затем, чтобы спросить вас о ваших намерениях… (Пауза.) Конечно, не мое дело мешаться в ваши дела, но, согласитесь, в желании знать о даль-

нейшей судьбе горячо любимой женщины нет ничего такого… этакого, что могло бы показаться вам вмешательством. Вы намерены жить с моей женой?

— То есть как-с? — сконфузился техник, подгибая еще больше под скамью ноги. — Я… я не знаю. Все это как-то странно.

— Я вижу, вы уклоняетесь от прямого ответа, — проворчал угрюмо нотариус. — Так я вам прямо говорю: или вы берете соблазненную вами женщину и доставляете ей средства к существованию, или же мы стреляемся. Любовь налагает известные обязательства, милостивый государь, и вы, как честный человек, должны понимать это! Через неделю я уезжаю, и Анна с семьей поступает под вашу ферулу. На детей я буду выдавать определенную сумму.

— Если Анне Семеновне угодно, — забормотал юноша, — то я… я, как честный человек, возьму на себя… но я ведь беден! Хотя…

— Вы благородный человек! — прохрипел нотариус, потрясая руку техника. — Благодарю! Во всяком случае даю вам неделю на размышление. Вы подумайте!

Нотариус сел рядом с техником и закрыл руками лицо.

— Но что вы сделали со мной! — простонал он. — Вы разбили мне жизнь… отняли у меня женщину, которую я любил больше жизни. Нет, я не перенесу этого удара!

Юноша с тоской поглядел на него и почесал себе лоб. Ему было жутко.

— Сами вы виноваты, Николай Андреич! — вздохнул он. — Снявши голову, по волосам не плачут. Вспомните, что вы женились на Анне только из-за денег… потом всю жизнь вы не понимали ее, тиранили… относились небрежно к самым чистым, благородным порывам ее сердца.

— Это она вам сказала? — спросил Николай Андреич, вдруг отнимая от лица руки.

— Да, она. Мне известна вся ее жизнь, и… и верьте, я полюбил в ней не столько женщину, сколько страдалицу.

— Вы благородный человек… — вздохнул нотариус поднимаясь. — Прощайте и будьте счастливы. Надеюсь, что все, что тут было сказано, останется между нами.

Николай Андреич еще раз вздохнул и зашагал к дому.

На полдороге встретилась ему Анна Семеновна.

— Что, финика своего ищешь? — спросил он. — Ступай-ка погляди, в какой пот я его вогнал!.. А ты уж успела ему поисповедаться! И что это у вас, бальзаковских, за манера, ей-богу! Красотой и свежестью брать не можете, так с исповедью подъезжаете, с жалкими словами! Наврала с три короба! И на деньгах-то я женился, и не понимал я тебя, и тиранил, и черт, и дьявол…

— Ничего я ему не говорила! — вспыхнула Анна Семеновна.

— Ну, ну… я ведь понимаю, вхожу в положение. Не бойся, не выговор делаю. Мальчика только жалко! Хороший такой, честный, искренний.

Когда наступил вечер и всю землю заволокло потемками, нотариус еще раз вышел на прогулку. Вечер был великолепный. Деревья спали, и, казалось, никакая буря не могла разбудить их от молодого, весеннего сна. С неба, борясь с дремотой, глядели звезды. Где-то за садом лениво квакали лягушки и пискала сова. Слышались короткие, отрывистые свистки далекого соловья.

Николай Андреич, проходивший в потемках под широкой липой, неожиданно наткнулся на Щупальцева.

— Что вы тут стоите? — спросил он.

— Николай Андреич! — начал Щупальцев

дрожащим от волнения голосом. — Я согласен на все ваши условия, но… все это как-то странно. — Вдруг вы ни с того ни с сего несчастны… страдаете и говорите, что ваша жизнь разбита…

— Да, так что же?

— Если вы оскорблены, то… то, хоть я и не признаю дуэли, я могу удовлетворить вас. Если дуэль хоть немного облегчит вас, то, извольте, я готов… хоть сто дуэлей…

Нотариус засмеялся и взял техника за талию.

— Ну, ну… будет! Я ведь пошутил, голубчик! — сказал он. — Все это пустяки и вздор. Та дрянная и ничтожная женщина не стоит того, чтобы вы тратили из-за нее хорошие слова и волновались. Довольно, юноша! Пойдемте гулять.

— Я… я вас не понимаю…

— И понимать нечего. Дрянная, скверная бабенка и больше ничего!.. У вас вкуса нет, голубчик. Что вы остановились? Удивляетесь, что я такие слова про жену говорю? Конечно, мне не следовало бы говорить вам этого, но так как вы тут некоторым образом лицо заинтересованное, то с вами нечего скрытничать. Говорю вам откровенно: наплюйте! Игра не стоит свеч. Все она вам налгала и как «страдалица» гроша медного не стоит. Бальзаковская барыня и психопатка.

Глупа и много врет. Честное слово, голубчик! Я не шучу…

— Но ведь она вам жена! — удивился техник.

— Мало ли чего! Был таким же, как вот вы, и женился, а теперь рад бы разжениться, да — тпррр… Наплюйте, милый! Любви-то ведь никакой, а одна только шалость, скука. Хотите шалить, так вон Настя идет… Эй, Настя, куда идешь?

— За квасом, барин! — послышался женский голос.

— Это я понимаю, — продолжал нотариус, — а все эти психопатки, страдалицы… ну их! Настя дура, но в ней хоть претензий нет… Дальше пойдем?

Нотариус и техник вышли из сада, оглянулись и, оба разом вздохнувши, пошли по полю.

Крыжовник

Еще с раннего утра все небо обложили дождевые тучи; было тихо, не жарко и скучно, как бывает в серые пасмурные дни, когда над полем давно уже нависли тучи, ждешь дождя, а его нет. Ветеринарный врач Иван Иваныч и учитель гимназии Буркин уже утомились идти, и поле представлялось им бесконечным. Далеко впереди еле были видны ветряные мельницы села Мироносицкого, справа тянулся и потом исчезал далеко за селом ряд холмов, и оба они знали, что это берег реки, там луга, зеленые ивы, усадьбы, и если стать на один из холмов, то оттуда видно такое же громадное поле, телеграф и поезд, который издали похож на ползущую гусеницу, а в ясную погоду оттуда бывает виден даже город. Теперь, в тихую погоду, когда вся природа казалась кроткой и задумчивой, Иван Иваныч и Буркин были проникнуты любовью к этому полю и оба думали о том, как велика, как прекрасна эта страна.

— В прошлый раз, когда мы были в сарае у старосты Прокофия, — сказал Буркин, — вы собирались рассказать какую-то историю.

— Да, я хотел тогда рассказать про своего брата.

Иван Иваныч протяжно вздохнул и закурил трубочку, чтобы начать рассказывать, но как раз в это время пошел дождь. И минут через пять лил уже сильный дождь, обложной, и трудно было предвидеть, когда он кончится. Иван Иваныч и Буркин остановились в раздумье; собаки, уже мокрые, стояли, поджав хвосты, и смотрели на них с умилением.

— Нам нужно укрыться куда-нибудь, — сказал Буркин. — Пойдемте к Алехину. Тут близко.

— Пойдемте.

Они свернули в сторону и шли всё по скошенному полю, то прямо, то забирая направо, пока не вышли на дорогу. Скоро показались тополи, сад, потом красные крыши амбаров; заблестела река, и открылся вид на широкий плес с мельницей и белою купальней. Это было Софьино, где жил Алехин.

Мельница работала, заглушая шум дождя; плотина дрожала. Тут около телег стояли мокрые лошади, понурив головы, и ходили люди, накрывшись мешками. Было сыро, грязно, неуютно, и вид у плеса был холодный, злой. Иван Иваныч и Буркин испытывали уже чувство мокроты,

нечистоты, неудобства во всем теле, ноги отяжелели от грязи, и когда, пройдя плотину, они поднимались к господским амбарам, то молчали, точно сердились друг на друга.

В одном из амбаров шумела веялка; дверь была открыта, и из нее валила пыль. На пороге стоял сам Алехин, мужчина лет сорока, высокий, полный, с длинными волосами, похожий больше на профессора или художника, чем на помещика. На нем была белая, давно не мытая рубаха с веревочным пояском, вместо брюк кальсоны, и на сапогах тоже налипли грязь и солома. Нос и глаза были черны от пыли. Он узнал Ивана Иваныча и Буркина и, по-видимому, очень обрадовался.

— Пожалуйте, господа, в дом, — сказал он, улыбаясь. — Я сейчас, сию минуту.

Дом был большой, двухэтажный. Алехин жил внизу, в двух комнатах со сводами и с маленькими окнами, где когда-то жили приказчики; тут была обстановка простая, и пахло ржаным хлебом, дешевою водкой и сбруей. Наверху же, в парадных комнатах, он бывал редко, только когда приезжали гости. Ивана Иваныча и Буркина встретила в доме горничная, молодая женщина, такая красивая, что они оба разом остановились и поглядели друг на друга.

— Вы не можете себе представить, как я рад видеть вас, господа, — говорил Алехин, входя за ними в переднюю. — Вот не ожидал! Пелагея, — обратился он к горничной, — дайте гостям переодеться во что-нибудь. Да кстати и я переоденусь. Только надо сначала пойти помыться, а то я, кажется, с весны не мылся. Не хотите ли, господа, пойти в купальню, а тут пока приготовят.

Красивая Пелагея, такая деликатная и на вид такая мягкая, принесла простыни и мыло, и Алехин с гостями пошел в купальню.

— Да, давно я уже не мылся, — говорил он, раздеваясь. — Купальня у меня, как видите, хорошая, отец еще строил, но мыться как-то все некогда.

Он сел на ступеньке и намылил свои длинные волосы и шею, и вода около него стала коричневой.

— Да, признаюсь… — проговорил Иван Иваныч значительно, глядя на его голову.

— Давно я уже не мылся… — повторил Алехин конфузливо и еще раз намылился, и вода около него стала темно-синей, как чернила.

Иван Иваныч вышел наружу, бросился в воду с шумом и поплыл под дождем, широко взмахивая руками, и от него шли волны, и на волнах качались белые лилии; он доплыл до самой сере-

дины плеса и нырнул, и через минуту показался на другом месте, и поплыл дальше, и все нырял, стараясь достать дна. «Ах, боже мой… — повторял он, наслаждаясь. — Ах, боже мой…» Доплыл до мельницы, о чем-то поговорил там с мужиками и повернул назад, и на середине плеса лег, подставляя свое лицо под дождь. Буркин и Алехин уже оделись и собрались уходить, а он все плавал и нырял.

— Ах, боже мой… — говорил он. — Ах, господи помилуй.

— Будет вам! — крикнул ему Буркин.

Вернулись в дом. И только когда в большой гостиной наверху зажгли лампу, и Буркин и Иван Иваныч, одетые в шелковые халаты и теплые туфли, сидели в креслах, а сам Алехин, умытый, причесанный, в новом сюртуке, ходил по гостиной, видимо, с наслаждением ощущая тепло, чистоту, сухое платье, легкую обувь, и когда красивая Пелагея, бесшумно ступая по ковру и мягко улыбаясь, подавала на подносе чай с вареньем, только тогда Иван Иваныч приступил к рассказу, и казалось, что его слушали не один только Буркин и Алехин, но также старые и молодые дамы и военные, спокойно и строго глядевшие из золотых рам.

— Нас два брата, — начал он, — я, Иван Иваныч, и другой — Николай Иваныч, года на два помоложе. Я пошел по ученой части, стал ветеринаром, а Николай уже с девятнадцати лет сидел в казенной палате. Наш отец Чимша-Гималайский был из кантонистов, но, выслужив офицерский чин, оставил нам потомственное дворянство и именьишко. После его смерти именьишко у нас оттягали за долги, но, как бы ни было, детство мы провели в деревне на воле. Мы, все равно как крестьянские дети, дни и ночи проводили в поле, в лесу, стерегли лошадей, драли лыко, ловили рыбу и прочее тому подобное… А вы знаете, кто хоть раз в жизни поймал ерша или видел осенью перелетных дроздов, как они в ясные, прохладные дни носятся стаями над деревней, тот уже не городской житель, и его до самой смерти будет потягивать на волю. Мой брат тосковал в казенной палате. Годы проходили, а он все сидел на одном месте, писал все те же бумаги и думал все об одном и том же, как бы в деревню. И эта тоска у него мало-помалу вылилась в определенное желание, в мечту купить себе маленькую усадебку где-нибудь на берегу реки или озера.

Он был добрый, кроткий человек, я любил его, но этому желанию запереть себя на всю

жизнь в собственную усадьбу я никогда не сочувствовал. Принято говорить, что человеку нужно только три аршина земли. Но ведь три аршина нужны трупу, а не человеку. И говорят также теперь, что если наша интеллигенция имеет тяготение к земле и стремится в усадьбы, то это хорошо. Но ведь эти усадьбы те же три аршина земли. Уходить из города, от борьбы, от житейского шума, уходить и прятаться у себя в усадьбе — это не жизнь, это эгоизм, лень, это своего рода монашество, но монашество без подвига. Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа.

Брат мой Николай, сидя у себя в канцелярии, мечтал о том, как он будет есть свои собственные щи, от которых идет такой вкусный запах по всему двору, есть на зеленой травке, спать на солнышке, сидеть по целым часам за воротами на лавочке и глядеть на поле и лес. Сельскохозяйственные книжки и всякие эти советы в календарях составляли его радость, любимую духовную пищу; он любил читать и газеты, но читал в них одни только объявления о том, что продаются столько-то десятин паш-

ни и луга с усадьбой, рекой, садом, мельницей, с проточными прудами. И рисовались у него в голове дорожки в саду, цветы, фрукты, скворечни, караси в прудах и, знаете, всякая эта штука. Эти воображаемые картины были различны, смотря по объявлениям, которые попадались ему, но почему-то в каждой из них непременно был крыжовник. Ни одной усадьбы, ни одного поэтического угла он не мог себе представить без того, чтобы там не было крыжовника.

— Деревенская жизнь имеет свои удобства, — говорил он, бывало. — Сидишь на балконе, пьешь чай, а на пруде твои уточки плавают, пахнет так хорошо и… и крыжовник растет.

Он чертил план своего имения, и всякий раз у него на плане выходило одно и то же: a) барский дом, b) людская, c) огород, d) крыжовник. Жил он скупо: недоедал, недопивал, одевался бог знает как, словно нищий, и все копил и клал в банк. Страшно жадничал. Мне было больно глядеть на него, и я кое-что давал ему и посылал на праздниках, но он и это прятал. Уж коли задался человек идеей, то ничего не поделаешь.

Годы шли, перевели его в другую губернию, минуло ему уже сорок лет, а он все читал объявления в газетах и копил. Потом, слышу, женился.

Все с той же целью, чтобы купить себе усадьбу с крыжовником, он женился на старой, некрасивой вдове, без всякого чувства, а только потому, что у нее водились деньжонки. Он и с ней тоже жил скупо, держал ее впроголодь, а деньги ее положил в банк на свое имя. Раньше она была за почтмейстером и привыкла у него к пирогам и к наливкам, а у второго мужа и хлеба черного не видала вдоволь; стала чахнуть от такой жизни да года через три взяла и отдала богу душу. И конечно брат мой ни одной минуты не подумал, что он виноват в ее смерти. Деньги, как водка, делают человека чудаком. У нас в городе умирал купец. Перед смертью приказал подать себе тарелку меду и съел все свои деньги и выигрышные билеты вместе с медом, чтобы никому не досталось. Как-то на вокзале я осматривал гурты, и в это время один барышник попал под локомотив и ему отрезало ногу. Несем мы его в приемный покой, кровь льет — страшное дело, а он все просит, чтобы ногу его отыскали, и все беспокоится: в сапоге на отрезанной ноге двадцать рублей, как бы не пропали.

— Это вы уж из другой оперы, — сказал Буркин.

— После смерти жены, — продолжал Иван

Иваныч, подумав полминуты, — брат мой стал высматривать себе имение. Конечно, хоть пять лет высматривай, но все же в конце концов ошибешься и купишь совсем не то, о чем мечтал. Брат Николай через комиссионера, с переводом долга, купил сто двенадцать десятин с барским домом, с людской, с парком, но ни фруктового сада, ни крыжовника, ни прудов с уточками; была река, но вода в ней цветом как кофе, потому что по одну сторону имения кирпичный завод, а по другую — костопальный. Но мой Николай Иваныч мало печалился; он выписал себе двадцать кустов крыжовника, посадил и зажил помещиком.

В прошлом году я поехал к нему проведать. Поеду, думаю, посмотрю, как и что там. В письмах своих брат называл свое имение так: Чумбароклова пустошь, Гималайское тож. Приехал я в «Гималайское тож» после полудня. Было жарко. Везде канавы, заборы, изгороди, понасажены рядами елки, — и не знаешь, как проехать во двор, куда поставить лошадь. Иду к дому, а навстречу мне рыжая собака, толстая, похожая на свинью. Хочется ей лаять, да лень. Вышла из кухни кухарка, голоногая, толстая, тоже похожая на свинью, и сказала, что барин отдыхает после обеда. Вхожу

к брату, он сидит в постели, колени покрыты одеялом; постарел, располнел, обрюзг; щеки, нос и губы тянутся вперед, — того и гляди хрюкнет в одеяло.

Мы обнялись и всплакнули от радости и от грустной мысли, что когда-то были молоды, а теперь оба седы и умирать пора. Он оделся и повел меня показывать свое имение.

— Ну, как ты тут поживаешь? — спросил я.

— Да ничего, слава Богу, живу хорошо.

Это уж был не прежний робкий бедняга-чиновник, а настоящий помещик, барин. Он уж обжился тут, привык и вошел во вкус; кушал много, в бане мылся, полнел, уже судился с обществом и с обоими заводами и очень обижался, когда мужики не называли его «ваше высокоблагородие». И о душе своей заботился солидно, по-барски, и добрые дела творил не просто, а с важностью. А какие добрые дела? Лечил мужиков от всех болезней содой и касторкой и в день своих именин служил среди деревни благодарственный молебен, а потом ставил полведра, думал, что так нужно. Ах, эти ужасные полведра! Сегодня толстый помещик тащит мужиков к земскому начальнику за потраву, а завтра, в торжественный день, ставит им полведра,

а они пьют и кричат «ура» и, пьяные, кланяются ему в ноги. Перемена жизни к лучшему, сытость, праздность развивают в русском человеке самомнение, самое наглое. Николай Иваныч, который когда-то в казенной палате боялся даже для себя лично иметь собственные взгляды, теперь говорил одни только истины, и таким тоном, точно министр: «Образование необходимо, но для народа оно преждевременно», «Телесные наказания вообще вредны, но в некоторых случаях они полезны и незаменимы».

— Я знаю народ и умею с ним обращаться, — говорил он. — Меня народ любит. Стоит мне только пальцем шевельнуть, и для меня народ сделает все, что захочу.

И все это, заметьте, говорилось с умной, доброю улыбкой. Он раз двадцать повторил: «мы, дворяне», «я как дворянин»; очевидно, уже не помнил, что дед наш был мужик, а отец — солдат. Даже наша фамилия Чимша-Гималайский, в сущности несообразная, казалась ему теперь звучной, знатной и очень приятной.

Но дело не в нем, а во мне самом. Я хочу вам рассказать, какая перемена произошла во мне в эти немногие часы, пока я был в его усадьбе. Вечером, когда мы пили чай, кухарка подала к столу

полную тарелку крыжовнику. Это был не купленный, а свой собственный крыжовник, собранный в первый раз с тех пор, как были посажены кусты. Николай Иваныч засмеялся и минуту глядел на крыжовник, молча, со слезами, — он не мог говорить от волнения, потом положил в рот одну ягоду, поглядел на меня с торжеством ребенка, который наконец получил свою любимую игрушку, и сказал:

— Как вкусно!

И он с жадностью ел и все повторял:

— Ах, как вкусно! Ты попробуй!

Было жестко и кисло, но, как сказал Пушкин, «тьмы истин нам дороже нас возвышающий обман». Я видел счастливого человека, заветная мечта которого осуществилась так очевидно, который достиг цели в жизни, получил то, что хотел, который был доволен своею судьбой, самим собой. К моим мыслям о человеческом счастье всегда почему-то примешивалось что-то грустное, теперь же, при виде счастливого человека, мною овладело тяжелое чувство, близкое к отчаянию. Особенно тяжело было ночью. Мне постлали постель в комнате рядом с спальней брата, и мне было слышно, как он не спал и как вставал и подходил к тарелке с крыжовником и брал по ягодке.

Я соображал: как, в сущности, много довольных, счастливых людей! Какая это подавляющая сила! Вы взгляните на эту жизнь: наглость и праздность сильных, невежество и скотоподобие слабых, кругом бедность невозможная, теснота, вырождение, пьянство, лицемерие, вранье… Между тем во всех домах и на улицах тишина, спокойствие; из пятидесяти тысяч живущих в городе ни одного, который бы вскрикнул, громко возмутился. Мы видим тех, которые ходят на рынок за провизией, днем едят, ночью спят, которые говорят свою чепуху, женятся, старятся, благодушно тащат на кладбище своих покойников; но мы не видим и не слышим тех, которые страдают, и то, что страшно в жизни, происходит где-то за кулисами. Все тихо, спокойно, и протестует одна только немая статистика: столько-то с ума сошло, столько-то ведер выпито, столько-то детей погибло от недоедания… И такой порядок, очевидно, нужен; очевидно, счастливый чувствует себя хорошо только потому, что несчастные несут свое бремя молча, и без этого молчания счастье было бы невозможно. Это общий гипноз. Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что

есть несчастные, что, как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясется беда — болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других. Но человека с молоточком нет, счастливый живет себе, и мелкие житейские заботы волнуют его слегка, как ветер осину, — и все обстоит благополучно.

— В ту ночь мне стало понятно, как я тоже был доволен и счастлив, — продолжал Иван Иваныч, вставая. — Я тоже за обедом и на охоте поучал, как жить, как веровать, как управлять народом. Я тоже говорил, что ученье свет, что образование необходимо, но для простых людей пока довольно одной грамоты. Свобода есть благо, говорил я, без нее нельзя, как без воздуха, но надо подождать. Да, я говорил так, а теперь спрашиваю: во имя чего ждать? — спросил Иван Иваныч, сердито глядя на Буркина. — Во имя чего ждать, я вас спрашиваю? Во имя каких соображений? Мне говорят, что не все сразу, всякая идея осуществляется в жизни постепенно, в свое время. Но кто это говорит? Где доказательства, что это справедливо? Вы ссылаетесь на естественный порядок вещей, на законность явлений, но есть ли порядок и законность в том, что я, живой, мыс-

лящий человек, стою надо рвом и жду, когда он зарастет сам или затянет его илом, в то время как, быть может, я мог бы перескочить через него или построить через него мост? И опять-таки, во имя чего ждать? Ждать, когда нет сил жить, а между тем жить нужно и хочется жить!

Я уехал тогда от брата рано утром, и с тех пор для меня стало невыносимо бывать в городе. Меня угнетают тишина и спокойствие, я боюсь смотреть на окна, так как для меня теперь нет более тяжелого зрелища, как счастливое семейство, сидящее вокруг стола и пьющее чай. Я уже стар и не гожусь для борьбы, я неспособен даже ненавидеть. Я только скорблю душевно, раздражаюсь, досадую, по ночам у меня горит голова от наплыва мыслей, и я не могу спать… Ах, если б я был молод!

Иван Иваныч прошелся в волнении из угла в угол и повторил:

— Если б я был молод!

Он вдруг подошел к Алехину и стал пожимать ему то одну руку, то другую.

— Павел Константиныч, — проговорил он умоляющим голосом, — не успокаивайтесь, не давайте усыплять себя! Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте делать добро! Счастья нет,

и не должно его быть, а если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более разумном и великом. Делайте добро!

И все это Иван Иваныч проговорил с жалкой, просящею улыбкой, как будто просил лично для себя.

Потом все трое сидели в креслах, в разных концах гостиной, и молчали. Рассказ Ивана Иваныча не удовлетворил ни Буркина, ни Алехина. Когда из золотых рам глядели генералы и дамы, которые в сумерках казались живыми, слушать рассказ про беднягу-чиновника, который ел крыжовник, было скучно. Хотелось почему-то говорить и слушать про изящных людей, про женщин. И то, что они сидели в гостиной, где всё — и люстра в чехле, и кресла, и ковры под ногами говорили, что здесь когда-то ходили, сидели, пили чай вот эти самые люди, которые глядели теперь из рам, и то, что здесь теперь бесшумно ходила красивая Пелагея, — это было лучше всяких рассказов.

Алехину сильно хотелось спать; он встал по хозяйству рано, в третьем часу утра, и теперь у него слипались глаза, но он боялся, как бы гости не стали без него рассказывать что-нибудь ин-

тересное, и не уходил. Умно ли, справедливо ли было то, что только что говорил Иван Иваныч, он не вникал; гости говорили не о крупе, не о сене, не о дегте, а о чем-то, что не имело прямого отношения к его жизни, и он был рад и хотел, чтобы они продолжали…

— Однако пора спать, — сказал Буркин, поднимаясь. — Позвольте пожелать вам спокойной ночи.

Алехин простился и ушел к себе вниз, а гости остались наверху. Им обоим отвели на ночь большую комнату, где стояли две старые деревянные кровати с резными украшениями и в углу было распятие из слоновой кости; от их постелей, широких, прохладных, которые постилала красивая Пелагея, приятно пахло свежим бельем.

Иван Иваныч молча разделся и лег.

— Господи, прости нас, грешных! — проговорил он и укрылся с головой.

От его трубочки, лежавшей на столе, сильно пахло табачным перегаром, и Буркин долго не спал и все никак не мог понять, откуда этот тяжелый запах.

Дождь стучал в окна всю ночь.

Дачное удовольствие

Чиновник межевой канцелярии Чудаков и некто Косинусов тихо подплыли к женской купальне и, выбрав самую широкую щель, стали созерцать.

— Она наверное здесь, — прошептал Косинусов. — Но я ее не вижу.

— А я вижу… В правом углу лежит на простыне…

— Да, да… вижу… Черт возьми…

— А она полна!

— Не нахожу… Так себе, посредственно… в самой, что называется, пропорции. Как бы к ней пробраться, черт возьми?

— Не стоит, брат, связываться… Ну ее к черту!

— Никто не узнает… Я нырну, Миша…

— Башку о пол расколотишь… Не ныряй…

— Так я перелезу через купальню, коли так…

Косинусов поставил ногу на перекладину и полез…

…

Глаза Чудакова, не отрывавшегося от щели, загорелись завистью…

Но тут, чтобы не усугублять разочарования

читателя, поспешу окончить: дело шло о бутыли с настойкой, которой час тому назад, купаясь, растиралась мамаша Косинусова и которую она, выходя из купальни, забыла взять с собой. Мораль: и молодые люди могут быть пьяницами.

Дачные правила

§§. Воспрещается жить на даче сумасшедшим, безумным, страдающим заразными болезнями, престарелым, малолетним и находящимся в строю нижним чинам, ибо нигде нет столько опасности сочетаться законным браком, как на чистом воздухе.

§§. Живи, плодись и размножайся.

§§. Если ты, сидя у гостеприимной соседки, выкушал три чашки чаю и после всего этого почувствовал вдруг в своих внутренностях брожение умов, то, не прибегая ни к каким фармацевтическим средствам, надевай шапку и иди.

§§. Купаясь в реке, не стой спиной к берегу, ибо на последнем в эту пору могут находиться дамы.

§§. Прыщи на губах от частых поцелуев излечиваются не столько мазями, сколько назиданиями родителей и опекунов.

§§. Если у тебя вскочил на левой щеке флюс, то всеми силами постарайся, чтобы такой же флюс вскочил у тебя и на правой, ибо ничто так не ласкает взора, как симметрия.

Примечание. Если у тебя флюс, то не позволяй

жене бить тебя по щекам.

§§. Если папенька безвозмездно угощает тебя сигарами и старательно скрывает от тебя, что его движимое и недвижимое заложено, если маменька угощает тебя кофеем и сдобными финтифлюшками, если дочка поет «Месяц плывет» и не боится оставаться с тобой наедине, то беги за городовым: тебя хотят окрутить.

§§. Травы не мять, почвы не загрязнять и берез не ломать. Последнее может быть допускаемо только в интересах педагогии и правосудия.

§§. Если ты влюблен, то возьми: ½ фунта александрийского листа, штоф водки, ложку скипидару, ¼ фунта семибратней крови и ½ фунта жженых «Петербургских ведомостей», смешай все это и употреби в один прием. Причиненная этим средством болезнь заставит тебя выехать из дачи в город за врачебною помощью, и тебе будет не до любви.

§§. Городовым и дворникам вменяется в обязанность наблюдать: a) чтобы объяснения в любви производились высоким слогом; b) чтобы в этих объяснениях не было выражений, клонящихся к ниспровержению дозволенного законом здравого смысла; c) чтобы воспитанники учебных заведений, объясняясь в любви только по-ла-

тыни или по-гречески, были в полной форме, дорожили честью своего учебного заведения и, спрягая глагол «amo», не выходили из пределов, указанных Кюнером; d) чтобы особы ниже титулярного держали себя на приличной дистанции от дочерей особ не ниже V класса.

§§. Дачевладельцам и участковым приставам рекомендуется внушать молодым людям, что выражения вроде: «Я готов отдать за тебя весь мир! Ты для меня дороже жизни!» и проч. по меньшей мере неуместны, ибо они могут внушить дворникам и городовым превратные понятия о целях жизни и величии вселенной.

§§. Ложась спать, надевай на случай могущего быть ночью дождя калоши и укрывайся брезентом, радуясь, что и сквозь брезент можно выслушивать ропот жены, вопли озябнувших детей и полицейские свистки.

§§. В случае если ограбят тебя дачные мазурики, то поступай в городовые и мсти. Другого выхода нет.

§§. Дабы гарантировать свою дачу от нашествия родственников и друзей, распусти слух о своей неблагонадежности.

§§. Вообще: не ходи в светлых брюках, не пей после молока квасу, закаляй свой слух кошачьи-

ми концертами и высоким «штилем» старых дев, ешь задаром, пей нашаромыжку, люби на шереметьевский счет, пренебрегай стихиями, аккуратно плати праздничные, уважай родителей, люби начальство — и ты будешь счастлив.

Дачница

Леля NN, хорошенькая двадцатилетняя блондинка, стоит у палисадника дачи и, положив подбородок на перекладину, глядит вдаль. Все далекое поле, клочковатые облака на небе, темнеющая вдали железнодорожная станция и речка, бегущая в десяти шагах от палисадника, залиты светом багровой, поднимающейся из-за кургана луны. Ветерок от нечего делать весело рябит речку и шуршит травкой… Кругом тишина… Леля думает… Хорошенькое лицо ее так грустно, в глазах темнеет столько тоски, что, право, неделикатно и жестоко не поделиться с ней ее горем.

Она сравнивает настоящее с прошлым. В прошлом году, в этом же самом душистом и поэтическом мае, она была в институте и держала выпускные экзамены. Ей припоминается, как классная дама m-lle Morceau, забитое, больное и ужасно недалекое созданье с вечно испуганным лицом и большим, вспотевшим носом, водила выпускных в фотографию сниматься.

— Ах, умоляю вас, — просила она конторщицу в фотографии, — не показывайте им карточек мужчин!

Просила она со слезами на глазах. Эта бедная ящерица, никогда не знавшая мужчин, приходила в священный ужас при виде мужской физиономии. В усах и бороде каждого «демона» она умела читать райское блаженство, неминуемо ведущее к неведомой, страшной пропасти, из которой нет выхода. Институтки смеялись над глупой Morceau, но, пропитанные насквозь «идеалами», они не могли не разделять ее священного ужаса. Они веровали, что там, за институтскими стенами, если не считать катарального папаши и братцев-вольноопределяющихся, кишат косматые поэты, бледные певцы, желчные сатирики, отчаянные патриоты, неизмеримые миллионеры, красноречивые до слез, ужасно интересные защитники… Гляди на эту кишащую толпу и выбирай!

В частности, Леля была убеждена, что, выйдя из института, она неминуемо столкнется с тургеневскими и иными героями, бойцами за правду и прогресс, о которых вперегонку трактуют все романы и даже все учебники по истории — древней, средней и новой…

В этом мае Леля уже замужем. Муж ее красив, богат, молод, образован, всеми уважаем, но, несмотря на все это, он (совестно сознаться пе-

ред поэтическим маем!) груб, неотесан и нелеп, как сорок тысяч нелепых братьев.

Просыпается он ровно в десять часов утра и, надевши халат, садится бриться. Бреется он с озабоченным лицом, с чувством, с толком, словно телефон выдумывает. После бритья пьет какие-то воды, тоже с озабоченным лицом. Затем, одевшись во все тщательно вычищенное и выглаженное, целует женину руку и в собственном экипаже едет на службу в «Страховое общество». Что он делает в этом «обществе», Леля не знает. Переписывает ли он только бумаги, сочиняет ли умные проекты, или, быть может, даже вращает судьбами «общества» — неизвестно. В четвертом часу приезжает он со службы и, жалуясь на утомление и испарину, переменяет белье. Затем садится обедать. За обедом он много ест и разговаривает. Говорит все больше о высоких материях. Решает женский и финансовый вопросы, бранит за что-то Англию, хвалит Бисмарка. Достается от него газетам, медицине, актерам, студентам… «Молодежь ужжасно измельчала!» За один обед успеет сотню вопросов решить. Но, что ужаснее всего, обедающие гости слушают этого тяжелого человека и поддакивают. Он, говорящий нелепости и пошлости, оказывается умнее

всех гостей и может служить авторитетом.

— Нет у нас теперь хороших писателей! — вздыхает он за каждым обедом, и это убеждение вынес он не из книг. Он никогда ничего не читает — ни книг, ни газет. Тургенева смешивает с Достоевским, карикатур не понимает, шуток тоже, а прочитав однажды, по совету Лели, Щедрина, нашел, что Щедрин «туманно» пишет.

— Пушкин, ma chère, лучше… У Пушкина есть очень смешные вещи! Я читал… помню…

После обеда он идет на террасу, садится в мягкое кресло и, полузакрыв глаза, задумывается. Думает долго, сосредоточенно, хмурясь и морщась… О чем он думает, неведомо Леле. Она знает только, что после двухчасовой думы он нисколько не умнеет и несет все ту же чушь. Вечером игра в карты. Играет он аккуратно. Над каждым ходом долго думает и, в случае ошибки партнера, ровным, отчеканивающим голосом излагает правила карточной игры. После карт, по уходе гостей, он пьет те же воды и с озабоченным лицом ложится спать. Во сне он покоен, как лежачее бревно. Изредка только бредит, но и бред его нелеп.

— Извозчик! Извозчик! — услышала от него Леля на вторую ночь после свадьбы.

Всю ночь он бурчит. Бурчит у него в носу, в груди, животе…

Больше ничего не может сказать о нем Леля. Она стоит теперь у палисадника, думает о нем, сравнивает его со всеми знакомыми ей мужчинами и находит, что он лучше всех; но ей не легче от этого. Священный ужас m-lle Morceau обещал ей больше.



Иван Бунин

Антоновские яблоки

I

Осень, идут беспрерывные дожди; на улице дребезжат извозчичьи экипажи, и с гулом, с грохотом катятся среди толпы тяжелые конки; по целым дням сижу я за работой, гляжу в окно, на мокрые вывески и серое небо, и все деревенское далеко от меня. Но по вечерам я читаю старых поэтов, родных мне по быту, по душе и даже по местности, — средней полосе России. А ящики моего письменного стола полны антоновскими яблоками, и здоровый аромат их — запах меда и осенней свежести — переносит меня в помещичьи усадьбы, в тот мир, который скудел, дробился, а теперь уже гибнет, о котором через пятьдесят лет будут знать только по нашим рассказам…

Вспоминается мне ранняя погожая осень. Август был с теплыми дождиками, как будто нарочно выпадавшими для сева, — с дождиками в самую пору, в средине месяца, около праздника св. Лаврентия. А «осень и зима хороши живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик». Потом

бабьим летом паутины много село на поля. Это тоже добрый знак: «Много тенетника на бабье лето — осень ядреная»… Помню раннее, свежее, тихое утро… Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и — запах яблок. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип телег. Это тархане, мещане-садовники, наняли мужиков и насыпают яблоки, чтобы в ночь отправлять их в город, — непременно в ночь, когда так славно лежать на возу, смотреть в звездное небо, чувствовать запах дегтя в свежем воздухе и слушать, как осторожно поскрипывает в темноте длинный обоз по большой дороге. Мужик, насыпающий яблоки, ест их с сочным треском одно за одним, но уж таково заведение — никогда мещанин не оборвет его, а еще скажет:

— Вали, ешь досыта, — делать нечего! На сливанье все мед пьют.

И прохладную тишину утра нарушает только сытое квохтанье дроздов на коралловых рябинах в чаще сада, голоса да гулкий стук ссыпаемых в меры и кадушки яблок. В поредевшем саду далеко видна дорога к большому шалашу, усыпанная соломой, и самый шалаш, около которого мещане

обзавелись за лето целым хозяйством. Всюду сильно пахнет яблоками, тут — особенно. В шалаше устроены постели, стоит одноствольное ружье, позеленевший самовар, в уголке — посуда. Около шалаша валяются рогожи, ящики, всякие истрепанные пожитки, вырыта земляная печка. В полдень на ней варится великолепный кулеш с салом, вечером греется самовар, и по саду, между деревьями, расстилается длинной полосой голубоватый дым. В праздничные же дни около шалаша — целая ярмарка, и за деревьями поминутно мелькают красные уборы. Толпятся бойкие девки-однодворки в сарафанах, сильно пахнущих краской, приходят «барские» в своих красивых и грубых, дикарских костюмах, молодая старостиха, беременная, с широким сонным лицом и важная, как холмогорская корова. На голове ее «рога», — косы положены по бокам макушки и покрыты несколькими платками, так что голова кажется огромной; ноги, в полусапожках с подковками, стоят тупо и крепко; безрукавка — плисовая, занавеска длинная, а панева — черно-лиловая с полосами кирпичного цвета и обложенная на подоле широким золотым «прозументом»...

— Хозяйственная бабочка! — говорит о ней

мещанин, покачивая головою. — Переводятся теперь такие…

А мальчишки в белых замашных рубашках и коротеньких порточках, с белыми раскрытыми головами, все подходят. Идут по двое, по трое, мелко перебирая босыми ножками, и косятся на лохматую овчарку, привязанную к яблоне. Покупает, конечно, один, ибо и покупки-то всего на копейку или на яйцо, но покупателей много, торговля идет бойко, и худой чахоточный мещанин в длинном сюртуке и рыжих сапогах — весел. Вместе с братом, картавым, шустрым полуидиотом, который живет у него «из милости», он торгует с шуточками, прибаутками и даже иногда «тронет» на тульской гармонике. И до вечера в саду толпится народ, слышится около шалаша смех и говор, а иногда и топот пляски…

К ночи в погоду становится очень холодно и росисто. Надышавшись на гумне ржаным ароматом новой соломы и мякины, бодро идешь домой к ужину мимо садового вала. Голоса на деревне или скрип ворот раздаются по студеной заре необыкновенно ясно. Темнеет. И вот еще запах: в саду — костер, и крепко тянет душистым дымом вишневых сучьев. В темноте, в глубине сада — сказочная картина: точно в уголке ада,

пылает около шалаша багровое пламя, окруженное мраком, и чьи-то черные, точно вырезанные из черного дерева силуэты двигаются вокруг костра, меж тем как гигантские тени от них ходят по яблоням. То по всему дереву ляжет черная рука в несколько аршин, то четко нарисуются две ноги — два черных столба. И вдруг все это скользнет с яблони — и тень упадет по всей аллее, от шалаша до самой калитки…

Поздней ночью, когда на деревне погаснут огни, когда в небе уже высоко блещет бриллиантовое семизвездие Стожар, еще раз пробежишь в сад. Шурша по сухой листве, как слепой, доберешься до шалаша. Там на полянке немного светлее, а над головой белеет Млечный Путь.

— Это вы, барчук? — тихо окликает кто-то из темноты.

— Я. А вы не спите еще, Николай?

— Нам нельзя-с спать. А, должно, уж поздно? Вон, кажись, пассажирный поезд идет…

Долго прислушиваемся и различаем дрожь в земле. Дрожь переходит в шум, растет, и вот, как будто уже за самым садом, ускоренно выбивают шумный такт колеса: громыхая и стуча, несется поезд… ближе, ближе, все громче и сердитее… И вдруг начинает стихать, глохнуть, точно

уходя в землю…

— А где у вас ружье, Николай?

— А вот возле ящика-с.

Вскинешь кверху тяжелую, как лом, одностволку и с маху выстрелишь. Багровое пламя с оглушительным треском блеснет к небу, ослепит на миг и погасит звезды, а бодрое эхо кольцом грянет и раскатится по горизонту, далеко-далеко замирая в чистом и чутком воздухе.

— Ух, здорово! — скажет мещанин. — Потращайте, потращайте, барчук, а то просто беда! Опять всю дулю на валу отрясли…

А черное небо чертят огнистыми полосками падающие звезды. Долго глядишь в его темно-синюю глубину, переполненную созвездиями, пока не поплывет земля под ногами. Тогда встрепенешься и, пряча руки в рукава, быстро побежишь по аллее к дому… Как холодно, росисто и как хорошо жить на свете!

II

«Ядреная антоновка — к веселому году». Деревенские дела хороши, если антоновка уродилась: значит, и хлеб уродился… Вспоминается мне урожайный год. На ранней заре, когда еще кричат петухи и по-черному дымятся избы,

распахнешь, бывало, окно в прохладный сад, наполненный лиловатым туманом, сквозь который ярко блестит кое-где утреннее солнце, и не утерпишь — велишь поскорее заседлывать лошадь, а сам побежишь умываться на пруд. Мелкая листва почти вся облетела с прибрежных лозин, и сучья сквозят на бирюзовом небе. Вода под лозинами стала прозрачная, ледяная и как будто тяжелая. Она мгновенно прогоняет ночную лень, и, умывшись и позавтракав в людской с работниками горячими картошками и черным хлебом с крупной сырой солью, с наслаждением чувствуешь под собой скользкую кожу седла, проезжая по Выселкам на охоту. Осень — пора престольных праздников, и народ в это время прибран, доволен, вид деревни совсем не тот, что в другую пору. Если же год урожайный, и на гумнах возвышается целый золотой город, а на реке звонко и резко гогочут по утрам гуси, так в деревне и совсем не плохо. К тому же наши Выселки спокон веку, еще со времен дедушки, славились «богатством». Старики и старухи жили в Выселках очень подолгу, — первый признак богатой деревни, — и были все высокие, большие и белые, как лунь. Только и слышишь, бывало: «Да, вот Агафья восемьдесят три годочка отмаха-

ла!» — или разговоры в таком роде:

— И когда это ты умрешь, Панкрат? Небось тебе лет сто будет?

— Как изволите говорить, батюшка?

— Сколько тебе годов, спрашиваю!

— А не знаю-с, батюшка.

— Да Платона Аполлоныча-то помнишь?

— Как же-с, батюшка, — явственно помню.

— Ну, вот видишь. Тебе, значит, никак не меньше ста.

Старик, который стоит перед барином вытянувшись, кротко и виновато улыбается. Что ж, мол, делать, — виноват, зажился. И он, вероятно, еще более зажился бы, если бы не объелся в Петровки луку.

Помню я и старуху его. Все, бывало, сидит на скамеечке, на крыльце, согнувшись, тряся головой, задыхаясь и держась за скамейку руками, — все о чем-то думает. «О добре своем, небось», — говорили бабы, потому что «добра» у нее в сундуках было, правда, много. А она будто и не слышит; подслеповато смотрит куда-то вдаль из-под грустно приподнятых бровей, трясет головой и точно силится вспомнить что-то. Большая была старуха, вся какая-то темная. Панева — чуть не прошлого столетия, чуньки —

покойницкие, шея — желтая и высохшая, рубаха с канифасовыми косяками всегда белая-белая, — «совсем хоть в гроб клади». А около крыльца большой камень лежал: сама купила себе в селе на могилку, так же, как и саван, — отличный саван, с ангелами, с крестами и с молитвой, напечатанной по краям.

Под стать старикам были и дворы в Выселках: кирпичные, строенные еще дедами. А у богатых мужиков — у Савелия, у Игната, у Дрона — избы были в две-три связи, потому что делиться в Выселках еще не было моды. В таких семьях водили пчел, гордились жеребцом-битюгом сивожелезного цвета и держали усадьбы в порядке. На гумнах темнели густые и тучные конопляники, стояли овины и риги, крытые вприческу; в пуньках и амбарчиках были железные двери, за которыми хранились холсты, прялки, новые полушубки, наборная сбруя, меры, окованные медными обручами. На воротах и на санках были выжжены кресты. И помню, мне порою казалось на редкость заманчивым быть мужиком. Когда, бывало, едешь солнечным утром по деревне, все думаешь о том, как хорошо косить, молотить, спать на гумне в ометах, а в праздник встать вместе с солнцем, под густой и музыкальный

благовест из села, умыться около бочки и надеть чистую замашную рубаху, такие же портки и несокрушимые сапоги с подковками. Если же, думалось, к этому прибавить здоровую и красивую жену в праздничном уборе да поездку к обедне, а потом обед у бородатого тестя, обед с горячей бараниной на деревянных тарелках и с ситниками, с сотовым медом и брагой, — так большего и желать невозможно!

Склад мелкопоместной дворянской жизни, который теперь стал сбиваться уже на мещанский, в прежние года, да еще и на моей памяти, — очень недавно, — имел много общего со складом богатой мужицкой жизни по своей домовитости и сельскому, старосветскому благополучию. Такова, например, была усадьба тетки Анны Герасимовны Кологривовой, жившей от Выселок верстах в двенадцати. Пока, бывало, доедешь до этой усадьбы, уже совсем ободняется. С собаками на сворах ехать приходится шагом, да и спешить не хочется, — так весело в открытом поле в солнечный и прохладный день! Местность — ровная, видно далеко. Небо — легкое и такое просторное и глубокое. Солнце сверкает сбоку, и дорога, укатанная после дождей телегами, замаслилась и блестит, как рельсы. Вокруг

раскидываются широкими косяками свежие, пышно-зеленые озими. Взовьется откуда-нибудь ястребок в прозрачном воздухе и замрет на одном месте, трепеща острыми крылышками. А в ясную даль убегают четко видные телеграфные столбы, и проволоки их, как серебряные струны, скользят по склону ясного неба. На них сидят кобчики, — совсем черные значки на нотной бумаге.

Крепостного права я не знал и не видел, но, помню, у тетки Анны Герасимовны чувствовал его. Въедешь во двор и сразу ощутишь, что тут оно еще вполне живо. Усадьба — небольшая, но вся старая, прочная, окруженная столетними березами и лозинами. Надворных построек — невысоких, но домовитых — множество, и все они точно слиты из темных дубовых бревен под соломенными крышами. Выделяется величиной или, лучше сказать, длиной только почерневшая людская, из которой выглядывают последние могикане дворового сословия — какие-то ветхие старики и старухи, дряхлый повар в отставке, похожий на Дон-Кихота. Все они, когда въезжаешь во двор, подтягиваются и низко-низко кланяются. Седой кучер, направляющийся от каретного сарая взять лошадь, еще у сарая сни-

мает шапку и по всему двору идет с обнаженной головой. Он у тетки ездил форейтором, а теперь возит ее к обедне, — зимой в возке, а летом в крепкой, окованной железом тележке, вроде тех, на которых ездят попы. Сад у тетки славился своею запущенностью, соловьями, горлинками и яблоками, а дом — крышей. Стоял он во главе двора, у самого сада, — ветви лип обнимали его, — был невелик и приземист, но казалось, что ему и веку не будет, — так основательно глядел он из-под своей необыкновенно высокой и толстой соломенной крыши, почерневшей и затвердевшей от времени. Мне его передний фасад представлялся всегда живым: точно старое лицо глядит из-под огромной шапки впадинами глаз, — окнами с перламутровыми от дождей и солнца стеклами. А по бокам этих глаз были крыльца, — два старых, больших крыльца с колоннами. На фронтоне их всегда сидели сытые голуби, между тем как тысячи воробьев дождем пересыпались с крыши на крышу… И уютно чувствовал себя гость в этом гнезде под бирюзовым осенним небом!

Войдешь в дом и прежде всего услышишь запах яблок, а потом уже другие: старой мебели красного дерева, сушеного липового цвета, который

с июня лежит на окнах… Во всех комнатах — в лакейской, в зале, в гостиной — прохладно и сумрачно: это оттого, что дом окружен садом, а верхние стекла окон цветные: синие и лиловые. Всюду — тишина и чистота, хотя, кажется, кресла, столы с инкрустациями и зеркала в узеньких и витых золотых рамах никогда не трогались с места. И вот слышится покашливанье: выходит тетка. Она небольшая, но тоже, как и все кругом, прочная. На плечах у нее накинута большая персидская шаль. Выйдет она важно, но приветливо, и сейчас же, под бесконечные разговоры про старину, про наследства, начинают появляться угощения: сперва «дули», яблоки, — антоновские, «бель-барыня», боровинка, «плодовитка», — а потом удивительный обед: вся насквозь розовая вареная ветчина с горошком, щи, фаршированная курица, индюшка, маринады и красный квас, — крепкий и сладкий-пресладкий… Окна в сад подняты, и оттуда веет бодрой осенней прохладой…

III

За последние годы одно поддерживало угасающий дух помещиков — охота.

Лет двадцать тому назад такие усадьбы,

как усадьба Анны Герасимовны, были еще не редкость. Были и разрушающиеся, но все еще жившие на широкую ногу усадьбы с огромным поместьем, с садом в двадцать десятин. Правда, сохранились некоторые из таких усадеб еще и до сего времени, но в них уже нет жизни… Нет троек, нет верховых «киргизов», нет гончих и борзых собак, нет дворни и нет самого обладателя всего этого — помещика-охотника, вроде моего покойного шурина Арсения Семеныча Климентьева.

К тетке я ездил до самой глубокой осени, до поры, когда прекращалась охота с борзыми. Но мои поездки имели всегда главной целью усадьбу Арсения Семеныча. Старое гнездо Анны Герасимовны было только перепутьем.

С конца сентября сады и гумна пустели. Погода, по обыкновению, круто изменялась и делала меня на время затворником. Ветер по целым дням рвал и трепал деревья, дожди поливали их с утра до ночи. Иногда к вечеру между хмурыми низкими тучами пробивался на западе трепещущий золотистый свет низкого солнца; воздух делался чист и ясен, а солнечный свет ослепительно сверкал между листвою, между ветвями, которые живою сеткою двигались и волновались от ветра. Но зато становилось еще холоднее

не только на дворе, но, казалось, даже и в доме с еще летними рамами и с раскрытым балконом. Холодно и ярко сияло на севере над тяжелыми свинцовыми тучами жидкое голубое небо, а из-за этих туч медленно выплывали хребты снеговых гор-облаков. Стоишь у окна и думаешь: «Авось, Бог даст, распогодится». Но ветер не унимался. Он волновал сад, рвал непрерывно бегущую из трубы людской струю дыма и снова нагонял зловещие космы пепельных облаков. Они бежали низко и быстро — и скоро, точно дым, затуманивали солнце. Погасал его блеск, закрывалось окошечко в голубое небо, а в саду становилось пустынно и скучно, и снова начинал сеять дождь… сперва тихо, осторожно, потом все гуще и наконец превращался в ливень с бурей и темнотою. Наступала долгая, тревожная ночь…

Из такой трепки сад выходил почти совсем обнаженным, поломанным, засыпанным мокрыми листьями и каким-то притихшим, смирившимся. Но зато как красив он был, когда снова наступала ясная погода, прозрачные и холодные дни начала октября, прощальный праздник осени! Сохранившаяся листва теперь будет висеть на деревьях уже до первых зазимков. Черный сад будет сквозить на холодном бирюзовом небе и покорно

ждать зимы, пригреваясь после полудня в солнечном блеске. А поля уже резко чернеют пашнями и ярко зеленеют запустившимися озимями… Пора на охоту!

И вот я вижу себя в усадьбе Арсения Семеныча, в большом доме, в зале, полной солнца и дыма от трубок и папирос. Народу много — все люди загорелые, с обветренными лицами, в поддевках и длинных сапогах. Только что очень сытно пообедали, раскраснелись и возбуждены шумными разговорами о предстоящей охоте, но не забывают допивать водку и после обеда. А на дворе трубит рог и завывают на разные голоса собаки. Черный борзой, любимец Арсения Семеныча, пользуясь суматохой, взлезает среди гостей на стол и начинает пожирать с блюда остатки зайца под соусом. Но вдруг он испускает страшный визг и, опрокидывая тарелки и рюмки, срывается со стола: Арсений Семеныч, вышедший из кабинета с арапником и револьвером, внезапно оглушает залу выстрелом. Зала еще более наполняется дымом, а Арсений Семеныч стоит и смеется.

— Жалко, что промахнулся! — говорит он, играя глазами.

Он высок ростом, худощав, но широкоплеч

и строен, а лицом — красавец-цыган. Глаза у него блестят дико, он очень ловок, в шелковой малиновой рубахе, в бархатных шароварах и длинных сапогах. Напугав и собаку, и гостей выстрелом, он декламирует баритоном:

Пора, пора седлать проворного донца
И звонкий рог за плечи перекинуть! –

и громко говорит:

— Ну, однако, нечего терять золотое время!

Я сейчас еще чувствую, как жадно и емко дышала молодая грудь холодом ясного и сырого дня под вечер, когда, бывало, едешь с шумной ватагой Арсения Семеныча, возбужденный музыкальным гамом собак, брошенных в чернолесье, в какой-нибудь Красный Бугор или Гремячий Остров, уже одним своим названием волнующий охотника. Едешь на злом, сильном и приземистом «киргизе», крепко сдерживая его поводьями, и чувствуешь себя слитым с ним почти воедино. Он фыркает, просится на рысь, шумно шуршит копытами по глубоким и легким коврам черной осыпавшейся листвы, и каждый звук гулко раздается в пустом, сыром и свежем лесу. Тявкнула где-то вдалеке собака, ей страстно и жалобно ответила другая, третья — и вдруг весь лес за-

гремел, точно он весь стеклянный, от бурного лая и крика. Крепко грянул среди этого гама выстрел — и все «заварилось» и покатилось куда-то вдаль.

— Береги-и! — завопил кто-то отчаянным голосом на весь лес.

«А, береги!» — мелькнет в голове опьяняющая мысль. Гикнешь на лошадь и, как сорвавшийся с цепи, помчишься по лесу, уже ничего не разбирая по пути. Только деревья мелькают перед глазами, да лепит в лицо грязью из-под копыт лошади. Выскочишь из лесу, увидишь на зеленях пеструю, растянувшуюся по земле стаю собак и еще сильнее наддашь «киргиза» наперерез зверю, — по зеленям, взметам и жнивьям, пока наконец не перевалишься в другой остров и не скроется из глаз стая вместе со своим бешеным лаем и стоном. Тогда, весь мокрый и дрожащий от напряжения, осадишь вспененную, хрипящую лошадь и жадно глотаешь ледяную сырость лесной долины. Вдали замирают крики охотников и лай собак, а вокруг тебя — мертвая тишина. Полураскрытый строевой лес стоит неподвижно, и кажется, что ты попал в какие-то заповедные чертоги, в бесконечные анфилады сказочных покоев и колонн. Крепко пахнет от оврагов грибной

сыростью, перегнившими листьями и мокрой древесной корою. И сырость из оврагов становится все ощутительнее, в лесу холоднеет и темнеет, становится жутко… Пора на ночевку. Но собрать собак после охоты трудно. Долго и безнадежно-тоскливо звенят рога в лесу, долго слышатся крик, брань и визг собак… Наконец, уже совсем в темноте, вваливается ватага охотников в усадьбу какого-нибудь почти незнакомого холостяка-помещика и наполняет шумом весь двор усадьбы, которая озаряется фонарями, свечами и лампами, вынесенными навстречу гостям из дому…

Случалось, что у такого гостеприимного соседа охота жила по нескольку дней. На ранней утренней заре, по ледяному ветру и первому мокрому зазимку, уезжали в леса и в поле, а к сумеркам опять возвращались, все в грязи, с раскрасневшимися лицами, пропахнув лошадиным потом, шерстью затравленного зверя, — и начиналась попойка. В светлом и людном доме очень тепло после целого дня на холоде в поле. Все ходят из комнаты в комнату в расстегнутых поддевках, беспорядочно пьют и едят, шумно передавая друг другу свои впечатления над убитым матерым волком, который, оскалив зубы, закатив глаза, лежит с откинутым на сторону пушистым хво-

стом среди залы и окрашивает своей бледной и уже холодной кровью пол. После водки и еды чувствуешь такую сладкую усталость, такую негу молодого сна, что как через воду слышишь говор. Обветренное лицо горит, а закроешь глаза — вся земля так и поплывет под ногами. А когда ляжешь в постель, в мягкую перину, где-нибудь в угловой старинной комнате с образничкой и лампадой, замелькают перед глазами призраки огнисто-пестрых собак, во всем теле заноет ощущение скачки, и не заметишь, как потонешь вместе со всеми этими образами и ощущениями в сладком и здоровом сне, забыв даже, что эта комната была когда-то молельной старика, имя которого окружено мрачными крепостными легендами, и что он умер в этой молельной, вероятно, на этой же кровати.

Когда случалось проспать охоту, отдых был особенно приятен. Проснешься и долго лежишь в постели. Во всем доме — тишина. Слышно, как осторожно ходит по комнатам садовник, растапливая печи, и как дрова трещат и стреляют. Впереди — целый день покоя в безмолвной уже по-зимнему усадьбе. Не спеша оденешься, побродишь по саду, найдешь в мокрой листве случайно забытое холодное и мокрое яблоко,

и почему-то оно покажется необыкновенно вкусным, совсем не таким, как другие. Потом примешься за книги — дедовские книги в толстых кожаных переплетах, с сафьяном и золотыми звездочками на корешках. Славно пахнут эти, похожие на церковные требники книги своей пожелтевшей, толстой и шершавой бумагой! Какой-то приятной кисловатой плесенью, старинными духами… Хороши и заметки на их полях, крупно и с круглыми мягкими росчерками сделанные гусиным пером. Развернешь книгу и читаешь: «Мысль, достойная древних и новых философов, цвет разума и чувства сердечного». И невольно увлечешься и самой книгой. Это — «Дворянин-философ», аллегория, изданная лет сто тому назад иждивением какого-то «кавалера многих орденов» и напечатанная в типографии приказа общественного призрения, — рассказ о том, как «дворянин-философ, имея время и способность рассуждать, к чему разум человека возноситься может, получил некогда желание сочинить план света на пространном месте своего селения». Потом наткнешься на «сатирические и философские сочинения господина Вольтера» и долго упиваешься милым и манерным слогом перевода: «Государи мои! Эразм сочинил

в шестом-надесять столетии похвалу дурачеству (манерная пауза, — точка с запятою); вы же приказываете мне превознесть пред вами разум…» Потом от екатерининской старины перейдешь к романтическим временам, к альманахам, к сантиментально-напыщенным и длинным романам… Кукушка выскакивает из часов и насмешливо-грустно кукует над тобою в пустом доме. И понемногу в сердце начинает закрадываться сладкая и странная тоска…

Вот «Тайны Алексиса», вот «Виктор, или дитя в лесу». «Бьет полночь! — читаешь с улыбкой. — Священная тишина заступает место дневного шума и веселых песен поселян. Сон простирает мрачные крылья свои над поверхностью нашего полушария; он стрясает с них мрак и мечты… Мечты!.. Как часто продолжают они токмо страдания злощастного!..» И замелькают перед глазами любимые старинные слова: скалы и дубравы, бледная луна и одиночество, привидения и призраки, «ероты», розы и лилии, «проказы и резвости младых шалунов», лилейная рука, Людмилы и Алины… А вот журналы с именами Жуковского, Батюшкова, лицеиста Пушкина. И с грустью вспомнишь бабушку, ее полонезы на клавикордах, ее томное чтение стихов из «Евгения

Онегина». И старинная, мечтательная жизнь встанет перед тобою… Хорошие девушки и женщины жили когда-то в дворянских усадьбах! Их портреты глядят на меня со стены, аристократически-красивые головки в старинных прическах кротко и женственно опускают свои длинные ресницы на печальные и нежные глаза…

IV

Запах антоновских яблок исчезает из помещичьих усадеб. Эти дни были так недавно, а меж тем мне кажется, что с тех пор прошло чуть не целое столетие. Перемерли старики в Выселках, умерла Анна Герасимовна, застрелился Арсений Семеныч… И вот я уже пишу им эпитафии.

Я надолго покинул родные «Палестины», как любят говорить у нас, а когда недавно заглянул в них, невесело встретили меня они. Старые книги, старые портреты, разрозненные и никому ненужные, затерялись по городам, по мещанским хуторкам, по ястребиным гнездам новых помещиков, — гнездам, на которые раздробились прежние поместья. На весь наш уезд приходится теперь три-четыре состоятельных дворянина, но и они живут в деревне уже новою жизнью, — чаще всего только летом. Наступает царство

мелкопоместных, обедневших до нищенства, и чахнущих серых деревушек. Идет ноябрь, глухая пора деревенской жизни.

Скверное было утро, когда я покинул поезд на нашем полустанке, затерянном среди полей. И поля после долгой городской жизни показались мне мучительно убогими и скучными, когда мужик под дождем потащил меня на телеге к старой нашей усадьбе… Деревушки над лощинами кажутся издали кучами навоза. В лесу, — голом, мокром и черном, — синеватый туман и шумит сырой ветер, а на проселочной дороге — пустынно, как в киргизской степи. Навстречу попалась свадьба, — три телеги с бабами, покрывшимися от дождя армяками и подолами верхних юбок. Бабы кричат пьяными голосами песни, стараясь возбудить в себе удальство и веселость. Одна стоит среди телеги, машет платком, с криками погоняет веревочными вожжами лошадь, но лошадь неловко тычет ногами, колокольчики звенят вразбивку, телега не в лад стучит по дороге, удалая песня выходит фальшивой… Слава Богу, показываются более подходящие к этому серому дню фигуры. Едет кабатчик, возвращаясь из города с винными ящиками, в которых тяжело бултыхается в штофах зеленая влага, прокатил

на дрожках, весь закиданный грязью из-под колес, урядник, а за ним в тележке поп, рослый, рыжий, в большой шапке и в тулупе с поднятым воротником, который повязан полотенцем, свернутым в жгут на груди и завязанным на спине в узел… А вот из-за бугра, сбегающего к лощине, показываются и деревья нашего сада…

Однако первым впечатлениям не следует доверять. Проходит два-три дня, погода меняется, становится свежей, и усадьба и деревня начинают казаться иными. Начинаешь улавливать связь между прежней жизнью и теперешней, и то, что вспомнилось мне при запахе антоновских яблок, — здоровье, простота и домовитость деревенской жизни, — снова проступает и в новых впечатлениях. Прошло почти пятнадцать лет, многое изменилось кругом, но я опять чувствую себя дома почти так же, как пятнадцать лет тому назад: по-юношески грустно, по-юношески бодро. И мне хорошо среди этой сиротеющей и смиряющейся деревенской жизни.

Дни стоят синеватые, пасмурные. Утром я сажусь в седло и с одной собакой, с ружьем и с рогом уезжаю в поле. Ветер звонит и гудит в дуло ружья, ветер крепко дует навстречу, иногда с сухим снегом. Целый день я скитаюсь по пустым

равнинам… Голодный и прозябший, возвращаюсь я к сумеркам в усадьбу, и на душе становится так тепло и отрадно, когда замелькают огоньки Выселок и потянет из усадьбы запахом дыма, жилья. Помню, у нас в доме любили в эту пору «сумерничать», не зажигать огня и вести в полутемноте беседы. Войдя в дом, я нахожу зимние рамы уже вставленными, и это еще более настраивает меня на мирный зимний лад. В лакейской работник топит печку, и я, как в детстве, сажусь на корточки около вороха соломы, резко пахнущей уже зимней свежестью, и гляжу то в пылающую печку, то на окна, за которыми, синея, грустно умирают сумерки. Потом иду в людскую. Там светло и людно: девки рубят капусту, мелькают сечки, я слушаю их дробный, дружный стук и дружные, печально-веселые деревенские песни… Иногда вечером заедет какой-нибудь мелкопоместный сосед и надолго увезет меня к себе… Хороша и мелкопоместная жизнь!

Хуторянин любит осень, любит длинные вечера, долгую темную ночь в теплом и уютном кабинете. Встает он рано. Крепко потянувшись на лежанке, отчего со стуком падает на пол кирпич с ее угла («Давно, давно пора вмазать

этот кирпич, — да все не соберешься!»), он идет к столу и, подымая брови и хмурясь, крутит толстую папиросу из дешевого, черного табаку или просто из махорки. Бледный свет раннего ноябрьского утра озаряет простой, с голыми стенами кабинет, желтые и заскорузлые шкурки лисиц над кроватью и коренастую фигуру в шароварах и распоясанной косоворотке, а в зеркале отражается заспанное лицо татарского склада. В полутемном, теплом домике мертвая тишина. За дверью в коридоре похрапывает старая кухарка, жившая в господском доме еще девчонкою. Это, однако, не мешает барину хрипло крикнуть на весь дом:

— Лукерья! Самовар!

Потом, надев сапоги, накинув на плечи поддевку и не застегивая ворота рубахи, барин выходит на крыльцо. В запертых сенях пахнет псиной; лениво потягиваясь, с визгом зевая и улыбаясь, окружают его гончие.

— Отрыж! — медленно, снисходительным басом говорит барин и через сад идет на гумно. Грудь его широко дышит резким воздухом зари и запахом озябшего за ночь, обнаженного сада. Свернувшиеся и почерневшие от мороза листья шуршат под сапогами в березовой аллее,

вырубленной уже наполовину. Вырисовываясь на низком сумрачном небе, спят нахохленные галки на гребне риги… Славный будет день для охоты! И, остановившись среди аллеи, барин долго глядит в осеннее поле, на пустынные зеленые озими, по которым вдалеке бродят телята. Две гончие суки повизгивают около его ног, а Заливай уже за садом: перепрыгивая по колким жнивьям, он как будто зовет и просится в поле. Но что сделаешь теперь с гончими? Зверь теперь в поле, на взметах, на чернотропе, а в лесу он боится, потому что в лесу ветер шуршит листвою… Эх, кабы борзые!

В риге начинается молотьба. Медленно расходясь, гудит барабан молотилки. Лениво натягивая постромки, упираясь ногами по навозному кругу и качаясь, идут лошади в приводе. Посреди привода, вращаясь на скамеечке, сидит погонщик и однотонно покрикивает на них, всегда хлестая кнутом только одного бурого мерина, который ленивее всех и совсем спит на ходу, благо глаза у него завязаны.

— Ну, ну, девки, девки! — строго кричит степенный подавальщик, облачаясь в широкую холщевую рубаху.

Девки торопливо разметают ток, бегают с но-

силками, метлами.

— С Богом! — говорит подавальщик, и первый пук старновки, пущенный на пробу, с жужжаньем и визгом пролетает в барабан и растрепанным веером возносится из-под него кверху. А барабан гудит все настойчивее, работа закипает, и скоро все звуки сливаются в общий приятный шум молотьбы. Барин стоит у ворот риги и смотрит, как в ее темноте мелькают красные и желтые платки, руки, грабли, солома, и все это мерно двигается и суетится под гул барабана и однообразный крик и свист погонщика. Хоботье облаками летит к воротам. Барин стоит, весь посеревший от него. Часто он поглядывает в поле… Скоро-скоро забелеют поля, скоро покроет их зазимок…

Зазимок, первый снег! Борзых нет, охотиться в ноябре не с чем; но наступает зима, начинается «работа» с гончими. И вот опять, как в прежние времена, съезжаются мелкопоместные друг к другу, пьют на последние деньги, по целым дням пропадают в снежных полях. А вечером на каком-нибудь глухом хуторе далеко светятся в темноте зимней ночи окна флигеля. Там, в этом маленьком флигеле, плавают клубы дыма, тускло горят сальные свечи, настраивается гитара…

На сумерки буен ветер загулял,

Широки мои ворота растворял –

начинает кто-нибудь грудным тенором. И прочие нескладно, прикидываясь, что они шутят, подхватывают с грустной, безнадежной удалью:

Широки мои ворота растворял,

Белым снегом путь-дорогу заметал…

1900

На даче

I

Окна в сад были открыты всю ночь. А деревья раскидывались густой листвой возле самых окон, и на заре, когда в саду стало светло, птицы так чисто и звонко щебетали в кустах, что отдавалось в комнатах. Но еще воздух и молодая майская зелень в росе были холодны и матовы, спальни дышали сном, теплом и покоем.

Дом не походил на дачный; это был обыкновенный деревенский дом, небольшой, но удобный и покойный. Петр Алексеевич Примо, архитектор, занимал его уже пятое лето. Сам он больше бывал в разъездах или в городе. На даче жила его жена, Наталья Борисовна, и младший сын, Гриша. Старший, Игнатий, только что кончивший курс в университете, так же, как и отец, появлялся на даче гостем: он уже служил.

В четыре часа в столовую вошла горничная. Сладко зевая, она переставляла мебель и шаркала половой щеткой. Потом она прошла через гостиную в комнату Гриши и поставила у кровати большие штиблеты на широкой подошве

без каблука.

Гриша открыл глаза.

— Гарпина! — сказал он баритоном.

Гарпина остановилась в дверях.

— Чого? — спросила она шепотом.

— Поди сюда.

Гарпина покачала головой и вышла.

— Гарпина! — повторил Гриша.

— Та чого вам?

— Поди сюда… на минутку.

— Не піду, хоч заріжте!

Гриша подумал и крепко потянулся.

— Ну, пошла вон!

— Бариня загадали вчора спитать вас, чи поїдете у город?

— А дальше?

— Казали, щоб не їздили, бо барин сьогодні прыїдуть.

Гриша, не отвечая, обувался.

— Повотенце? — спросил он громко.

— Та на столі — он! Не збудіть бариню…

Заспанный, свежий и здоровый, в сером шелковом картузе, в широком костюме из легкой материи, Гриша вышел в гостиную, перекинул через плечо мохнатое полотенце, захватив стоявший в углу крокетный молоток, и, пройдя

переднюю, отворил дверь на улицу, на пыльную дорогу.

Дачи в садах тянулись направо и налево в одну линию. С горы открывался обширный вид на восток, на живописную низменность. Теперь все сверкало чистыми, яркими красками раннего утра. Синеватые леса темнели по долине; светлой, местами алой сталью блестела река в камышах и высокой луговой зелени; кое-где с зеркальной воды снимались и таяли полосы серебряного пара. А вдали широко и ясно разливался по небу оранжевый свет зари: солнце приближалось…

Легко и сильно шагая, Гриша спустился с горы и дошел по мокрой, глянцевитой и резко пахнущей сыростью траве до купальни. Там, в дощатом номере, странно озаренном матовым отсветом воды, он разделся и долго разглядывал свое стройное тело и гордо ставил свою красивую голову, чтобы походить на статуи римских юношей. Потом, слегка прищуривая серые глаза и посвистывая, вошел в свежую воду, выплыл из купальни и сильно взмахнул руками, увидав, что на горизонте чуть-чуть показавшееся солнце задрожало тонкой огнистой полоской. Белые гуси с металлически-звонкими криками, распустив

крылья и шумно бороздя воду, тяжело шарахнулись в тростники. Широкие круги, плавно перекатываясь, закачались и пошли к реке…

— Григорий Петрович! — крикнул чей-то голос с берега.

Гриша перевернулся и увидал на берегу высокого мужика с русой бородою, с открытым лицом и ясным взглядом больших голубых глаз навыкате. Это был Каменский, «толстовец», как его называли на дачах.

— Вы придете сегодня? — крикнул Каменский, снимая картуз и вытирая лоб рукавом замашной рубахи.

— Здравствуйте!.. Приду, — отозвался Гриша. — А вы куда, если не секрет?

Каменский с улыбкой взглянул исподлобья.

— Ведь вот люди! — сказал он важно и ласково. — Всё у них секреты!

Гриша подплыл к берегу и, стоя и качаясь по горло в воде, пробормотал:

— Ну, если хотите, не секрет… Я просто полюбопытствовал, почему вы меня спросили?

— А мне нужно побывать у знакомых.

— Да, так вы в город едете!

— Разве в город только ездят? — снова перебил Каменский. — И разве знакомые бывают только

в городе?

— Конечно, нет. Только я не понимаю…

— Вот это верно. Я сказал, что буду и в городе, и у знакомых — вот тут недалеко — на огородах.

— Так, значит, попоздней прийти?

— Да, попоздней.

— Тогда до свидания! — крикнул Гриша и подумал: «Правду говорит Игнатий — психопаты!» Но, отплывши, он опять обернулся и пристально посмотрел на высокую фигуру в мужицкой одежде, уходившую по тропинке вдоль реки.

На реке еще было прохладно и тихо. За лугами, в синеющей роще, куковала кукушка. У берега зашуршали камыши, и из них медленно выплыла лодка. Седенький старичок в очках и поломанной соломенной шляпе сидел в ней, рассматривая удочку. Он поднял ее и соображал что-то, лодка остановилась и вместе с ним, с его белой рубашкой и шляпой, отразилась в воде. А из купальни слышались крики, плеск и хохот. По гнущимся доскам бежали с берега, стуча сапогами, гимназисты, студенты в белых кителях, чиновники в парусинных рубашках…

Грише не хотелось возвращаться туда, и он стал нырять, раскрывать глаза в темно-зеленой воде, и его тело казалось ему чужим и странным,

словно он глядел сквозь стекло. Караси и гольцы с удивленными глазками останавливались против него и вдруг таинственно юркали куда-то в темную и холодную глубину. Вода мягко, упруго сжимала и качала тело, и приятно было чувствовать под ногами жесткий песок и раковины… А наверху уже припекало. Теплая, неподвижная вода блестела кругом, как зеркало. С зеленых прибрежных лозин в серых сережках тихо плыл белый пух и тянуло запахом тины и рыбы.

II

Ровно час после купанья Гриша посвятил гимнастике. Сперва он подтягивался по канату и висел на трапеции в саду, потом в своей комнате становился в львиные позы, играя двухпудовыми гирями.

Со двора звонко и весело раздавалось кудахтанье кур. В доме еще стояла тишина светлого летнего утра. Гостиная соединялась со столовой аркой, а к столовой примыкала еще небольшая комната, вся наполненная пальмами и олеандрами в кадках и ярко озаренная янтарным солнечным светом. Канарейка возилась там в покачивающейся клетке, и слышно было, как иногда сыпались, четко падали на пол зерна

семени. В большом трюмо, перед которым Гриша ворочал тяжестями, вся эта комната отражалась в усиленно-золотистом освещении с неестественно прозрачной зеленью широкой цветочной листвы.

Когда же Гриша вышел на балкон, сел за накрытый стол и, покачиваясь на передних ножках стула, стал, слегка расширяя ноздри, медленно пить молоко, в тишине дома раздался томный голос Натальи Борисовны:

— Гарпина!

«Какая скука! — подумал Гриша. — Каждый день начинается одним и тем же воззванием!»

— Гарпина! — повторила Наталья Борисовна нетерпеливее. — Гри-иша!

Гриша лениво поднялся с места.

— Ну, что тебе? — сказал он, входя в спальню.

Наталья Борисовна, полная женщина лет сорока, сидела на постели и, подняв руки, подкалывала темные густые волосы. Увидав сына, она недовольно повела плечом.

— Ах, какой ты, брат, невежа! — сказала она, смягчая слова улыбкой.

Гриша молча ждал. В комнате с опущенными шторами стоял пахучий полусумрак. На ночном столике возле свечки тикали часики и лежала

развернутая книжка «Вестника Европы».

— Да как же, право! — добавила Наталья Борисовна еще ласковее. — Зову, зову!..

И она попросила достать из столика деньги, посмотреть, где записка — что взять в библиотеке, собрать журналы и позвать Гарпину.

— Гарпина сейчас едет в город, — сказала она, — не нужно ли тебе чего?.. Нынче приедет отец и, вероятно, с ним Игнатий.

— Будь добра, поскорее! — перебил Гриша. — Ты ведь знаешь, что сейчас я должен идти к Каменскому.

— Ну, ты невозможен, наконец! — воскликнула Наталья Борисовна. — Я же тебе и хотела про это сказать… Ты, например, даже ничего не сообщил мне о нем…

— Ты сама его видела.

— Что же я могла видеть в десять минут, когда человек брал заказ? Кроме как о шкапе, мы двух слов не сказали.

— Но ведь и я хожу к нему только третий день.

— Но все-таки?

— Обыкновенный толстовец.

— Ну, словом, позови его, пожалуйста, к нам сегодня вечером. Ты знаешь, это будет интересно Игнатию. Только позови, голубчик, как-нибудь

потоньше, а то ведь откажется!

Гриша кивнул головой и вышел.

III

«Опять день, опять долгий день!» — шевельнулось в глубине души Натальи Борисовны, когда она, после чая и переговоров с кухаркой, взяла зонтик, книжку журнала и, покачиваясь, слегка щурясь от яркого утреннего света и придерживая левой рукой подол широкого чесучового платья, медленно сошла с балкона и направилась в общий дачный парк по своему саду, где, в солнечном блеске, на яблонях в белых нарядных цветах, гудели пчелы, а в чащах журчали горлинки.

«Как трогательно!» — подумала она с ленивой улыбкой, отворив калитку и увидав невдалеке профессора Камарницкого под руку с женою. И тотчас же ласково крикнула им слабым голосом:

— Откуда бог несет?

Профессор, грубоватый на вид, рыжий и курносый, двигался не спеша, и его толстые очки блестели очень строго; в петличке у него краснел цветок, в руках была корзина. Профессорша, маленькая еврейка, похожая на гитару, приклоняла

свою черную головку к его плечу.

— Здрасьте! — сказала она небрежно, сквозь зубы. Как всегда, в ее меланхолических глазах и во всем птичьем личике было что-то надменное и брезгливое: никто не должен был забывать, что профессорша — марксистка, жила в Париже, была знакома с знаменитыми эмигрантами.

— Что это вы так рано? — спросила Наталья Борисовна.

— По грибы, — ответила профессорша, а профессор, силясь улыбнуться, прибавил:

— Дачей нужно пользоваться.

«Какие скучные!» — подумала Наталья Борисовна, глядя им вслед.

— Ах, какие скучные! — повторила она, выходя в парк. На обширной поляне парка стояли одни темно-зеленые, широковетвистые дубы. Тут обыкновенно собирались дачники. Теперь большинство их, чиновники, шли по дороге, пролегающей между дубами, к железнодорожной станции. Барышни в пестрых легких платьях и мужчины в чесуче, в мягкой обуви, проходили мимо Натальи Борисовны и углублялись по узкой дороге в лес, где от листвы орешника стоял зеленоватый полусвет, сверкали в тени золотые лучи, а воздух был еще легкий и чистый, напо-

енный резким запахом грибов и молодой лесной поросли.

И Наталья Борисовна снова почувствовала себя хорошо и покойно на этой дачной поляне, раскланиваясь с знакомыми и садясь на скамейку под свой любимый дуб. Она откинулась на ее спинку, развернула книгу и, еще раз оправив складки платья, принялась за чтение. Иногда она тихо подымала голову, улыбалась и переговаривалась с дачницами, расположившимися под другими дубами, и опять не спеша опускала глаза на статью по переселенческому вопросу.

А поляна оживлялась. Подходили дамы и барышни с работой и книгами, няньки и важные кормилицы в сарафанах и кокошниках. Изредка, но все-таки без надобности щелкая, прокатывались велосипедисты в своих детских костюмах. Худые проносились с форсированной быстротой, согнувшись и работая ногами, как водяные пауки. Коренастые, у которых узкий костюм плотно обтягивал широкие зады, ехали тише, уверенно и весело оглядываясь. Блестящие спицы велосипедов трепетали на солнце частыми золотыми лучами. А дети взапуски бегали, звонко перекликались и прятались друг от друга за дубами.

— Жарко! — сказала Наталья Борисовна, при-

щуриваясь, опуская на колени книгу и обращаясь к молоденькой женщине, сидевшей невдалеке с вязаньем в руках.

— Жарко! — согласилась та, сдувая со щеки длинный волос.

Золотистый, чуть заметный туман стоял вдали в знойном воздухе. На местах солнечных золотисто-зеленые мухи словно прилипали к дорожкам и деревьям. Вверху, над вершинами дубов, где ровно синела глубина неба, собирались облака с причудливо округляющимися краями. Веселый и томный голос иволги мягкими переливами звучал в чаще леса.

IV

Гриша шел к Каменскому, сбивая молотком цветы по дороге.

Каменский занимался столярной работой, и Гриша брал у него уроки. Ему давно хотелось узнать какое-нибудь ремесло и потому, что это полезно для здоровья, и потому, что когда-нибудь будет приятно показать, что вот он, образованный человек, умеет работать и простую работу. По дороге он, между прочим, думал, что, выучившись, он сам сделает себе идеальные шары и молотки для крокета, да, пожалуй, и всю мебель

для своей комнаты… простую, удобную и оригинальную. Занимало и то, что теперь он может похвалиться, что знает «живого толстовца».

В доме отца Гриша с детства видел самых разнохарактерных людей: тузов разных служб и профессий, имеющих всегда такой вид, словно они только что плотно пообедали, богатых толстых евреев, которые важно, по-гусиному, переваливались на ходу, известных докторов и адвокатов, профессоров и бывших радикалов. И отец называл за глаза тузов мошенниками, евреев — «жидовскими мордами», остальных — болтунами, ничтожеством. Когда Гриша только что начал читать серьезные книги, знакомиться со студентами, ему часто приходилось удивляться: вдруг оказывалось, что какой-нибудь писатель или знаменитый профессор, который представлялся человеком необыкновенным, — ни больше ни меньше, как «идиот», «посредственность», вся известность которой основывается на энциклопедических иностранных словарях да на приятельстве с людьми влиятельными. И говорил это не кто-нибудь иной, а сам Петр Алексеич, которому было достаточно рассказать в шутливом тоне, что такая-то знаменитость затыкает уши ватой, любит чернослив и, как огня, боится жены, чтобы

авторитет этой знаменитости навсегда померк в глазах Гриши. Такие же новости привозил из столицы и Игнатий, а он, как человек крайне нервный, был еще более резок в мнениях.

— Что ж, и терпентин на что-нибудь полезен, — сказал он однажды словами Пруткова, когда зашел разговор о толстовцах и толстовском учении — этой «доморощенной философии самоучки с недисциплинированной головой». И Гриша, робея Каменского, усвоил себе манеру насмешливо щуриться, думая о нем.

Жил Каменский на мельнице, в версте от деревни. Мельница стояла на зеленом выгоне, к югу от дачных садов, там, где местность еще более возвышалась над долиной. Хозяин почему-то забросил ее: маленькое поместье с высоким тополем над соломенной крышей избушки, с бурьяном на огороде, медленно приходило в запустение. Внизу, в широкой долине, темным бархатом синели и, сливаясь, округлялись вершины лесов. Мельница, как объятья, простирала над долиной свои изломанные крылья дикого цвета. Она, казалось, все глядела туда, где горизонт терялся в меланхолической дымке, а хлеба со степи все ближе подступали к ней; двор зарос высокой травою; старые серые жернова, как мо-

гильные камни, уходили в землю и скрывались в глухой крапиве; голуби покинули крыши. Одни кузнечики таинственно шептались в знойные летние дни у порога избушки, мирно дремлющей на солнце.

— Вот и келья под елью! — усмехнулся Гриша, взглянув на мельницу в первое утро. Он уже представлял себе, как Каменский начнет поучать его, спасать его душу, и заранее вооружился враждебной холодностью. Однако Каменский только показал ему, как надо распиливать доски; и это даже обидело Гришу: «Не хочет снизойти до меня», — думал он, искоса поглядывая на работающего учителя и стараясь подавить в себе чувство невольного почтения к нему.

Сегодня он подходил к этой келье в девятом часу. Обыкновенно Каменский в это время работал. Но теперь в сенцах, где стоял верстак, никого не было.

— Алексей Александрович! — окликнул Гриша и, не получив ответа, пошел к мельнице: там вчера Каменский распиливал большие доски. Но и в мельнице было пусто. Только воробьи стаей снялись с пола, да ласка таинственно, как змейка, шмыгнула по стояку в развалившийся мучной ларь.

«Значит, у огородника загостился», — подумал Гриша, возвращаясь в избу.

В сенцах, обращенных дверями к северу, было прохладно от глиняного пола; в сумраке стоял уксусный залах стружек и столярного клея. Грише нравился этот запах, и он долго сидел на пороге, помахивая на себя картузом и глядя в поле, где дрожало и убегало дрожащими волнами марево жаркого майского дня. Дачные сады казались в нем мутными, серыми набросками на стекле. Грачи, как всегда в жару, кричали где-то в степи тонкими томными голосами. А на дворе мельницы не было ни малейшего дуновения ветерка, на глазах сохла трава… Разгоняя дремоту, Гриша поднялся с порога.

Близ порога валялся топор. На верстаке, среди инструментов, в белой пыли пиленого дерева, лежали две обгорелые печеные картошки и книга в покоробленном переплете. Гриша развернул ее: Евангелие. На заглавном листе его было написано: «Боже мой! Я стыжусь и боюсь поднять лицо мое к тебе, Боже мой, ибо беззакония наши стали выше головы и вина наша возросла до небес…»

— Что это такое? — пробормотал Гриша, чувствуя, как что-то новое, возвышенное коснулось его души.

— Странный человек! — прибавил он в раздумье и снова развернул Евангелие. В середине его были письма («Дорогие братья во Христе Алексей Александрович и Павел Федорыч…» — начиналось одно из них), бумажки с выписками… На одной было начало стихотворения:

Долго я Бога искал в городах
и селениях шумных,
Долго на небо глядел – не увижу ли Бога…

На другой опять тексты:

«Итак, станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности…»

Ласточка с щебетаньем влетела в сенцы и опять унеслась стрелою на воздух. Гриша вздрогнул и долго следил за ней в небе. Вспомнилось нынешнее утро, купальня, балкон, теплица — и все это вдруг показалось чужим и далеким… Он постоял перед дверью в избу, тихо отворил ее.

В передней узкой комнате загудели мухи; воздух в ней был душный, обстановка мрачная, почти нищенская: почерневшие бревенчатые стены, развалившаяся кирпичная печка, маленькое, тусклое окошечко. Постель была сделана

из обрубков полен и досок, прикрытых только попоной; в головах лежал свернутый полушубок, а вместо одеяла — старое драповое пальто. На столе, среди истрепанных книг, валялись странные для этой обстановки предметы — бронзовый позеленевший подсвечник, большой нож из слоновой кости, головная щетка и фотографический портрет молодой женщины с худощавым грустным лицом. Из деликатности Гриша отвел глаза от стола — и сердце его сжалось при взгляде на эти старые, засиженные мухами, уже давно не бывшие в употреблении вещи и на этот портрет.

Зачем это самоистязание? Он смотрел на бревенчатые стены, на нищенское ложе, стараясь понять душу того странного человека, который одиноко спал на нем. Были, значит, и у него другие дни, был и он когда-то другим человеком… Что же заставило его надеть мужицкие вериги?

— Странный человек! — повторил Гриша, хмурясь на темную фототипию, висевшую над кроватью, — снимок с картины знаменитого художника. Это было жестокое изображение крестной смерти, написанное резко, с болью сердца, почти с озлоблением. Все, что вынесло человеческое тело, пригвожденное по рукам

и ногам к грубому тяжелому кресту, было передано в лице почившего Христа, исхудалого, измученного допросами, пытками и страданием медленной кончины. И тяжело было глядеть на стриженую, уродливую голову привязанного к другому кресту и порывающегося вперед разбойника, на его лицо с безумными глазами и раскрытым ртом, испустившим дикий крик ужаса и изумления перед смертью того, кто назвал себя Сыном Божиим… Морщась, Гриша отворил дверь в другую комнату.

Тут было очень светло от солнца, совершенно пусто и пахло закромом. По полу когда-то прошелся широкими полукругами веник, но не докончил своего дела, и мучная пыль белела в углах и на карнизах. У одного окна, на котором грудами лежали литографированные тетрадки, учебник «Эсперанто», изречения Эпиктета, Марка Аврелия и Паскаля, стоял стул. На нем Каменский, должно быть, отдыхал и читал. На простенке были приклеены хлебом печатные рассуждения под разными заглавиями: «О Слове», «О Любви», «О плотской жизни». Среди же них еще стихотворение, крупно написанное на белом листе бумаги:

Боже! Жизнь возьми – она

Вся тебе посвящена!
Дни возьми – пусть каждый час
Слышишь ты хвалебный глас!

А ниже — из псалмов Давида:

«Ты дал мне познать путь жизни; Ты исполнишь меня радостью перед лицом Твоим!»

Как все это было странно и ново для Гриши! Он с изумлением смотрел кругом, прислушивался к тишине этого заглохшего поместья и к тому, что пробуждалось в его сердце, долго ходил из угла в угол… Потом вернулся в полутемную комнату, вышел в сени, снова развернул Евангелие…

«Дети! Недолго уже быть мне с вами…» — читал он отмеченные карандашом слова последней вечери Христа с учениками. — «Да не смущается сердце ваше»… «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел»… «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир»…

Отняв глаза от книги, Гриша долго и напряженно глядел в угол, ничего не видя перед собою. И он, этот странный человек, терпит скорбь,

«ибо беззакония наши стали выше головы!». Запах избы от ветхого переплета книги напомнил Грише тяжелую работу, кусок корявого хлеба, жесткое деревянное ложе, черные бревенчатые стены. А пустая, безмолвная и вся озаренная солнцем комната — светлое одиночество в минуты отдыха и созерцательной, тихой жизни.

«Ты исполнишь меня радостью перед лицом Твоим!» — вспомнил Гриша и почувствовал, как у него самого радостно и жутко затрепетало сердце и глаза наполнились слезами непонятного восторга… «После сих слов, — читал он дальше, ощущая в волосах словно дуновение морозного ветра, — после сих слов Иисус возвел очи свои на Небо и сказал: Отче! Пришел час, прославь сына Твоего, да и сын Твой прославит Тебя… Я открыл имя Твое человекам… Соблюди их во имя Твое!..»

V

— А, вы уже пришли! — раздался голос Каменского. Гриша смущенно захлопнул книгу.

— Извините, — сказал он, подымаясь.

— В чем вы извиняетесь? — спросил Каменский, стоя перед ним с мешком в руке и пристально глядя ему в лицо.

— Да вот залез в ваши книги, — ответил Гриша небрежно.

— Так что ж тут дурного?

— Я говорю, взял вашу книгу… ну, без спросу, что ли…

— Вашу? Что это значит?

— Как это значит?

— Да так. Зачем вы все такие слова употребляете? Они стояли друг против друга, и Гриша чувствовал, что пристальный взгляд улыбающихся глаз Каменского все более подчиняет его себе.

— Что это вы покупали? — спросил он, чтобы переменить разговор.

— А вот луку немного и хлеба.

И Каменский опустил мешок на землю.

— Так, может быть, начнем? — добавил он. — Я вот покажу вам, разведу огонь и присоединюсь к вам.

Гриша встрепенулся.

— Нет, нет, вы сначала разведите.

— Успеется, — отозвался Каменский. — Давайте доску в верстак, попробуйте фуганком.

Гриша с преувеличенным вниманием стал слушать, как надо работать фуганком, и помогать заправлять доску в верстак.

— Ну-ка попробуйте! — сказал Каменский.

Гриша взял фуганок и с такой силой зашаркал им по доске, что в два-три взмаха испортил ее.

— Да вы потише! — ласково засмеялся Каменский.

Он ушел в избу, вынес оттуда чугунчик с водой, поставил его на таган около порога и развел огонь. Синий дымок поплыл по двору. Поглядывая на него, Каменский взял из-за верстака кадушку, сел на порог и стал набивать обручи. Стук молотка звонко отдавался в пустой кадке. Подлаживая под этот стук, Гриша пристально шмыгал фуганком по доске. Стружки кремового цвета, красиво загибаясь, падали на пол.

— Вы живете только с матерью? — спросил вдруг Каменский, опуская молоток.

— Нет, и отец часто приезжает, — поспешно ответил Гриша, поднимая запотевшее и возбужденное лицо. — А в городе всегда вместе.

— Он что же — все города украшает?

— Как города украшает?

— Строит дома богатым людям? Созидает Вавилон?

— Ах, вот что… Если хотите, да.

— Ну, этого-то я не хочу! — серьезно сказал Каменский.

И, положив в воду картофелю и луку, поправив

огонь, опять сел на порог за работу.

— Да, — сказал он задумчиво. — А брат ваш что делает?

— Он только что кончил курс… Теперь служит… то есть работает у патрона.

— Так, — сказал Каменский. — У патрона… А вы тоже думаете этим заняться?

Гриша помолчал.

— Не знаю, — сказал он тихо. Каменский тоже помолчал.

— Это хорошо, что не знаете, — сказал он почти строго и стал задумчиво глядеть вдаль. — Люди все еще идут в Египет за помощью. Но и египтяне — люди, а не Бог, и кони их — плоть, а не дух.

И, подняв глаза на Гришу, прибавил:

— И вы будете также… также несчастны и одиноки, если будете не жить, а служить. Вы скоро забудете людей, будете знать только отношения вместо людей, и вам будет очень тяжело…

Гриша вспомнил свою семью и опустил глаза.

— Я испытал это на себе, — опять заговорил Каменский. — Я видел, как растет пропасть между моими поступками и намерениями, как жизнь моя обращается в служение крахмальным рубашкам; видел, как растет пропасть между мной

и людьми. И когда я приехал в деревню к своим, где думал начать новую жизнь, я ясно увидел, как велика эта пропасть. Я мог только с крыльца слушать говор и весь этот смутный шум деревни, наблюдать жизнь простых и добрых людей, которых я прежде намеревался учить злым и ненужным делам, думая, что эти дела добрые и нужные дела, — только наблюдать: между нами была пропасть. Я был как человек, стоящий у ручья, которому хотелось пить, но которому сказали, что, прежде чем пить, надо взмутить воду, и он стал пить мутную воду, хотя и знал, что мутить воду было не нужно…

Гриша слушал, стараясь не проронить ни одного слова. «Разве ты теперь-то не одинок?» — хотелось ему сказать. Но, боясь сказать это невпопад, неумело, боясь, что Каменский заговорит с ним как с мальчиком, молчал.

— А про Египет, — спросил он наконец, — это чьи слова?

— Исайи. Вы не читали?

— Никогда.

Каменский подумал.

— Завтра воскресенье, — сказал он, — мы не будем работать. Если хотите, приходите, и мы почитаем вместе.

— Во сколько?

— Когда хотите. Хоть часов в десять. Раньше нельзя, так как я пойду в город на почту.

— Непременно приду! — воскликнул Гриша. — У вас тут так хорошо!

Он помолчал и вдруг с трудом выговорил:

— А вы не будете ли добры пожаловать к нам сегодня вечером?.. Мама будет очень рада вас видеть…

— С удовольствием, — ответил Каменский. — Я людей не избегаю.

Он попробовал палочкой картошки в чугуне, встал и ушел в избу. Гриша торопливо схватил картуз. Очевидно, Каменский сейчас будет обедать и пригласит его… и выйдет неловкость, неприятность, которая испортит все настроение. Есть Грише не хотелось, но отказаться неловко… да даже если бы и хотелось и он сел, вышло бы все-таки что-то фальшивое.

— Ну, — сказал он как можно спокойнее, когда Каменский вышел из избы с глиняной миской и ложкой в руках, — мне необходимо домой…

И, чувствуя, что краснеет, Гриша поспешно добавил:

— Сегодня, знаете, брат и отец приедут… Так мне необходимо… До вечера, значит?

— До свиданья, до вечера! — ответил Каменский ласково.

За мельницей Гриша вздохнул свободнее. Он был взволнован, ему хотелось подумать о чем-то, но он ничего не думал и только шел все дальше в степь. Позади него живописно синела долина, но ему хотелось уйти в открытое поле. И он шел по парам, уже заросшим высокой травой и цветами, и ему было приятно, что они щелкают его по ногам, что поднявшийся ветер обвевает лицо солнечной теплотою, запахом зеленых хлебов.

— Как хорошо! — воскликнул Гриша, останавливаясь и снимая картуз.

Он постоял, подумал, послушал жаворонков и тихо добавил:

— Ты исполнишь меня радостью перед лицом Твоим!

Потом лег на межу навзничь и стал делать то, что делал в детстве: медленно-медленно закрывать глаза так, чтобы солнечные лучи ярко-золотистою паутиною протянулись к ресницам, а потом задрожали и превратились в трепещущие кружки, радужные, как хвост павлина…

«Как жить? — думал Гриша. — Как жить, чтоб всегда было хорошо, легко, свободно, просто? И чтоб и другим было так же? Как жить?»

Он постарался представить себе, что будет в его жизни… в тридцать, сорок, пятьдесят лет… Но все было смутно и непонятно. Представилось только что-то похожее на туманную синеву в долине под мельницей…

VI

— Откуда так стремительно?

Гриша остановился среди поляны и поднял голову. По дороге от станции шла в большой шляпке стройная и худощавая барышня, одна из служащих в управлении железной дороги.

— А вас, Марья Ивановна, почему это интересует? — спросил Гриша с тем неестественным спокойствием, с которым говорят красивые молодые люди с хорошенькими девушками.

Марья Ивановна пожала ему руку. Темно-каштановые волосы локонами падали на ее плечи; простое и наивное личико с голубыми глазами было очень миловидно. Глазами Марья Ивановна кокетничала, бойко и гордо прищуривала их: однако бойкость не удавалась ей, и чаще всего, особенно при новых людях, взгляд Марьи Ивановны пропадал в пространстве, хотя болтала она в это время без умолку.

— Как жарко! — начала она скороговоркой, ста-

раясь не глядеть на Гришу. — А в вагоне просто дышать нечем… И работы сегодня была такая масса! Я уже заявила сегодня своему патрону, что, если будет такая жара, я не буду больше являться на службу.

— А кто же вас заставляет являться? — спросил Гриша.

— Вот мило! Если бы у меня была пара серых в яблоках и коляска на резине, меня, может быть, и не заставляли бы.

Гриша улыбнулся.

— Ведь вот, — сказал он тоном Каменского. — Они не могут без серых, всё; серые нужны!

— А что же прикажете делать?

— Пахать, — ответил Гриша полушутя, полусерьезно.

— Пахать! — воскликнула Марья Ивановна. — Это новость!

— Вовсе не новость.

— Сохой пахать?

— Сохой.

Марья Ивановна посмотрела куда-то вдаль и легонько вздохнула:

— Это хорошо в теории, а не на практике.

— А вы не отделяйте теории от практики! — добавил Гриша наставительно, поклонился

и быстро пошел к своему саду.

На балконе завтракала Наталья Борисовна.

— Игнатик приехал! — сказала она.

Гриша промолчал и сел за стол. На столе был приготовлен ему прибор и завтрак: масло, яйца, глянцевито-зеленые огурцы. Среди стаканов стоял серебряный кофейник, подогреваемый синими огнями бензиновой лампы. Наталья Борисовна старательно снимала ножом и вилкой мясо с крылышка холодного цыпленка. Гриша посмотрел на ее плотную спину, на расставленные и приподнятые руки и почему-то вспомнил черепаху. Красивое лицо его стало неприятно.

— Что так поздно? — спросила Наталья Борисовна немного заискивающим тоном.

— Где же Игнатий? — сказал Гриша вместо ответа.

— Купаться ушел. А ты это все у Каменского?

Гриша сделал усталое лицо.

— У Каменского, — пробормотал он.

Наталья Борисовна позвонила. Гарпина внесла на тарелке сковородку с шипящим в масле куском бифштекса.

— Дайте вина! — коротко приказал Гриша. И, когда подали бутылку, залпом выпил стаканчик и принялся за еду очень поспешно.

— Уже? — спросила Наталья Борисовна. — А кофе? Гриша бросил салфетку и встал.

— Merci, не хочу.

— Мало же.

Гриша прошел в свою комнату и лег на кровать. Ему хотелось еще подумать, как в поле, удержать утреннее хорошее настроение. Но от вина и еды приятно напряженнее билось сердце. Гриша с удовольствием вытянул ноги, положил их па отвал кровати, прикрыл глаза… и внезапно заснул крепким сном.

А Наталья Борисовна, балуясь гусиным перышком, откинулась на спинку стула и долго смотрела куда-то в одну точку. О чем она думала? Она бы и сама не сказала. Но, подымаясь из-за стола, она почему-то глубоко вздохнула и пошла по дому лениво.

В спальне она подняла штору, села около окна и машинально взяла книгу. Но читать не хотелось. И она перевела глаза на портрет Петра Алексеевича, стоявший на ее письменном столике. С портрета пристально и насмешливо глядели на нее небольшие, чуть-чуть прищуренные глаза еще бодрого и свежего мужчины лет пятидесяти. Его правильная, яйцеобразная голова с продолговатой бородой, в которой седина тронула волосы

только около щек, еще до сих пор была гордо откинута назад. Было видно, что этот человек весь свой век прожил в холе и до старости сохранит барскую осанку высокой, в меру полной фигуры.

«Подурнел! — подумала Наталья Борисовна. — Плечи подняты по-стариковски, под глазами мешки…»

На мгновение она вспомнила свою молодость, прежнего Петра Алексеевича, на мгновение ей стало неприятно, что он так опустился теперь… Но, в сущности, он теперь был ей совсем чужой человек; а думать о прошлом — это и утомительно, и не приводит ни к чему хорошему. И Наталья Борисовна принялась бесцельно смотреть в окно.

Ветер опять стих, и опять стало жарко и скучно. Но уже длинные тени легли от садов и дачи дремали мирным послеобеденным сном долгого летнего дня. По улице прокатилась со станции линейка с дачниками и скрылась, громыхая развинченными гайками. «Са-ахарно морожино…» — меланхолично доносилось откуда-то издалека.

А в доме было так тихо, что по всем комнатам отдавалось ровное постукиванье часов в столовой.

VII

Вечером на поляне около сада Примо играли в крокет.

Солнце скрылось в густую чащу леса за поляной, и лес темнел на шафрановом фоне заката. Воздух был сухой и теплый, даже душный. Около играющих стояли знакомые и незнакомые барышни и студенты; потом они разбрелись, и зрителями остались маленькие гимназисты. Их очень занимал непрекращающийся спор между Гришей и Игнатием.

— А я тебе говорю, что ты ее убил! — азартно кричал Игнатий, стоя перед Гришей. — Я стоял вот здесь, — продолжал он, все более волнуясь, отбегая и стукая молотком по тому месту, где стоял, — я стоял вот на этом самом месте и отлично видел, как шар Марьи Ивановны коснулся фока!

На толстого Игнатия в широком, мешковатом костюме из чесучи было смешно смотреть. Он неуклюже бегал среди дужек и поминутно снимал соломенную шляпу, обтирая платком круглую, коротко остриженную голову и красное лицо.

— Шнурки-то подбери, — презрительно говорил Гриша, указывая Игнатию на мотающиеся

завязки его мягких скороходов.

— Игнатик! — пробовала вмешаться Наталья Борисовна, делая страдальческое лицо и смеясь внутренним смехом. — Keep your temper, Sir![18]

— Оставь, пожалуйста, мама! — огрызался Игнатий. — Это же глупо наконец! Я отлично видел, как шар коснулся фока.

Гриша смотрел на Марью Ивановну и думал, что она сегодня была бы очень хороша, если бы не надела этой красной шелковой кофты, широкие рукава которой она поминутно издергивала и взбивала на плечах.

— Ты слеп, мой милый! — лениво возражал он брату.

— Ты слеп!

— Все равно, я не уступлю.

— И я не уступлю!

— Ты молоток сломаешь.

— Ну и отлично!

— Ничего тут нет отличного.

— Я тебе уже давеча раз уступил, — опять стукая молотком в землю, кричал Игнатий, — ты еще давеча нарушил правила.

— Вечно с правилами!

---

[18] Сноски: 18
Сдерживайтесь, сэр! *(англ.)*.

— Конечно, с правилами! Раз ты их не исполняешь…

В это время к крокету подошел профессор Камарницкий с женой.

— Здрасьте, господа! — сказала Софья Марковна. — Продолжайте, продолжайте, пожалуйста.

Но Грише совестно было продолжать спор. Он отвернулся и сказал:

— Марья Ивановна! Вы должны решить.

Марья Ивановна положила ручку молотка за голову на плечи, взялась за нее руками и, качаясь на носках, ответила детским тоном:

— Я не знаю.

И не то улыбаясь, не то гримасничая, она рассеянно смотрела своими голубыми глазами в небо. Грише страстно захотелось подойти и поцеловать ее в губы. И он машинально ответил:

— В таком случае давай новую партию. Мы считаем себя побежденными.

— Павел! — сказала профессорша. — Будем играть?

Профессор покорно согласился. Все взяли молотки и собрались в одно место. Игнатий обтер лоб платком, бросил на землю шляпу и быстрыми ударами молотка согнал шары к фоку.

— Итак, господа, — крикнул он тоном героль-

да, — мы играем в следующем порядке: одну партию составляет Павел Антоныч, Софья Марковна и Гриша; вторую — я, мама и Марья Ивановна. Гриша, мы начинаем: согласен?

— Согласен, согласен.

Широко шагая, Игнатий торжественно подошел к фоку, отставил левую ногу.

— Господа, начинаю! — крикнул он и ударил в шар. Шар прошел дужку, стукнулся о проволоку второй и наискось проскочил третью.

— Вот это удар! — восторженно завопил Игнатий, любуясь, как шар волчком завертелся на одном месте.

А через минуту он уже снова раздраженно кричал на всю поляну:

— Если ты, мама, не умеешь играть — брось! Это глупо, наконец! Не умеет даже крокировать!

— Да ведь нога же соскользнула!

И, улыбаясь, Наталья Борисовна снова приподняла край юбки, неумело поставила ботинку на шар, сильно размахнулась, но молоток боком стукнул ее по ноге и выскользнул из рук.

— Не могу сегодня… — выговорила она, трясясь от смеха, и отошла в сторону.

Зараженная этим смехом, Марья Ивановна принялась хохотать как помешанная.

— Сначала, сначала! — кричала она, бегая за шарами и раскидывая их в разные стороны.

Игнатий в отчаянии поднял плечи, покраснел и сделал ужасное лицо.

— Это черт знает что такое! — воскликнул он басом и, не выдержав, сам расхохотался.

Подъехал еще знакомый — адвокат Викентьев. У него всюду были знакомые, и в городе, с извозчичьей пролетки (пешего его трудно было себе представить) он широко и приветливо размахивал шляпой чуть не каждому встречному. Всюду он держал себя как дома, всюду напевал отрывки оперных арий с мягким удальством итальянского тенора и считал себя общим любимцем.

— Стой, стой! — закричал он извозчику, соскакивая с пролетки, и быстро, покачиваясь, пошел к крокету. Это был человек небольшого роста, кругленький, с маленькими ногами и руками. Называя себя «верным шестидесятником», он небрежно повязывал галстук, не стриг своих серых, мягких волос и часто закидывал их назад. Матовое его лицо было моложаво и неприятно.

— Наталья Борисовна! — крикнул он, махая на себя шляпой. — Благоверного вашего лицезрел!

— Где? — спросила Наталья Борисовна, идя

к нему навстречу.

— В городе-с, — Викентьев быстро поцеловал у ней руку, оглянулся. — Да-с, на стогнах града… Оказывается, он вернулся еще вчера, «выпимши малость»… Здравствуйте, барышня!.. Мое почтение, Софья Марковна…

Он пожал всем руки и опять оглянулся:

— Коллеге почтение! Давно изволили пожаловать?

— Только сегодня, — сказала Наталья Борисовна. — Да вы откуда, Александр Иванович?

Викентьев махнул рукой и вздохнул.

— И в городе был, и за городом был… у одного почтенного отца семейства… Ну что же? Я вам помешал? Примете меня в заморскую игру?.. Хотя, по правде сказать, я голоден, как сорок тысяч братьев Фридрихов…

Но играть было уже поздно. Сумрак мягко синел в парке, и над вершинами дубов показывались серебряные звезды… Хор молодых голосов запел где-то далеко протяжную малороссийскую песню, и Викентьев стал тихонько подтягивать:

Та налетіли гуси з далекого краю…

— Отчего это, — сказал он, — когда поют хорошую песню, становится кого-то жалко, и совсем

не знаешь, горя или радости хочется?.. Пойдемте гулять, господа! В такую ночь надо жить только природой.

Пошли смотреть на долину, в сторону, противоположную мельнице Каменского, — туда, где видны были огни города; полежали на скате, непринужденно, по-дачному, снявши шляпы. Синяя темнота все сгущалась от востока над долиной. Прошел за рекою поезд, и долго слышен был его отдаленный шум… Потом все затихло. Город на горизонте роился бледными огнями, а из парка доносилась то та, то другая печальная песня.

— Славно! — сказал Викентьев. — Люблю я эту самую природу, люблю, грешным делом, полежать вот так на травке, но… «камергер редко наслаждается природой»!.. Право, иной раз хочется стать рыбаком, бродягой или хоть толстовцем… вроде вашего новоявленного отца Каменского. Кстати, он еще тут обретается?

Гриша насторожился.

— Да, — ответила Наталья Борисовна. — Обещался сегодня быть у нас.

— Вот как! — сказала Софья Марковна. — Это интересно. Павел, пойдем к Наталье Борисовне?

Профессор, запинаясь, отказался:

— Нет, ты, уж будь добра, иди одна; мне он не интересен, да и надо вовремя лечь в постель.

— Да, он не интересен, — подтвердил Викентьев. — Я с ним встречался. Говорит как по писаному, но все это не ново и хорошо только на словах. «Нельзя объять необъятного»... Да и сам Лев Николаевич-то, кажется, уж соскучился забавляться...

Заговорили о том, что влияние Толстого проходит, что Толстой велик как романист и слаб как философ, что он умеет только отрицать и ничего не дает положительного... Гриша внимательно слушал. Слова Викентьева заставили его задуматься.

«Болван! — думал он про Викентьева. — Но это-то, пожалуй, отчасти и правда... Не ново-то не ново...»

Посидели еще, не зная, что делать. Всем было хорошо, но все чего-то ждали. И когда Наталья Борисовна сказала, что хочется чаю, поднялись очень живо, словно исполнили обязанность.

У крыльца профессор и Викентьев откланялись. Остальные вошли в дом. В сумраке на балконе кто-то медленно поднялся со стула.

— Здравствуйте! — сказал приятный важный голос.

— Ах, это вы, Алексей Александрович! — воскликнула Наталья Борисовна, дружески пожимая ему руку. Очень, очень рада вас видеть... Что же это Гарпина не зажгла вам лампы?

— Они у Петра Алексеевича.

— Разве он приехал?

— Да, мы уже беседовали с ним. Он пошел в кабинет обливать голову водою.

Наталья Борисовна покраснела. «Ах, боже мой, как нарочно!» — подумала она, но тотчас же весело сказала:

— Ну, господа, вы незнакомы? Знакомьтесь, знакомьтесь, пожалуйста...

VIII

По всем комнатам пахло сигарами. Из кабинета раздавались мужские голоса, слышны были сиплые вскрикивания Ильи Подгаевского, странного субъекта, безотлучно пребывавшего при Петре Алексеевиче и участвовавшего во всех его попойках. Петр Алексеевич редко появлялся один и на этот раз привез с собой еще какого-то военного доктора, которого называл Васей, и своего секретаря, Бобрицкого, молодого человека, очень похожего на жирафа своей маленькой головой и большой, длинной фигурой в клетчатой паре.

Среди сидящих и разговаривающих за круглым столом в ярко освещенной гостиной Каменский резко выделялся высокой фигурой и одеждой. Присутствие его одних смущало, других очень интересовало. Марья Ивановна боялась взглянуть на него и, махая в раскрасневшееся лицо платком, быстро-быстро заговаривала то с тем, то с другим так, словно отвечала на экзамене. Грише очень хотелось уйти с ней на качели в сад, но он знал, что будет спор, так как заметил, с какой порывистой приветливостью пожал руку Каменского Игнатий: очевидно, рад новому человеку, с которым можно сцепиться. Однако разговор шел пока незначительный. Поддерживал его только агроном, человек в золотом пенсне, всегда сдержанный, вежливый и элегантный (агрономией он занимался теоретически, в городе). В тон ему держался и Бобрицкий. Немного отодвинувшись от стола и вытянув ноги, он держал стакан чаю в руках и, когда пил, далеко отставлял мизинец, украшенный перстнем с большим куском бирюзы.

— Вы позволите вам чаю? — с легкой запинкой спросила Наталья Борисовна Каменского.

И все тотчас с любопытством обратились в его сторону: откажется или нет? И что возьмет

к чаю?

— Пожалуйста, — очень вежливо ответил Каменский.

То, что он приметлив, тоже немного удивляло всех. Верно, он знал, что Примо устроили сегодня вечер с толстовцем, знал, что за каждым его движением будут следить, будут оглядывать его одежду, и потому надел чистую рубашку, умылся, причесал бороду и густые русые волосы, подстриженные в скобку. Теперь его открытое лицо было красиво.

Подошел еще гость, статистик Бернгардт, бородатый, сумрачный человек. Он недавно вернулся из Сибири, и Грише казалось, что это суровые сибирские мужики приучили его быть таким скупым на слова. И теперь он молча сел в угол со стаканом чаю и принялся рассматривать волосы в своей большой темной бороде. Каменский тотчас заговорил с ним о Сибирской железной дороге. Бернгардт отвечал отрывисто, а все поглядывали на них, как бы спрашивая: какой интерес представляет Каменскому железная дорога? Ведь «они» отрицают цивилизацию!

Вдруг агроном почтительно промолвил:

— Правда, что Лев Николаевич не совсем здоров?

— Да, да, — поспешил ответить Бобрицкий, — я читал недавно сам.

— Нет, неправда, — ответил Каменский. — Я недавно имел о нем известия.

Бобрицкий поднял брови.

— Но я же сам, своими глазами читал в «Новом времени»! — сказал он.

— Вы не верьте. Газеты для того же и существуют, чтобы выдумывать неправду, — возразил Каменский с снисходительной улыбкой.

Игнатий задвигался на стуле.

— Ну, знаете, это слишком сильно сказано! — проговорил он с неприятной улыбкой.

— А где он теперь? В Ясной Поляне? — перебила Марья Ивановна.

— Что вы?

Каменский спросил очень ласково, но Марья Ивановна смешалась. Она встряхнула локонами и с трудом выговорила:

— Правда, что он только лето живет в деревне?

— Да, вот это правда.

Все переглянулись и помолчали. Каменский налил в блюдце чаю и уже начал говорить с агрономом о рамочных ульях, как вдруг Софья Марковна выговорила громко и насмешливо:

— А правда, что он уже сменил пресловутую

блузу на костюм велосипедиста?

— Вот это опять неправда, — уже совсем важным тоном возразил Каменский.

Снова переглянулись, а Игнатий издал какой-то носовой звук.

— Я, собственно, не понимаю… — начал он, собирая хлебные крошки.

Но в это время раздался насмешливо-отчетливый голос Петра Алексеевича:

— А правда, что мы с Илюшей еще пьяны?

Все живо обернулись.

Улыбаясь, Петр Алексеевич медленно шел с коробкой сигар в одной и с дымящейся папиросой в другой руке, немного приподняв плечи и не поворачивая головы, как уходят богатые люди из ресторанов среди кланяющихся лакеев. После холодной воды он посвежел и ободрился; слегка прищуренные глаза блестели, смуглое припухшее лицо было весело. И как всегда, он был очень представителен; небольшое брюшко, туго обтянутое жилетом, не портило его высокой, плотной фигуры; ноги сравнительно с ней были тонки, но стройны.

Зато маленький, тщедушный человек, который шел за ним в длинном черном сюртуке, производил странное впечатление; старческое лицо

его, лицо скопца и алкоголика, было желто и испито; длинные, монашеские волосы жидкими темными космами падали на плечи; маленькие агатовые глаза неестественно блестели.

— Отставной профессор консерватории, потом монах, пьяница и мой друг, Илья Подгаевский, — отрекомендовал его Петр Алексеевич, здороваясь с гостями и усаживаясь к столу.

— Полно, Петр! — с пафосом воскликнул Подгаевский, кивнул всем головой и задумчиво зашагал из угла в угол, бросая себе в рот мятные лепешечки.

Наступило минутное молчание. Каменский пристально, без стеснения рассматривал то Подгаевского, то хозяина. Последний, очевидно, заметил это, потому что отчетливо повторил, обращаясь уже к одному Каменскому:

— Так как вы нас находите? Пьяны мы или уже можем вести душеспасительные беседы?

— Мы этого еще не знаем, — ответил Каменский серьезно.

Петр Алексеевич сделал вид, что уже не слушает, и обратился к Наталье Борисовне:

— Мамаша, — сказал он, — налейте и мне стаканчик чаю, только, пожалуйста, без коньяку!

— Вот как! — засмеялась Наталья Борисовна.

— Я слышу разговор о Толстом, — продолжал Петр Алексеевич, оглядывая всех и подчеркивая слова, — и вот мне перестало хотеться того, чего прежде хотелось, и стало хотеться того, чего прежде не хотелось. И когда я понял то, что понял, я перестал делать то, чего не надо делать, и стал делать то, чего не делал и что нужно делать.

Все засмеялись.

— Очень, очень удачно скопирован Толстой! — подхватил Бобрицкий.

— Какой догадливый! — пробормотал Петр Алексеевич, раздувая ноздри.

— Нет, почему вы так против велосипедистов? — улыбаясь, но уже нервно прикрывая глаза и волнуясь, заговорил Игнатий.

— Разве я это сказал? — спросил Каменский и поднял брови.

— То есть не сказали, но, в сущности, это понятно… И это странно… Я думаю, что всякий труд, исполняемый с наименьшим напряжением мускулов…

Все прислушались. Каменский же немного наклонил голову, и по лицу его было видно, что он хочет вникнуть в каждое слово. Но Игнатий запнулся, щелкнул пальцами и прибавил торопливо:

— Я хочу сказать, что такой труд, во всяком случае, более нужен, чем какой-либо другой…

— Я вас не понимаю, — спокойно возразил Каменский.

— Не понимаете? — переспросил Игнатий.

— Извините, не понимаю.

Игнатий вздернул плечами.

— Что же тут непонятного? Разве я темно выражаюсь?

— Нет, но вы, очевидно, не подумали, что сказали.

Игнатий прикрыл глаза, соображая, подумал он или нет, и наконец выговорил:

— Нет, знаете, я темно выразился, но вполне понятно, что я хотел сказать. Я хотел сказать, что всякий труд…

— Нужно всегда различать, — тихо, по властно перебил Каменский, кладя ладони на стол, — нужно всегда различать, что нужно и что не нужно в жизни; именно, как сказал Петр Алексеевич, надо знать, что нужно делать и чего не нужно делать.

Он мельком взглянул на Петра Алексеевича и продолжал:

— Да, именно так. Поэтому слово «всякий» очень часто не имеет ни значения, ни смысла.

Всякий труд! Да вот ведь и обезьяна трудилась, и ей стало жарко и скучно наконец.

— То есть я не понимаю, про какую обезьяну вы говорите?

— А вот про ту, что катала чурбан. Помните басню? О труде надо думать серьезно и избирать надо тот труд, который не ограничивается одним наименьшим напряжением мускулов. Труд жизни…

Игнатий заволновался еще больше.

— Вы думаете, кажется, что я не имею понятия о труде?

— О чьем труде?

— Вообще о труде… Я не меньше вашего работал и работаю…

— Я о вас пока не говорил.

— Но ведь это понятно!

— Я о вас не говорил. О вас я еще буду говорить.

Игнатий вспыхнул.

— Но ведь это, конечно, и от меня будет зависеть, — резко возразил он. — Личности тут ни при чем.

— Нет, именно при чем. И отчего нам не говорить друг о друге? Мы не должны учить других, когда еще не очистились сами, но мы должны

быть братьями и помогать друг другу.

— Однако же вы говорите тоном именно поучения!

Каменский немного смутился, но тотчас же оправился.

— Я не поучаю, — сказал он серьезно, — я говорю только то, что мне кажется истиной, которую я уразумел сердцем. Я не насилую вас — это главное. И вы напрасно сердитесь на меня.

— Я нисколько не сержусь, я сказал только, что знаю, что такое труд, не хуже другого…

— По вашим рукам этого не видно.

— Если вы, — перебила Каменского Софья Марковна, и все оглянулись на нее, — если вы подразумеваете под трудом труд только физический, то я думаю, что ограничивать настолько труд, по меньшей мере, странно. Умственная жизнь человека нуждается в полном развитии и усовершенствовании.

— Илья? — спросил Петр Алексеевич. — Справедливая это мысль? Правда, мы с тобой труженики и умственно развиваемся?

И с заигравшею в глазах злою улыбкой оглядел всю компанию, долил чай коньяком и выпил, как воду.

— Илюша! Что же ты? — добавил он, обращаясь

к Подгаевскому.

Подгаевский, который шагал вокруг стола, оживился.

— Изволь! — сказал он, наливая и себе коньяку. — Но ты обратился ко мне с вопросом. Так я тебе скажу, мой милый, что мысль Софьи Марковны совершенно справедливая. И твоя обычная ирония тут ни при чем. «Оставь ее отжившим и нежившим!»

— Будто бы мы с тобой еще не отжили? — спросил Петр Алексеевич.

— Мы тени, мой милый! Но сущность наша и красота вечны! — сипло вскрикнул Подгаевский.

Петр Алексеевич дослушал его и спокойно выговорил:

— Вот и врешь! И мы с тобой, к сожалению, не тени, и красота не вечна. Например, вот мамаша была очень красива, а теперь только старая карга.

Поднялся общий смех и говор.

— Виноват!.. — говорил Каменский с блестящими глазами.

IX

— Виноват, я не договорил, — повторил он. — Я вас перебью на минуту, — продолжал он только для того, чтобы вдуматься в то, что хотел сказать, так как намеревался говорить долго. — Я хотел ответить вам, Софья Марковна… Оставим на минуту труд в стороне, нужно сперва говорить о жизни… И вот я думаю так: жизнь человека должна быть направлена прежде всего к раскрытию и познанию…

— К раскрытию чего?

— К раскрытию того, что нужно и важно для человека, к развитию его добрых чувств, чтобы он мог любовно и радостно исполнять свое назначение на земле и волю пославшего его…

— Пославшего его, — повторил Игнатий. — Кто же этот пославший?

— А это называйте, как хотите — Роману, Вишну, Фта… Дух Жизни, одним словом.

— Дух Жизни! Что такое Дух Жизни?

— А вам что — хочется решить его, как уравнение?

— Нисколько, это уравнение, состоящее из всех неизвестных, следовательно, я и пытаться не буду решать такое уравнение… Да это и не

уравнение будет.

Петр Алексеевич насмешливо кивнул на Игнатия.

— Игнатий-то! — сказал он. — Как уравнению-то обрадовался!

— Дай мне, пожалуйста, говорить! — воскликнул Игнатий со злобой. — Так я говорю: это для меня только звук, и я не знаю, что он значит…

— Дело не в звуке…

— Так позвольте: что же такое Дух Жизни?

— Дух Жизни?.. «Свет, и нет в нем никакой тьмы» — вот вам одно определение. Добро, любовь — вот вам другое.

— А почему я должен поклоняться добру? — вмешался Подгаевский, внезапно останавливаясь против Каменского.

— В самом деле, — подхватил Игнатий, — почему?

— Да зачем вы ставите эти вопросы? Вы следуйте веленьям своего сердца, в котором заключены и добро, и любовь.

— А если у меня не заключено ничего подобного?

— Это неправда. Еще Тертуллиан сказал, что душа христианка.

Игнатий заморгал, развел руками, поднял плечи.

— Да что же это за доказательство! — воскликнул он насмешливо и басом. — Добро, Любовь… А если я не верю Тертуллиану вашему, и моя башка, мои мозги…

Каменский нахмурился и повторил уже назло:

— Да, еще Тертуллиан сказал. А царь Давид вот что: «И рече безумец в сердце своем — несть Бога!»

— Не следует, я думаю, забывать того, что Давид совмещал в себе массу достоинств, но еще более недостатков, — перебила Софья Марковна.

— Господа, позвольте! — закричал Игнатий. — Мы уклонились, так нельзя…

— Вы же не дали мне договорить, — сказал Каменский. Лицо у него раскраснелось, руки нервно гладили скатерть.

— Ну, продолжайте, продолжайте, пожалуйста!

Каменский подумал и опять заговорил размеренно:

— Я говорил: человек должен уяснить себе, для чего он живет…

Виноват, — снова не выдержал Игнатий, — одно слово… Как это уяснить, для чего я живу? Я

могу сказать, для чего я сегодня в город ездил…

— Да, вот именно так, — подтвердил Каменский, — именно, надо уяснить себе цель жизни так же, как цель поездки в город. И вот: есть жизнь телесная и плотская и есть жизнь духовная и душевная. Жизнь телесная…

— Ну, это уже начинается метафизика какая-то! — воскликнула Софья Марковна.

— Позвольте, — начал Игнатий.

— Виноват, — заговорил и агроном, хотевший примирить и успокоить всех.

А Петр Алексеевич выговорил громче всех:

— Мы вот с Илюшей живем плотской жизнью!

— Метафизика — родня поэзии! Я стою за метафизику! — почти закричал Подгаевский. — Вы говорите: труд; но прогре-сс движется не трудом, а тво-рче-ством!

— Это, положим, вздор! — добавила Софья Марковна. — Возьмите Липперта…

Каменский почувствовал, что здесь нельзя говорить. Но то, что ему хотелось сказать этим людям, которые кричат только от скуки, волновало его, и он поднялся со стула. Встал и Игнатий.

— Что же вы сотворили? — почти строго спрашивал Каменский. — Что? Я скажу вам, что вы сотворили: рабовладельчество, проституцию…

— А что вы так против проституции? — вмешался Петр Алексеевич уже с явной насмешкой. — Вот Илья иначе думает.

Каменский пристально посмотрел на Петра Алексеевича, но тот сделал мутные глаза и отвернулся.

— При со-вре-менных условиях это не-обхо-димо-е учреждение! — уже кричал Подгаевский.

— Позвольте… Что же, современные условия хороши?

— Нет, вы позвольте!

Лицо Подгаевского исказилось, глаза бегали; то, что у него не было двух верхних зубов, еще более делало его некрасивым.

— Нет, дайте же мне договорить! — пробовал как можно спокойнее возражать Каменский. — Вы сказали именно то, что нужно: вы сказали как человек, который на вопрос: почему он едет так плохо и тихо, ответил, что у него сломана ось. Остановись же, сказали ему, почини ее.

— Позвольте-с, — заговорил Бернгардт сумрачно, приближаясь к Каменскому, — современные условия зависят не от одного человека. Это не телега, в которой едет благодушный мечтатель и единственный обладатель ее, это наполненный народом дилижанс. И починка зависит не от

единичной воли… Конечно, можно и пренебречь сломанным экипажем, встать, махнуть рукой и отправиться пешочком; только это и нечестно, и навряд хорошо для отправившегося пешочком…

— Да, — горячо подхватил Каменский, — если дилижанс плох, нужно его оставить и не тащиться в нем или не сваливать все на других, на «обстоятельства»… И во всяком случае, починка делается не злобой, а единением и любовью!

— А может быть, непротивлением злу? — перебил Бернгардт и резко захохотал.

Вдруг Петр Алексеевич поднялся.

— Мамаша! — воскликнул он. — Это, наконец, подло с вашей стороны! Вы меня все равно не приучите к духовной жизни, я не обедал сегодня!

— Господа, перейдемте в столовую, — обратилась Наталья Борисовна к окружающим.

Гриша поднялся и скрылся в своей комнате.

Понемногу стали подыматься и остальные. Разговор оборвался, и по рассеянным взглядам было видно, что продолжение его и нежелательно.

Агроном сел за рояль и, одним пальцем аккомпанируя, вполголоса запел пролог из «Паяцев». Около него стояли Бобрицкий, Софья Марковна

и Подгаевский; Подгаевский покачивал головою и намеревался подтягивать. Петр Алексеевич в ленивой позе сидел на диване; Бернгардт ходил из угла в угол; он не хотел даже серьезно говорить с Каменским, унижать себя. А Игнатий с Каменским незаметно вышли на балкон. Игнатия мало интересовала закуска, и он думал, что, пожалуй, вышло неловко это всеобщее нападение на Каменского. Спорить больше ему не хотелось, хотя он и был немного обижен, так как любил оставаться в горячих разговорах победителем. Он стоял против Каменского и машинально повторял:

— Да-а-с, батенька!

Лицо Каменского было строго и рассеянно. Облокотившись на перила балкона, он старался собрать мысли, так как твердо решил опять завести разговор.

А Марья Ивановна, полуосвещенная светом, падавшим из гостиной на балкон, глядела в сад и говорила тихо и восторженно:

— Как хорошо!

В саду было очень темно и тепло. Ночные неопределенные облака неподвижно дремали в темноте над садом. Дремотно где-то щелкал соловей, невнятно доносился аромат резеды

с цветника у балкона…

X

Гриша сидел за ужином, мрачно покусывая ногти. Когда собрались в столовую, произошла маленькая неловкость.

— How did you get acquainted with him?[19] — вдруг спросила профессорша Наталью Борисовну, указывая глазами на Каменского.

— Энгельса зашел попросить, — пробормотал Петр Алексеевич.

А Каменский мягко, но серьезно заметил:

— Я знаю английский язык, так что вы говорите лучше на каком-нибудь другом.

И когда Софья Марковна смешалась и покраснела, он добавил снисходительно:

— Да вы не конфузьтесь. Языки надо знать, это ведет людей к сближению. Ведь вся беда людей с древнейших времен и до этого вечера состоит в неуменье и бессознательном нежелании общаться с людьми.

Он вызывал на беседу, и лицо его становилось все сосредоточеннее. Но кругом шел оживленный разговор о знакомых, об опере; занимал всех

---

[19] Сноски: 19
Как вы познакомились с ним? *(англ.).*

и ужин — молодые картошки с зеленью, бифштекс, вина… К ужину вышел и военный доктор, похожий на цыгана. Заспанный, добродушный, он все старался казаться трезвым и поэтому расшаркивался, подымал плечи и хриплым голосом говорил любезности дамам.

Тогда Каменский, обращаясь как будто к одному Игнатию, произнес целую речь. Голос его стал торжественным, глаза строгими и выразительными.

Он опять начал с того, что нужно в жизни. Современный человек, говорил он, отличается тем, что умеет становиться на всевозможные точки зрения и ни одной не признавать безусловно справедливой, ни одной не увлекаться сердечно. Жизнь стала слишком сложна, и сложная общественная организация парализует нашу волю и растягивает нас в разные стороны. Мы одурманили себя ненужными делами, мы загипнотизированы книгами и разучились говорить языком сердца. Мы слишком заняты, по словам Лаодзи и Амиеля, слишком много читаем пустого и бесплодного, когда надо стараться упрощать жизнь, стараться быть искренним, вникающим в свою душу, когда нужно отдаться Богу, служить только ему, остальное же все приложится.

Мы устали от вероучений, от научных гипотез о мире, устали от распрей за счастье личности, слишком много пролили крови, вырывая это счастье друг у друга, когда жизнь наша должна состоять в подавлении личных желаний и исполнении закона любви. Злоба — смерть, любовь — жизнь, говорил он. Жизнь только в жизни духа, а не в жизни тела. Плод же духа — любовь, радость, мир, милосердие, вера, кротость, воздержание… Это повторяли людям все великие учителя человечества, начиная с Будды…

— Ну, знаете, батенька, Будда был довольно-таки ограниченный субъект! — перебил Игнатий.

Каменский, не слушая, продолжал говорить. Он настаивал на том, что мы сами создаем себе миллионы терзаний только потому, что не хотим прислушаться к тому, что говорит нам сердце голосом любви, всепрощения и благоволения ко всему живущему; настаивал на том, что мы гибнем, развивая в себе зверские похоти, тысячи ненужных потребностей и желаний. «Желаете и не имеете; убиваете и завидуете и не можете достигнуть», — напомнил он слова апостола Иакова.

— Это все очень не ново! — послышались голоса. — Это все давно слышанное. К сожалению,

не так просто все развязывается. И любить по закону нельзя. Странный рецепт: возьми да люби!

Гриша терялся — с обеих сторон говорили правду!

Размахивая полами сюртука, Подгаевский ходил по комнате и кричал над ухом Каменского:

— Я скажу вам словами такого же апостола, Павла: «Освободившись от греха, вы стали рабами праведности!»

— Лучше быть рабом праведности, чем похоти, — пробовал возражать Каменский.

Но Подгаевский был уже пьян. Пьян был и Вася, который все наклонялся и что-то бормотал на ухо Петру Алексеевичу, воображая, что говорит шепотом. А Петр Алексеевич сидел с раскрасневшимся лицом и мутным взглядом.

Ах, что кому до нас,

Когда праздничек у нас! –

запел он вдруг фальшиво и резко.

Дамы встали и начали прощаться. Поднялся и Каменский.

— Что же вы? — спросил Петр Алексеевич. — Уже уходите? Напрасно! Давайте споем.

Каменский пожал плечами.

— Какой вы веселый! — сказал он, нахмури-

ваясь.

— Веселый! — повторил Петр Алексеевич и вдруг прибавил с неприятной улыбкой: — Кстати о труде! Шкап-то скоро будет готов?

— В четверг принесу.

— После дождичка?

— А разве в четверг будет дождь?

— Да вот Брюс пишет — будет.

— Я в Брюса, к сожалению, не верю. До свидания!

— Жаль! А закусить разве не хотите? Ведь хочется небось?

Каменский посмотрел на него долгим взглядом, пожал окружающим руки и пошел из дома через балкон. Петр Алексеевич поднялся.

— Николка! — крикнул он на весь дом.

И когда вбежал лакей, прибавил:

— Лошадей нам! Вася, Илюша — в «Добро пожаловать!». Едем!

— Петр Алексеевич, — сказала Наталья Борисовна, — я тебя прошу, не езди!

— Мамаша! Оставьте! Стыдно при чужих людях...

Ах, что кому до нас, –

запел он снова, обнял доктора и Подгаевского

и пошел в кабинет…

Дом опустел. Было слышно, как в столовой убирали посуду. Гриша сидел в своей комнате у открытого окна, стиснув зубы.

— В наше время таких бы не слушали, — со злобой говорил на балконе Бернгардт.

— Вы и теперь не слушаете, — отвечал злобно и Каменский.

— Мы жизнью жертвовали!

— Однако вы живы.

— Не каламбурьте! Вы увлекаете общество от полезной и честной работы в свою келью под елью.

— Это что же вы называете работой? Неужели эта дача похожа на рабочий дом?

— Я не про эту дачу говорю. Вы не ехидничайте. Любовь!.. А ведь у вас злоба кипит, вы сами просите борьбы… Вы, например, меня ненавидите сейчас.

— Поверьте мне, как брату, — горячо возразил Каменский, — у меня никакой нет злобы против вас. Запомните слова Паскаля: «Есть три рода людей: одни те, которые, найдя Бога, служат ему, другие, которые заняты исканием его, и третьи, которые, не найдя его, все-таки не ищут его»…

— Опять тексты!

— Да, тексты! — повторил Каменский снова с сердцем…

— Покойной ночи! — послышался немного погодя голос Игнатия.

— Прощайте! — ответил грустно и важно Каменский.

XI

На заре Гришу разбудили удары грома. Он открыл глаза.

День был серый и дождливый. От надвигающихся туч в комнате темнело; в сумраке мелькал красноватый отблеск молнии, после чего начинался где-то вверху смутный рокот. Он приближался тяжкими раскатами, так что дрожали стекла, и вдруг разражался треском и резкими ударами над самой крышей дома… И начинал сыпать дождь, сначала осторожно, потом все шире и шире, и затихший сад, густые чащи сочной зелени у раскрытых окон стояли не шелохнувшись, насыщаясь влагою. Тяжелый запах цветущих тополей наполнял сырой воздух.

Гриша хотел уже встать, как в столовой послышались тяжелые шаги Петра Алексеевича. Он что-то невнятно приказывал лакею, который звенел ключами, отворяя шкап.

— Гриша! — раздался вдруг его голос в гостиной. Гриша не ответил.

Петр Алексеевич подошел к порогу и раздвинул портьеры. Он был в шляпе и крылатке, которая сползла у него с плеч.

— Ты спишь? — спросил он.

— Нет, — ответил Гриша и нахмурился. — А что?

— Да так… Я, знаешь, хотел спросить кое-что…

— Именно?

— Именно… Гм!.. Ну, да все равно… Я хотел тебе сказать вот что: не замечал ли ты, что свинья — одно из самых иронических животных?.. Это, во-первых…

Язык Петра Алексеевича заплетался.

— Во-вторых, я зашел к тебе на минутку… — продолжал он медленно. — Я хотел тебе передать, что встретил сейчас Каменского… В город, брат, уже прет!.. И знаешь, что он мне сказал? Он сказал, что я — новая интеллигенция, так называемая «честная», но со всеми признаками самого обыкновенного буржуя, то есть настоящей свиньи… И что будто это порождение последних дней… Это недурно! А главное, изречение!

И тоном Каменского Петр Алексеевич прибавил:

— «Ибо ради вас Имя Божие хулится у язычников!..» Как тебе это нравится?

Гриша молчал.

— Молчишь? — опять заговорил Петр Алексеевич. — Молчи, брат! Только знаешь что? Ты о себе подумай… подумай и лучше застрелись, если ничего не выдумаешь… Непременно застрелись, если не станешь ничем иным, как иронизирующей свиньей!

Дождь лил, ровно и однообразно шумя по траве и деревьям. Мягкими переливами звучал под дождем голос иволги.

Гриша лежал на кровати и зло, загадочно улыбался…

1895

Осенью

I

В гостиной наступило на минуту молчание, и, воспользовавшись этим, она встала с места и как бы мельком взглянула на меня.

— Ну, мне пора, — сказала она с легким вздохом, и у меня дрогнуло сердце от предчувствия какой-то большой радости и тайны между нами.

Я не отходил от нее весь вечер и весь вечер ловил в ее глазах затаенный блеск, рассеянность и едва заметную, но какую-то новую ласковость. Теперь в тоне, каким она как бы с сожалением сказала, что ей пора уходить, мне почудился скрытый смысл, — то, что она знала, что я выйду с нею.

— Вы тоже? — полуутвердительно спросила она. — Значит, вы проводите меня, — прибавила она вскользь и, слегка не выдержав роли, улыбнулась, оглядываясь.

Стройная и гибкая, она легким и привычным движением руки захватила юбку черного платья. И в этой улыбке, в молодом изящном лице, в черных глазах и волосах, даже, казалось, в тон-

кой нитке жемчуга на шее и блеске брильянтов в серьгах — во всем была застенчивость девушки, которая любит впервые. И пока ее просили передать поклоны ее мужу, а потом помогали ей в прихожей одеваться, я считал секунды, боясь, что кто-нибудь выйдет с нами.

Но вот дверь, из которой на мгновение упала в темный двор полоса света, мягко захлопнулась. Подавляя нервную дрожь и чувствуя во всем теле необычную легкость, я взял ее руку и заботливо стал сводить с крыльца.

— Вы хорошо видите? — спросила она, глядя под ноги.

И в голосе ее опять послышалась поощряющая приветливость.

Я, наступая на лужи и листья, наугад повел ее по двору, мимо обнаженных акаций и уксусных деревьев, которые гулко и упруго, как корабельные снасти, гудели под влажным и сильным ветром южной ноябрьской ночи.

За решетчатыми воротами светился фонарь экипажа. Я взглянул ей в лицо. Не отвечая, она взяла своей маленькой, узкой от перчатки рукой железный прут ворот и без моей помощи откинула половину их в сторону. Поспешно прошла она к экипажу и села в него, так же быстро сел

и я рядом с нею…

II

Мы долго не могли сказать ни слова. То, что тайно волновало нас последний месяц, было теперь сказано без слов, и мы молчали только потому, что сказали это слишком ясно и неожиданно. Я прижал ее руку к своим губам и, взволнованный, отвернулся и стал пристально глядеть в сумрачную даль бегущей навстречу нам улицы. Я еще боялся ее, и когда на мой вопрос, — не холодно ли ей, — она только со слабой улыбкой шевельнула губами, не в силах ответить, я понял, что и она боится меня. Но на пожатие руки она ответила благодарно и крепко.

Южный ветер шумел в деревьях на бульварах, колебал пламя редких газовых фонарей на перекрестках и скрипел вывесками над дверями запертых лавок. Иногда какая-нибудь сгорбленная фигура вырастала вместе с своею шаткою тенью под большим качающимся фонарем таверны, но исчезал фонарь за нами — и опять на улице было пусто, и только сырой ветер мягко и непрерывно бил по лицам. Из-под колес брызгами сыпалась в разные стороны грязь, и она, казалось, с интересом следила за ними. Я

взглядывал иногда на ее опущенные ресницы и склоненный под шляпой профиль, чувствовал всю ее так близко от себя, слышал тонкий запах ее волос, и меня волновал даже гладкий и нежный мех соболя на ее шее…

Потом мы свернули на широкую, пустую и длинную улицу, казавшуюся бесконечной, миновали старые еврейские ряды и базар, и мостовая сразу оборвалась под нами. От толчка на новом повороте она покачнулась, и я невольно обнял ее. Она взглянула вперед, потом обернулась ко мне. Мы встретились лицом к лицу, в ее глазах не было больше ни страха, ни колебания, — легкая застенчивость сквозила только в напряженной улыбке, — и тогда я, не сознавая, что делаю, на мгновение крепко прильнул к ее губам…

III

В темноте мелькали высокие силуэты телеграфных столбов вдоль дороги, — наконец пропали и они, свернули куда-то в сторону и скрылись. Небо, которое над городом было черно и все-таки отделялось от его слабо освещенных улиц, совершенно слилось здесь с землею, и нас окружил ветреный мрак. Я оглянулся назад. Огни города

тоже исчезали, — они были рассыпаны точно где-то в темном море, — а впереди мерцал только один огонек, такой одинокий и отдаленный, точно он был на краю света. То была старая молдаванская корчма на большой дороге, и оттуда несло сильным ветром, который путался и торопливо шуршал в иссохших стеблях кукурузы.

— Куда мы едем? — спросила она, сдерживая дрожь в голосе.

Но глаза ее блестели, — наклонившись к ней, я различал их в темноте, — и в них было странное и вместе с тем счастливое выражение.

Ветер торопливо шуршал и бежал, путаясь в кукурузе, лошади быстро неслись ему навстречу. Снова куда-то мы свернули, и ветер сразу изменился, стал влажнее и прохладнее и еще беспокойней заметался вокруг нас.

Я полной грудью вдыхал его. Мне хотелось, чтобы все темное, слепое и непонятное, что было в этой ночи, было еще непонятнее и смелее. Ночь, которая казалась в городе обычной ненастной ночью, была здесь, в поле, совсем иная. В ее темноте и ветре было теперь что-то большое и властное, — и вот наконец послышался сквозь шорох бурьянов какой-то ровный, однообразный, величавый шум.

— Море? — спросила она.

— Море, — сказал я. — Это уже последние дачи.

А в побледневшей темноте, к которой мы пригляделись, вырастали влево от нас огромные и угрюмые силуэты тополей в дачных садах, спускавшихся к морю. Шорох колес и топот копыт по грязи, отдаваясь от садовых оград, на минуту стал явственнее, но скоро их заглушил приближающийся гул деревьев, в которых метался ветер, и шум моря. Промелькнуло несколько наглухо забитых домов, смутно белевших в темноте и казавшихся мертвыми… Потом тополи расступились, и внезапно в пролет между ними пахнуло влажностью — тем ветром, который прилетает к земле с огромных водяных пространств и кажется их свежим дыханием.

Лошади остановились.

И тотчас же ровный и величавый ропот, в котором чувствовалась огромная тяжесть воды, и беспорядочный гул деревьев в беспокойно дремавших садах стали слышнее, и мы быстро пошли по листьям и лужам, по какой-то высокой аллее, к обрывам.

IV

Море гудело под ними грозно, выделяясь из всех шумов этой тревожной и сонной ночи. Огромное, теряющееся в пространстве, оно лежало глубоко внизу, далеко белея сквозь сумрак бегущими к земле гривами пены. Страшен был и беспорядочный гул старых тополей за оградой сада, мрачным островом выраставшего на скалистом прибрежье. Чувствовалось, что в этом безлюдном месте властно царит теперь ночь поздней осени, и старый большой сад, забитый на зиму дом и раскрытые беседки по углам ограды были жутки своей заброшенностью. Одно море гудело ровно, победно и, казалось, все величавее в сознании своей силы. Влажный ветер валил с ног на обрыве, и мы долго не в состоянии были насытиться его мягкой, до глубины души проникающей свежестью. Потом, скользя по мокрым глинистым тропинкам и остаткам деревянных лестниц, мы стали спускаться вниз, к сверкающему пеной прибою. Ступив на гравий, мы тотчас же отскочили в сторону от волны, разбившейся о камни. Высились и гудели черные тополи, а под ними, как бы в ответ им, жадным и бешеным прибоем играло море. Высокие, до-

летающие до нас волны с грохотом пушечных выстрелов рушились на берег, крутились и сверкали целыми водопадами снежной пены, рыли песок и камни и, убегая назад, увлекали спутанные водоросли, ил и гравий, который гремел и скрежетал в их влажном шуме. И весь воздух был полон тонкой, прохладной пылью, все вокруг дышало вольной свежестью моря. Темнота бледнела, и море уже ясно видно было на далекое пространство.

— И мы одни! — сказала она, закрывая глаза.

V

Мы были одни. Я целовал ее губы, упиваясь их нежностью и влажностью, целовал глаза, которые она подставляла мне, прикрывая их с улыбкой, целовал похолодевшее от морского ветра лицо, а когда она села на камень, стал перед нею на колени, обессиленный радостью.

— А завтра? — говорила она над моей головою.

И я поднимал голову и смотрел ей в лицо. За мною жадно бушевало море, над нами высились и гудели тополи…

— Что завтра? — повторил я ее вопрос и почувствовал, как у меня дрогнул голос от слез непобедимого счастья. — Что завтра?

Она долго не отвечала мне, потом протянула мне руку, и я стал снимать перчатку, целуя и руку и перчатку и наслаждаясь их тонким, женственным запахом.

— Да! — сказала она медленно, и я близко видел в звездном свете ее бледное и счастливое лицо. — Когда я была девушкой, я без конца мечтала о счастье, но все оказалось так скучно и обыденно, что теперь эта, может быть, единственная счастливая ночь в моей жизни кажется мне непохожей на действительность и преступной. Завтра я с ужасом вспомню эту ночь, но теперь мне все равно… Я люблю тебя, — говорила она нежно, тихо и вдумчиво, как бы говоря только для самой себя.

Редкие, голубоватые звезды мелькали между тучами над нами, и небо понемногу расчищалось, и тополи на обрывах чернели резче, и море все более отделялось от далеких горизонтов. Была ли она лучше других, которых я любил, я не знаю, но в эту ночь она была несравненной. И когда я целовал платье на ее коленях, а она тихо смеялась сквозь слезы и обнимала мою голову, я смотрел на нее с восторгом безумия, и в тонком звездном свете ее бледное, счастливое и усталое лицо казалось мне лицом бессмертной.



Константин Паустовский

Желтый свет

Я проснулся серым утром. Комната была залита ровным желтым светом, будто от керосиновой лампы. Свет шел снизу, из окна, и ярче всего освещал бревенчатый потолок.

Странный свет — неяркий и неподвижный — был непохож на солнечный. Это светили осенние листья. За ветреную и долгую ночь сад сбросил сухую листву, она лежала шумными грудами на земле и распространяла тусклое сияние. От этого сияния лица людей казались загорелыми, а страницы книг на столе как будто покрылись слоем воска.

Так началась осень. Для меня она пришла сразу в это утро. До тех пор я ее почти не замечал: в саду еще не было запаха прелой листвы, вода в озерах не зеленела, и жгучий иней еще не лежал по утрам на дощатой крыше.

Осень пришла внезапно. Так приходит ощущение счастья от самых незаметных вещей — от далекого пароходного гудка на Оке или от случайной улыбки.

Осень пришла врасплох и завладела землей — садами и реками, лесами и воздухом, полями

и птицами. Все сразу стало осенним.

В саду суетились синицы. Крик их был похож на звон разбитого стекла. Они висели вниз головами на ветках и заглядывали в окно из-под листьев клена.

Каждое утро в саду, как на острове, собирались перелетные птицы. Под свист, клекот и карканье в ветвях поднималась суматоха. Только днем в саду было тихо: беспокойные птицы улетали на юг.

Начался листопад. Листья падали дни и ночи. Они то косо летели по ветру, то отвесно ложились в сырую траву. Леса моросили дождем облетавшей листвы. Этот дождь шел неделями. Только к концу сентября перелески обнажились, и сквозь чащу деревьев стала видна синяя даль сжатых полей.

Тогда же старик Прохор, рыболов и корзинщик (в Солотче почти все старики делаются с возрастом корзинщиками), рассказал мне сказку об осени. До тех пор я эту сказку никогда не слышал, — должно быть, Прохор ее выдумал сам.

— Ты гляди кругом, — говорил мне Прохор, ковыряя шилом лапоть, — ты присматривайся, милый человек, чем каждая птица или, скажем, иная какая живность дышит. Гляди, объясняй.

А то скажут: зря учился. К примеру, лист осенью слетает, а людям невдомек, что человек в этом деле — главный ответчик. Человек, скажем, выдумал порох. Враг его разорви вместе с тем порохом! Сам я тоже порохом баловался. В давние времена сковали деревенские кузнецы первое ружьишко, набили порохом, и попало то ружьишко дураку. Шел дурак лесом и увидел, как иволги летят под небесами, летят желтые веселые птицы и пересвистываются, зазывают гостей. Дурак ударил по ним из обоих стволов — и полетел золотой пух на землю, упал на леса, и леса посохли, пожухли и в одночасье опали. А иные листья, куда попала птичья кровь, покраснели и тоже осыпались. Небось видел в лесу — есть лист желтый и есть лист красный. До того времени вся птица зимовала у нас. Даже журавль и тот никуда не подавался. А леса и лето и зиму стояли в листьях, цветах и грибах. И снега не было. Не было зимы, говорю. Не было! Да на кой она ляд сдалась нам, зима, скажи на милость?! Какой с нее интерес? Убил дурак первую птицу — и загрустила земля. Начались с той поры листопады, и мокрая осень, и листобойные ветры, и зимы. И птица испугалась, от нас отлетает, обиделась на человека. Так-то, милый, выходит, что мы себе

навредили, и надобно нам ничего не портить, а крепко беречь.

— Что беречь?

— Ну, скажем, птицу разную. Или лес. Или воду, чтобы прозрачность в ней была. Все, брат, береги, а то будешь землей швыряться и дошвыряешься до погибели.

Я изучал осень упорно и долго. Для того чтобы увидеть по-настоящему, надо убедить себя, что ты видишь это впервые в жизни. Так было и с осенью. Я уверил себя, что эта осень первая и последняя в моей жизни. Это помогло мне пристальнее всмотреться в нее и увидеть многое, чего я не видел раньше, когда осени проходили, не оставляя никакого следа, кроме памяти о слякоти и мокрых московских крышах.

Я узнал, что осень смешала все чистые краски, какие существуют на земле, и нанесла их, как на холст, на далекие пространства земли и неба.

Я видел листву, не только золотую и пурпурную, но и алую, фиолетовую, коричневую, черную, серую и почти белую. Краски казались особенно мягкими из-за осенней мглы, неподвижно висевшей в воздухе. А когда шли дожди, мягкость красок сменялась блеском. Небо, покрытое облаками, все же давало достаточно света,

чтобы мокрые леса могли загораться вдали, как багряные пожары. В сосновых чащах дрожали от холода березы, осыпанные сусальной позолотой. Эхо от ударов топора, далекое аукань баб и ветер от крыльев пролетевшей птицы стряхивали эту листву. Вокруг стволов лежали широкие круги от палых листьев. Деревья начинали желтеть снизу: я видел осины, красные внизу и совсем еще зеленые на верхушках.

Однажды осенью я ехал на лодке по Прорве. Был полдень. Низкое солнце висело на юге. Его косой свет падал на темную воду и отражался от нее. Полосы солнечных отблесков от волн, поднятых веслами, мерно бежали по берегам, поднимаясь от воды и потухая в вершинах деревьев. Полосы света проникали в гущу трав и кустарников, и на одно мгновенье берега вспыхивали сотнями красок, будто солнечный луч ударял в россыпи разноцветной руды. Свет открывал то черные блестящие стебли травы с оранжевыми засохшими ягодами, то огненные шапки мухоморов, как будто забрызганные мелом, то слитки слежавшихся дубовых листьев и красные спинки божьих коровок.

Часто осенью я пристально следил за опадающими листьями, чтобы поймать ту незаметную

долю секунды, когда лист отделяется от ветки и начинает падать на землю. Но это мне долго не удавалось. Я читал в старых книгах о том, как шуршат падающие листья, но я никогда не слышал этого звука. Если листья и шуршали, то только на земле, под ногами человека. Шорох листьев в воздухе казался мне таким же неправдоподобным, как рассказы о том, что весной слышно, как прорастает трава.

Я был, конечно, неправ. Нужно было время, чтобы слух, отупевший от скрежета городских улиц, мог отдохнуть и уловить очень чистые и точные звуки осенней земли.

Как-то поздним вечером я вышел в сад, к колодцу. Я поставил на сруб тусклый керосиновый фонарь «летучую мышь» и достал воды. В ведре плавали листья. Они были всюду. От них нигде нельзя было избавиться. Черный хлеб из пекарни приносили с прилипшими к нему мокрыми листьями. Ветер бросал горсти листьев на стол, на койку, на пол, на книги, а по дорожкам сада было трудно ходить: приходилось идти по листьям, как по глубокому снегу. Листья мы находили в карманах своих дождевых плащей, в кепках, в волосах — всюду. Мы спали на них и насквозь пропитались их запахом.

Бывают осенние ночи, оглохшие и немые, когда безветрие стоит над черным лесистым краем, и только колотушка сторожа доносится с деревенской околицы.

Была как раз такая ночь. Фонарь освещал колодец, старый клен под забором и растрепанный ветром куст настурции на пожелтевшей клумбе.

Я посмотрел на клен и увидел, как осторожно и медленно отделился от ветки красный лист, вздрогнул, на одно мгновение остановился в воздухе и косо начал падать к моим ногам, чуть шелестя и качаясь. Впервые я услыхал шелест падающего листа — неясный звук, похожий на детский шепот.

Ночь стояла над притихшей землей. Разлив звездного блеска был ярок, почти нестерпим. Осенние созвездия блистали в ведре с водой и в маленьком оконце избы с такой же напряженной силой, как и на небе.

Созвездия Персея и Ориона проходили над землей свой медлительный путь, дрожали в воде озер, тускнели в зарослях, где дремали волки, и отражались на чешуе рыб, спавших на отмелях в Старице и Прорве.

К рассвету загорался зеленый Сириус. Его низкий огонь всегда запутывался в листве ив.

Юпитер закатывался в лугах над черными стогами и сырыми дорогами, а Сатурн поднимался с другого края неба, из лесов, забытых и брошенных по осени человеком.

Звездная ночь проходила над землей, роняя холодные искры метеоров, в шелесте тростников, в терпком запахе осенней воды.

В конце осени я встретил на Прорве Прохора. Седой и косматый, обвяленный рыбьей чешуей, он сидел под кустами тальника и удил окуней.

На взгляд Прохору было лет сто, не меньше. Он улыбнулся беззубым ртом, вытащил из кошелки толстого очумелого окуня и похлопал его по жирному боку — похвастался добычей.

До вечера мы удили вместе, жевали черствый хлеб и вполголоса разговаривали о недавнем лесном пожаре.

Он начался около деревушки Лопухи, на поляне, где косари забыли костер. Дул суховей. Огонь быстро погнало на север. Он двигался со скоростью двадцати километров в час. Он гудел, как сотни самолетов, идущих бреющим полетом над землей.

В небе, затянутом дымом, солнце висело, как багровый паук на плотной седой паутине. Гарь разъедала глаза. Падал медленный дождь

из золы. Он покрывал серым налетом речную воду. Иногда с неба слетали березовые листья, превращенные в пепел. Они рассыпались в пыль от малейшего прикосновения.

По ночам угрюмое зарево клубилось на востоке, по дворам тоскливо мычали коровы, ржали лошади, и на горизонте вспыхивали белые сигнальные ракеты — это красноармейские части, гасившие пожар, предупреждали друг друга о приближении огня.

Возвращались мы с Прорвы к вечеру. Солнце садилось за Окой. Между нами и солнцем лежала серебряная тусклая полоса. Это солнце отражалось в густой осенней паутине, покрывшей луга.

Днем паутина летала по воздуху, запутывалась в нескошенной траве, пряжей налипала на весла, на лица, на удилища, на рога коров. Она тянулась с одного берега Прорвы на другой и медленно заплетала реку легкими и липкими сетями. По утрам на паутине оседала роса. Покрытые паутиной и росами ивы стояли под солнцем, как сказочные деревья, пересаженные в наши земли из далеких стран.

На каждой паутине сидел маленький паук. Он ткал паутину в то время, когда ветер нес его над землей. Он пролетал на паутине десятки

километров. Это был перелет пауков, очень похожий на осенний перелет птиц. Но до сих пор никто не знает, зачем каждую осень летят пауки, покрывая землю своей тончайшей пряжей.

Дома я отмыл паутину с лица и затопил печь. Запах березового дыма смешивался с запахом можжевельника. Пел старый сверчок, и под полом ворошились мыши. Они стаскивали в свои норы богатые запасы — забытые сухари и огарки, сахар и окаменелые куски сыра.

Глубокой ночью я проснулся. Кричали вторые петухи, неподвижные звезды горели на привычных местах, и ветер осторожно шумел над садом, терпеливо дожидаясь рассвета.

Резиновая лодка

Мы купили для рыбной ловли надувную резиновую лодку.

Купили мы ее еще зимой в Москве, но с тех пор не знали покоя. Больше всех волновался Рувим. Ему казалось, что за всю его жизнь не было такой затяжной и скучной весны, что снег нарочно тает очень медленно и что лето будет холодным и ненастным.

Рувим хватался за голову и жаловался на дурные сны. То ему снилось, что большая щука таскает его вместе с резиновой лодкой по озеру и лодка ныряет в воду и вылетает обратно с оглушительным бульканием; то снился пронзительный разбойничий свист — это из лодки, распоротой корягой, стремительно выходил воздух, и Рувим, спасаясь, суетливо плыл к берегу и держал в зубах коробку с папиросами.

Страхи прошли только летом, когда мы привезли лодку в деревню и испытали ее на мелком месте, около Чертова моста.

Десятки мальчишек плавали около лодки, свистели, хохотали и ныряли, чтобы увидеть лодку снизу. Лодка спокойно покачивалась, серая

и толстая, похожая на черепаху.

Белый мохнатый щенок с черными ушами — Мурзик — лаял на нее с берега и рыл задними лапами песок. Это значило, что Мурзик разлаялся не меньше, чем на час. Коровы на лугу подняли головы и все, как по команде, перестали жевать.

Бабы шли через Чертов мост с кошелками. Они увидели резиновую лодку, завизжали и заругались на нас.

— Ишь, шалые, что придумали! Народ зря мутится!

После испытания дед, по прозвищу «Десять процентов», щупал лодку корявыми пальцами, нюхал ее, ковырял, хлопал по надутым бортам и сказал с уважением:

— Воздуходувная вещь!

После этих слов лодка была признана всем населением деревни, а рыбаки нам даже завидовали.

Но страхи не прошли. У лодки появился новый враг — Мурзик.

Мурзик был недогадлив, и потому с ним всегда случались несчастья: то его жалила оса, и он валялся с визгом по земле и мял траву, то ему отдавливали лапу, то он, воруя мед, измазывал им мохнатую морду до самых ушей, к морде прилипали листья и куриный пух, — и нашему

мальчику приходилось отмывать Мурзика теплой водой.

Но больше всего Мурзик изводил нас лаем и попытками сгрызть все, что ему попадалось под руку.

Лаял он преимущественно на непонятные вещи: на черного кота Степана, на самовар, примус и на ходики.

Кот сидел на окне, тщательно мылся и делал вид, что не слышит назойливого лая. Только одно ухо у него странно дрожало от ненависти и презрения к Мурзику. Иногда кот взглядывал на щенка скучающими наглыми глазами, как будто говорил Мурзику:

— Отвяжись, а то так тебя двину!..

Тогда Мурзик отскакивал и уже не лаял, а визжал, закрыв глаза. Кот поворачивался к Мурзику спиной и громко зевал. Всем своим видом он хотел унизить этого дурака, но Мурзик не унимался.

Грыз Мурзик молча и долго. Изгрызенные и замусоленные вещи он всегда сносил в чулан, где мы их и находили.

Так он сгрыз книжку стихов Веры Инбер, подтяжки Рувима и замечательный поплавок из иглы дикобраза — я купил его случайно за три

рубля.

Наконец Мурзик добрался и до резиновой лодки.

Он долго пытался ухватить ее за борт, но лодка была очень туго надута, и зубы скользили. Ухватить было не за что.

Тогда Мурзик полез в лодку и нашел там единственную вещь, которую можно было сжевать, — резиновую пробку. Ею был заткнут клапан, выпускавший воздух.

Мы в это время пили в саду чай и не подозревали ничего плохого.

Мурзик лег, зажал пробку между лапами и заворчал — пробка ему начинала нравиться.

Он грыз ее долго. Резина не поддавалась. Только через час он ее разгрыз, и тогда случилась совершенно страшная и невероятная вещь.

Густая струя воздуха с ревом вырвалась из клапана, как вода из пожарного шланга, ударила в морду, подняла на Мурзике шерсть и подбросила его в воздух, Мурзик чихнул, взвизгнул и полетел в заросли крапивы, а лодка еще долго свистела, рычала, и бока ее тряслись и худели на глазах.

Куры раскудахтались по всем соседским дворам, а черный кот промчался тяжелым галопом

через сад и прыгнул на березу. Оттуда он долго смотрел, как булькала странная лодка, выплевывая толчками последний воздух.

После этого случая Мурзика наказали. Рувим нашлепал его и привязал к забору.

Мурзик извинялся. Завидев кого-нибудь из нас, он начинал подметать хвостом пыль около забора и виновато поглядывать в глаза. Но мы были непреклонны — хулиганская выходка требовала наказания.

Мы скоро ушли за двадцать километров, на Глухое озеро, но Мурзика не взяли. Когда мы уходили, он долго визжал и плакал на своей веревке около забора; нашему мальчику было жаль Мурзика, но он крепился.

На Глухом озере мы пробыли четыре дня.

На третий день ночью я проснулся оттого, что кто-то горячим и шершавым языком вылизывал мои щеки.

Я поднял голову и при свете костра увидел мохнатую, мокрую от слез Мурзикину морду.

Он визжал от радости, но не забывал извиняться — все время подметал хвостом сухую хвою по земле. На шее его болтался обрывок разгрызенной веревки. Он дрожал, в шерсть его набился мусор, глаза покраснели от усталости и слез.

Я разбудил всех. Мальчик засмеялся, потом заплакал и опять засмеялся. Мурзик подполз к Рувиму и лизнул его в пятку — в последний раз попросил прощения. Тогда Рувим раскупорил банку тушеной говядины — мы звали ее «смакатурой» — и накормил Мурзика. Мурзик сглотал мясо в несколько секунд.

Потом он лег рядом с мальчиком, засунул морду к нему под мышку, вздохнул и засвистел носом.

Мальчик укрыл Мурзика своим пальто. Во сне Мурзик тяжело вздыхал от усталости и потрясения.

Я думал о том, как, должно быть, страшно было такому маленькому щенку бежать через ночные леса, вынюхивая наши следы, сбиваться с пути, скулить, поджав лапу, слушать плач совы, треск веток и непонятный шум травы и, наконец, мчаться опрометью, прижав уши, когда где-то на самом краю земли слышался дрожащий вой волка.

Я понимал испуг и усталость Мурзика. Мне самому приходилось ночевать в лесу без товарищей, и я никогда не забуду первую свою ночь на Безымянном озере.

Был сентябрь. Ветер сбрасывал с берез мокрые и пахучие листья. Я сидел у костра, и мне

казалось, что кто-то стоит за спиной и тяжело смотрит в затылок. Потом в глубине зарослей я услышал явственный треск человеческих шагов по валежнику.

Я встал и, повинуясь необъяснимому и внезапному страху, залил костер, хотя и знал, что на десятки километров вокруг не было ни души. Я был совсем один в ночных лесах.

Я просидел до рассвета у потухшего костра. В тумане, в осенней сырости над черной водой поднялась кровавая луна, и свет ее казался мне зловещим и мертвым.

Когда мы возвращались с Глухого озера, мы посадили Мурзика в резиновую лодку. Он сидел тихо, расставив лапы, искоса посматривал на клапан, вилял самым кончиком хвоста, но на всякий случай тихо ворчал. Он боялся, что клапан опять выкинет с ним какую-нибудь зверскую штуку.

После этого случая Мурзик быстро привык к лодке и всегда спал в ней.

Однажды кот Степан залез в лодку и тоже решил там поспать. Мурзик храбро бросился на кота. Кот со страшным шипом, будто кто-нибудь плеснул воду на раскаленную сковороду с салом, вылетел из лодки и больше к ней не подходил, хотя ему иногда и очень хотелось поспать

в ней. Кот только смотрел на лодку и Мурзика из зарослей лопухов завистливыми глазами.

Лодка дожила до конца лета. Она не лопнула и ни разу не напоролась на корягу. Рувим торжествовал. А Мурзика мы перед отъездом в Москву подарили нашему приятелю — Ване Малявину, внуку лесника с Урженского озера. Мурзик был деревенской собакой, и в Москве среди асфальта и грохота ему было бы трудно жить.

Подарок

Каждый раз, когда приближалась осень, начинались разговоры о том, что многое в природе устроено не так, как нам бы хотелось. Зима у нас длинная, затяжная, лето гораздо короче зимы, а осень проходит мгновенно и оставляет впечатление промелькнувшей за окном золотой птицы.

Разговоры наши любил слушать внук лесника Ваня Малявин, мальчик лет пятнадцати. Он часто приходил к нам в деревню из дедовской сторожки с Урженского озера и приносил то кошелку белых грибов, то решето брусники, а то прибегал просто так — погостить у нас, послушать разговоры и почитать журнал «Вокруг света».

Толстые переплетенные тома этого журнала валялись в чулане вместе с веслами, фонарями и старым ульем. Улей был выкрашен белой клеевой краской. Она отваливалась от сухого дерева большими кусками, и дерево под краской пахло старым воском.

Однажды Ваня принес маленькую, выкопанную с корнем березу. Корни он обложил сырым мхом и обернул рогожей.

— Это вам, — сказал он и покраснел. — Подарок. Посадите ее в деревянную кадку и поставьте в теплой комнате — она всю зиму будет зеленая.

— Зачем ты ее выкопал, чудак? — спросил Рувим.

— Вы же говорили, что вам жалко лета, — ответил Ваня. — Дед меня и надоумил. «Сбегай, говорит, на прошлогоднюю гарь, там березы-двухлетки растут, как трава, — проходу от них нет никакого. Выкопай и отнеси Руму Исаевичу (так дед называл Рувима). Он о лете беспокоится, вот и будет ему на студеную зиму летняя память. Оно, конечно, весело поглядеть на зеленый лист, когда на дворе снег валит, как из мешка».

— Я не только о лете, я еще больше об осени жалею, — сказал Рувим и потрогал тоненькие листья березы.

Мы принесли из сарая ящик, насыпали его доверху землей и пересадили в него маленькую березу. Ящик поставили в самой светлой и теплой комнате у окна, и через день опустившиеся ветки березы поднялись, вся она повеселела, и даже листья у нее уже шумели, когда сквозной ветер врывался в комнату и в сердцах хлопал дверью.

В саду поселилась осень, но листья нашей бе-

резы оставались зелеными и живыми. Горели темным пурпуром клены, порозовел бересклет, ссыхался дикий виноград на беседке. Даже кое-где на березах в саду появились желтые пряди, как первая седина у еще нестарого человека. Но береза в комнате, казалось, все молодела. Мы не замечали у нее никаких признаков увядания.

Как-то ночью пришел первый заморозок. Он надышал холодом на стекла в доме, и они запотели, посыпал зернистым инеем крыши, захрустел под ногами. Одни только звезды как будто обрадовались первому морозу и сверкали гораздо ярче, чем в теплые летние ночи. В эту ночь я проснулся от протяжного и приятного звука — пастуший рожок пел в темноте. За окнами едва заметно голубела заря.

Я оделся и вышел в сад. Резкий воздух обмыл лицо холодной водой — сон сразу прошел. Разгорался рассвет. Синева на востоке сменилась багровой мглой, похожей на дым пожара. Мгла эта светлела, делалась прозрачнее, сквозь нее уже были видны далекие и нежные страны золотых и розовых облаков.

Ветра не было, но в саду все падали и падали листья.

Березы за одну эту ночь пожелтели до самых

верхушек, и листья осыпались с них частым и печальным дождем.

Я вернулся в комнаты: в них было тепло, сонно. В бледном свете зари стояла в кадке маленькая береза, и я вдруг заметил — почти вся она за эту ночь пожелтела, и несколько лимонных листьев уже лежало на полу.

Комнатная теплота не спасла березу. Через день она облетела вся, как будто не хотела отставать от своих взрослых подруг, осыпавшихся в холодных лесах, рощах, на сырых по осени просторных полянах.

Ваня Малявин, Рувим и все мы были огорчены. Мы уже свыклись с мыслью, что в зимние снежные дни береза будет зеленеть в комнатах, освещенных белым солнцем и багровым пламенем веселых печей. Последняя память о лете исчезла.

Знакомый лесничий усмехнулся, когда мы рассказали ему о своей попытке спасти зеленую листву на березе.

— Это закон, — сказал он. — Закон природы. Если бы деревья не сбрасывали на зиму листья, они бы погибали от многих вещей — от тяжести снега, который нарастал бы на листьях и ломал самые толстые ветки, и от того, что к осени

в листве накапливалось бы много вредных для дерева солей, и, наконец, от того, что листья продолжали бы и среди зимы испарять влагу, а мерзлая земля не давала бы ее корням дерева, и дерево неизбежно погибло бы от зимней засухи, от жажды.

А дед Митрий, по прозвищу «Десять процентов», узнав об этой маленькой истории с березой, истолковал ее по-своему.

— Ты, милок, — сказал он Рувиму, — поживи с мое, тогда и спорь. А то ты со мной все споришь, а видать, что умом пораскинуть у тебя еще времени не хватило. Нам, старым, думать способнее. У нас заботы мало — вот и прикидываем, что к чему на земле притесано и какое имеет объяснение. Взять, скажем, эту березу. Ты мне про лесничего не говори, я наперед знаю все, что он скажет. Лесничий мужик хитрый, он когда в Москве жил, так, говорят, на электрическом току пищу себе готовил. Может это быть или нет?

— Может, — ответил Рувим.

— Может, может! — передразнил его дед. — А ты этот электрический ток видал? Как же ты его видал, когда он видимости не имеет, вроде как воздух? Ты про березу слушай. Промеж людей есть дружба или нет? То-то, что есть. А люди

заносятся. Думают, что дружба им одним дадена, чванятся перед всяким живым существом. А дружба — она, брат, кругом, куда ни глянешь. Уж что говорить, корова с коровой дружит и зяблик с зябликом. Убей журавля, так журавлиха исчахнет, исплачется, места себе не найдет. И у всякой травы и дерева тоже, надо быть, дружба иногда бывает. Как же твоей березе не облететь, когда все ее товарки в лесах облетели? Какими глазами она весной на них взглянет, что скажет, когда они зимой исстрадались, а она грелась у печки, в тепле, да в сытости, да в чистоте? Тоже совесть надо иметь.

— Ну, это ты, дед, загнул, — сказал Рувим. — С тобой не столкуешься.

Дед захихикал.

— Ослаб? — спросил он язвительно. — Сдаешься? Ты со мной не заводись — бесполезное дело.

Дед ушел, постукивая палкой, очень довольный, уверенный в том, что победил в этом споре нас всех и заодно с нами и лесничего.

Березу мы высадили в сад, под забор, а ее желтые листья собрали и засушили между страниц «Вокруг света».

Этим и кончилась наша попытка сохранить зимой память о лете.

Короткие рассказы о природе

СЛОВАРЬ РОДНОЙ ПРИРОДЫ. ВЕСНА

Очень богат русский язык словами, относящимися к временам года и к природным явлениям, с ними связанным.

Возьмем хотя бы раннюю весну. У нее, у этой еще зябнувшей от последних заморозков девочки-весны, есть в котомке много хороших слов.

Начинаются оттепели, ростепели, капели с крыш. Снег делается зернистым, ноздреватым, оседает и чернеет. Его съедают туманы. Постепенно развозит дороги, наступает распутица, бездорожье. На реках появляются во льду первые промоины с черной водой, а на буграх — проталины и проплешины. По краю слежавшегося снега уже желтеет мать-и-мачеха.

Потом на реках происходит первая подвижка, из лунок, продухов и прорубей выступает наружу вода.

Ледоход начинается почему-то чаще всего по темным ночам, после того, как «пойдут овраги» и полая, талая вода, звеня последними льдинками — «черепками», сольется с лугов и полей.

МОЯ РОССИЯ

С этого лета я навсегда и всем сердцем привязался к Средней России. Я не знаю страны, обладающей такой огромной лирической силой и такой трогательно живописной — со всей своей грустью, спокойствием и простором, — как средняя полоса России. Величину этой любви трудно измерить. Каждый знает это по себе. Любишь каждую травинку, поникшую от росы или согретую солнцем, каждую кружку воды из летнего колодца, каждое деревце над озером, трепещущее в безветрии листьями, каждый крик петуха, каждое облако, плывущее по бледному и высокому небу. И если мне иногда хочется жить до ста двадцати лет, как предсказывал дед Нечипор, то только потому, что мало одной жизни, чтобы испытать до конца все очарование и всю исцеляющую силу нашей среднеуральской природы.

РОДНЫЕ МЕСТА

Я люблю Мещерский край за то, что он прекрасен, хотя вся прелесть его раскрывается не сразу, а очень медленно, постепенно.

На первый взгляд — это тихая и немудреная

земля под неярким небом. Но чем больше узнаешь ее, тем все больше, почти до боли в сердце, начинаешь любить эту необыкновенную землю. И если придется защищать свою страну, то где-то в глубине сердца я буду знать, что я защищаю и этот клочок земли, научивший меня видеть и понимать прекрасное, как бы невзрачно на вид оно ни было, — этот лесной задумчивый край, любовь к которому не забудется, как никогда не забывается первая любовь.

ЛЕТНИЕ ГРОЗЫ

Летние грозы проходят над землей и падают за горизонт. Молнии то с размаху бьют в землю прямым ударом, то полыхают на черных тучах.

Радуга сверкает над сырой далью. Гром перекатывается, грохочет, ворчит, рокочет, встряхивает землю.

ЛЕТНИЙ ЗНОЙ

Стояла жара. Мы шли сосновыми лесами. Кричали медведки. Пахло сосновой корой и земляникой. Над верхушками сосен неподвижно висел ястреб. Лес был накален от зноя. Мы отдыхали в густых чащах осин и берез. Там дышали

запахом травы и корней. К вечеру мы вышли к озеру. На небе блестели звезды. Утки с тяжелым свистом летели на ночлег.

* * *

Зарница… Самое звучание этого слова как бы передает медленный ночной блеск далекой молнии.

Чаще всего зарницы бывают в июле, когда созревают хлеба. Поэтому и существует народное поверие, что зарницы «зарят хлеб», — освещают его по ночам — и от этого хлеб наливается быстрее.

Рядом с зарницей стоит в одном поэтическом ряду слово заря — одно из прекраснейших слов русского языка. Это слово никогда не говорят громко. Нельзя даже представить себе, чтобы его можно было прокричать. Потому что оно сродни той устоявшейся тишине ночи, когда над зарослями деревенского сада занимается чистая и слабая синева. «Развидняет», как говорят об этой поре суток в народе. В этот заревой час низко над самой землей пылает утренняя звезда. Воздух чист, как родниковая вода.

В заре, в рассвете есть что-то девическое, целомудренное. На зорях трава омыта росой, а по

деревням пахнет теплым парным молоком. И поют в туманах за околицами пастушьи жалейки.

Светает быстро. В теплом доме тишина, сумрак. Но вот на бревенчатые стены ложатся квадраты оранжевого света, и бревна загораются, как слоистый янтарь. Восходит солнце. Заря бывает не только утренняя, но и вечерняя. Мы часто путаем два понятия — закат солнца и вечернюю зарю.

Вечерняя заря начинается, когда солнце уже зайдет за край земли. Тогда она овладевает меркнущим небом, разливает по нему множество красок — от червонного золота до бирюзы — и медленно переходит в поздние сумерки и в ночь.

Кричат в кустах коростели, бьют перепела, гудит выпь, горят первые звезды, а заря еще долго дотлевает над далями и туманами.

ЦВЕТЫ

У самой воды большими куртинами выглядывали из зарослей мяты невинные голубоглазые незабудки. А дальше, за свисающими петлями ежевики, цвела по откосу дикая рябина с тугими желтыми соцветиями. Высокий красный клевер перемешивался с мышиным горошком и подма-

ренником, а над всем этим тесно столпившимся содружеством цветов подымался исполинский чертополох. Он крепко стоял по пояс в траве и был похож на рыцаря в латах со стальными шипами на локтях и наколенниках.

Нагретый воздух над цветами «млел», качался, и почти из каждой чашечки высовывалось полосатое брюшко шмеля, пчелы или осы. Как белые и лимонные листья, всегда вкось, летали бабочки. А еще дальше высокой стеной вздымался боярышник и шиповник. Ветки их так переплелись, что казалось, будто огненные цветы шиповника и белые, пахнущие миндалем цветы боярышника каким-то чудом распустились на одном и том же кусте.

Шиповник стоял, повернувшись большими цветами к солнцу, нарядный, совершенно праздничный, покрытый множеством острых бутонов. Цветение его совпадало с самыми короткими ночами — нашими русскими, немного северными ночами, когда соловьи гремят в росе всю ночь напролет, зеленоватая заря не уходит с горизонта и в самую глухую пору ночи так светло, что на небе хорошо видны горные вершины облаков.

СЛОВАРЬ РОДНОЙ ПРИРОДЫ. ОСЕНЬ

Невозможно перечислить приметы всех времен года. Поэтому я пропускаю лето и перехожу к осени, к первым ее дням, когда уже начинает «сентябрить».

Увядает земля, но еще впереди «бабье лето» с его последним ярким, но уже холодным, как блеск слюды, сиянием солнца. С густой синевой небес, промытых прохладным воздухом. С летучей паутиной («пряжей Богородицы», как кое-где называют ее до сих пор истовые старухи) и палым, повялым листом, засыпающим опустелые воды. Березовые рощи стоят, как толпы девушек-красавиц, в шитых золотым листом полушалках. «Унылая пора — очей очарованье».

Потом — ненастье, обложные дожди, ледяной северный ветер «сиверко», бороздящий свинцовые воды, стынь, стылость, кромешные ночи, ледяная роса, темные зори.

Так все и идет, пока первый мороз не схватит, не скует землю, не выпадет первая пороша и не установится первопуток. А там уже и зима с вьюгами, метелями, поземками, снегопадом, седыми морозами, вешками на полях, скрипом подрезов на розвальнях, серым, снеговым небом…

МОЙ ДОМ

Особенно хорошо в беседке в тихие осенние ночи, когда в саду шумит вполголоса неторопливый отвесный дождь.

Прохладный воздух едва качает язычок свечи. Угловые тени от виноградных листьев лежат на потолке беседки. Ночная бабочка, похожая на комок серого шелка-сырца, садится на раскрытую книгу и оставляет на странице тончайшую блестящую пыль. Пахнет дождем — нежным и вместе с тем острым запахом влаги, сырых садовых дорожек.

На рассвете я просыпаюсь. Туман шуршит в саду. В тумане падают листья. Я вытаскиваю из колодца ведро воды. Из ведра выскакивает лягушка. Я обливаюсь колодезной водой и слушаю рожок пастуха — он поет еще далеко, у самой околицы.

Светает. Я беру весла и иду к реке. Я отплываю в тумане. Восток розовеет. Уже не доносится запах дыма сельских печей. Остается только безмолвие воды, зарослей вековых ив.

Впереди — пустынный сентябрьский день. Впереди — затерянность в этом огромном мире пахучей листвы, трав, осеннего увядания,

затишливых вод, облаков, низкого неба. И эту затерянность я всегда ощущаю как счастье.

ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ

Несколько дней лил, не переставая, холодный дождь. В саду шумел мокрый ветер. В четыре часа дня мы уже зажигали керосиновые лампы, и невольно казалось, что лето окончилось навсегда и земля уходит все дальше и дальше в глухие туманы, в неуютную темень и стужу.

Был конец ноября — самое грустное время в деревне. Кот спал весь день, свернувшись на старом кресле, и вздрагивал во сне, когда темная вода хлестала в окна.

Дороги размыло. По реке несло желтоватую пену, похожую на сбитый белок. Последние птицы спрятались под стрехи, и вот уже больше недели, как никто нас не навещал: ни дед Митрий, ни Ваня Малявин, ни лесничий.

Лучше всего было по вечерам. Мы затапливали печи. Шумел огонь, багровые отсветы дрожали на бревенчатых стенах и на старой гравюре — портрете художника Брюллова. Откинувшись в кресле, он смотрел на нас и, казалось, так же как и мы, отложив раскрытую книгу, думал о прочитанном и прислушивался к гудению дождя

по тесовой крыше.

Ярко горели лампы, и все пел и пел свою нехитрую песню медный самовар-инвалид. Как только его вносили в комнату, в ней сразу становилось уютно — может быть, оттого, что стекла запотевали и не было видно одинокой березовой ветки, день и ночь стучавшей в окно.

После чая мы садились у печки и читали. В такие вечера приятнее всего было читать очень длинные и трогательные романы Чарльза Диккенса или перелистывать тяжелые тома журналов «Нива» и «Живописное обозрение» за старые годы.

По ночам часто плакал во сне Фунтик — маленькая рыжая такса. Приходилось вставать и закутывать его теплой шерстяной тряпкой. Фунтик благодарил сквозь сон, осторожно лизал руку и, вздохнув, засыпал. Темнота шумела за стенами плеском дождя и ударами ветра, и страшно было подумать о тех, кого, может быть, застигла эта ненастная ночь в непроглядных лесах.

Однажды ночью я проснулся от странного ощущения. Мне показалось, что я оглох во сне. Я лежал с закрытыми глазами, долго прислушивался в наконец понял, что я не оглох, а попросту за стенами дома наступила необыкновенная ти-

шина. Такую тишину называют «мертвой». Умер дождь, умер ветер, умер шумливый, беспокойный сад. Было только слышно, как посапывает во сне кот.

Я открыл глаза. Белый и ровный свет наполнял комнату. Я встал и подошел к окну — за стеклами все было снежно и безмолвно. В туманном небе на головокружительной высоте стояла одинокая луна, и вокруг нее переливался желтоватый круг.

Когда же выпал первый снег? Я подошел к ходикам. Было так светло, что ясно чернели стрелки. Они показывали два часа.

Я уснул в полночь. Значит, за два часа так необыкновенно изменилась земля, за два коротких часа поля, леса и сады заворожила стужа.

Через окно я увидел, как большая серая птица села на ветку клена в саду. Ветка закачалась, с нее посыпался снег. Птица медленно поднялась и улетела, а снег все сыпался, как стеклянный дождь, падающий с елки. Потом снова все стихло.

Проснулся Рувим. Он долго смотрел за окно, вздохнул и сказал:

— Первый снег очень к лицу земле.

Земля была нарядная, похожая на застенчивую

невесту.

А утром все хрустело вокруг: подмерзшие дороги, листья на крыльце, черные стебли крапивы, торчавшие из-под снега.

К чаю приплелся в гости дед Митрий и поздравил с первопутком.

— Вот и умылась земля, — сказал он, — снеговой водой из серебряного корыта.

— Откуда ты это взял, Митрий, такие слова? — спросил Рувим.

— А нешто не верно? — усмехнулся дед. — Моя мать, покойница, рассказывала, что в стародавние годы красавицы умывались первым снегом из серебряного кувшина и потому никогда не вяла их красота. Было это еще до царя Петра, милок, когда по здешним лесам разбойники купцов разоряли.

Трудно было оставаться дома в первый зимний день. Мы ушли на лесные озера. Дед проводил нас до опушки. Ему тоже хотелось побывать на озерах, но «не пущала ломота в костях».

В лесах было торжественно, светло и тихо.

День как будто дремал. С пасмурного высокого неба изредка падали одинокие снежинки. Мы осторожно дышали на них, и они превращались в чистые капли воды, потом мутнели, смерзались

и скатывались на землю, как бисер.

Мы бродили по лесам до сумерек, обошли знакомые места. Стаи снегирей сидели, нахохлившись, на засыпанных снегом рябинах.

Мы сорвали несколько гроздей схваченной морозом красной рябины — это была последняя память о лете, об осени.

На маленьком озере — оно называлось Лариным прудом — всегда плавало много ряски. Сейчас вода в озере была очень черная, прозрачная — вся ряска к зиме опустилась на дно.

У берегов наросла стеклянная полоска льда. Лед был такой прозрачный, что даже вблизи его было трудно заметить. Я увидел в воде у берега стаю плотиц и бросил в них маленький камень. Камень упал на лед, зазвенел, плотицы, блеснув чешуей, метнулись в глубину, а на льду остался белый зернистый след от удара. Только поэтому мы и догадались, что у берега уже образовался слой льда. Мы обламывали руками отдельные льдинки. Они хрустели и оставляли на пальцах смешанный запах снега и брусники.

Кое-где на полянах перелетали и жалобно попискивали птицы. Небо над головой было очень светлое, белое, а к горизонту оно густело, и цвет его напоминал свинец. Оттуда шли медленные

снеговые тучи.

В лесах становилось все сумрачнее, все тише, и наконец пошел густой снег. Он таял в черной воде озера, щекотал лицо, порошил серым дымом леса.

Зима начала хозяйничать над землей, но мы знали, что под рыхлым снегом, если разгрести его руками, еще можно найти свежие лесные цветы, знали, что в печах всегда будет трещать огонь, что с нами остались зимовать синицы, и зима показалась нам такой же прекрасной, как лето.

